

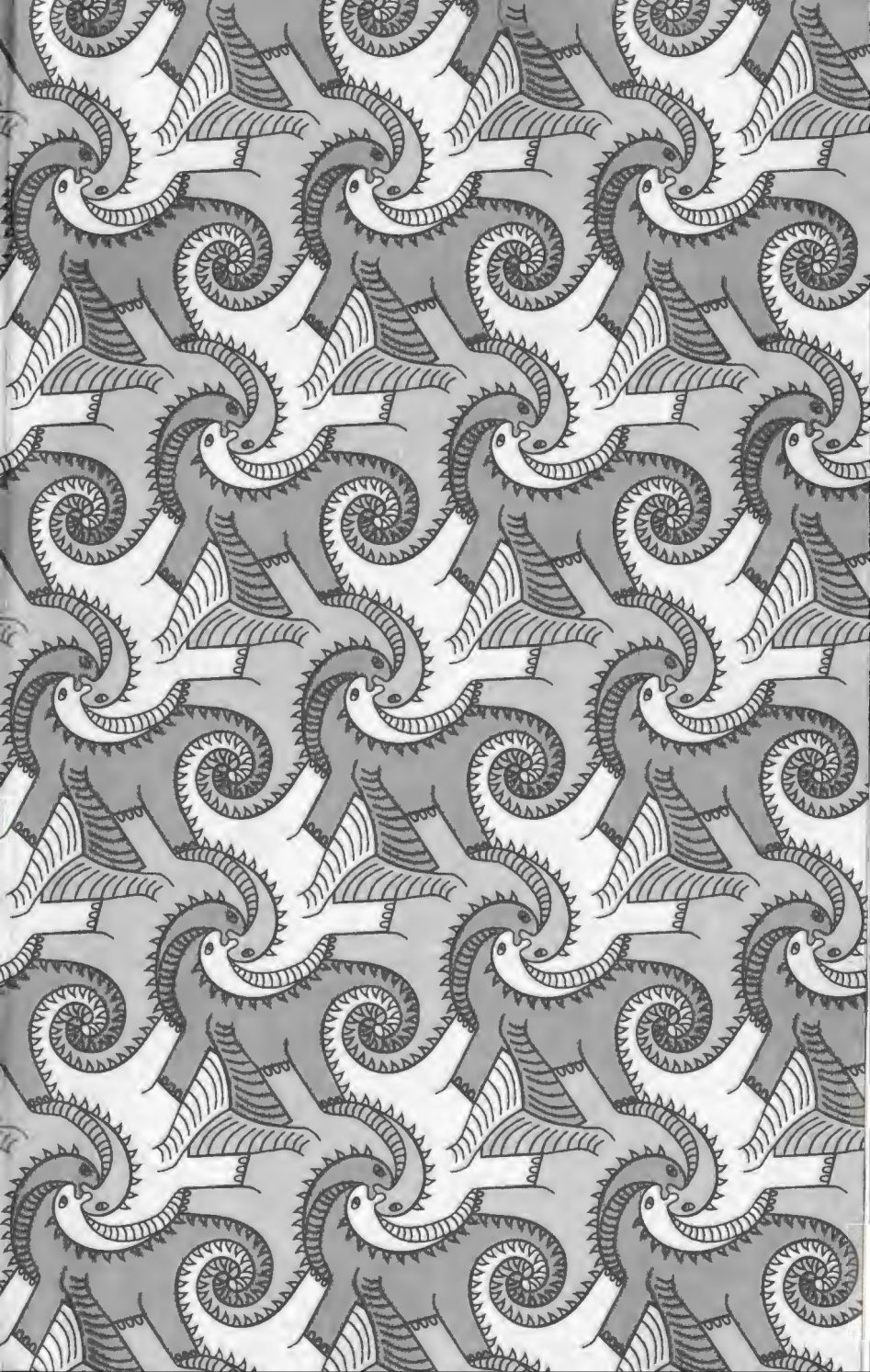
Борис Акунин: ПРОЕКТ
«АВТОРЫ»

АНАТОЛИЙ
«БРУСНИКИН»

БЕЛЛОНА







АНАТОЛИЙ
БРУСНИКИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АСТРЕЛЬ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГИ
Анатолия Брусникина

Беллона
Герой иного времени
Девятный Спас

(17)

07/2150-12/
Б89

АНАТОЛИЙ
БРУСНИКИН
Беллона

165174/2

Астрель
Москва

Муниципальное объединение
библиотек
620077, г. Екатеринбург,
ул. Антонова, д. 12

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б89

Подписано в печать 17.12.2011 г. Формат 84х108 1/32.

Усл. п.л. 23,52.

Тираж 70 000 экз. Заказ № 10477.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

*Оформление обложки — Василий Половцев
(дизайн-студия «Графит»)*

Автор иллюстрации — Мария Лебедева

Брусникин, А.

Б89 Беллона: [роман] / Анатолий Брусникин. — М.: Астрель, 2012. — 447, [1] с. — (Борис Акунин: проект «Авторы»)

ISBN 978-5-271-40302-6

«БЕЛЛОНА» — это два романа в одной обложке, очень разные по стилю и смыслу. Объединяет первую и вторую часть дилогии фон Крымской войны, несколько сквозных героев и главный персонаж: безжалостная богиня войны Беллона.

УДК 821.161.1-312-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© А.О. Brusnikin, 2012

© ООО «Издательство Астрель», 2012

«БЕЛЛОНА»

* * *

И вдруг я понимаю, что такое жизнь. *Я ее вижу.*

Платон Платонович красиво сравнивал жизнь с фарватером, а человека — с кораблем, и некоторое сходство, конечно, имеется. Проживаешь день за днем, буд-то плывешь от бакена до бакена, и через кабельтов пенный след за кормой уже не виден. Однако ж сравнение неправильное. Вот уж не думал, что когда-нибудь не соглашусь с таким человеком! Это у Платона Платоновича жизнь — фарватер, а сам он похож на трехпалубный корабль, у меня же, и вообще у людей обыкновенных, всё не так.

Ведь фарватер, как известно всякому моряку, представляет собою единый водный проход, установленный для безопасной навигации судов, а у каждого человека курс следования свой собственный, и рифы с милями тоже персональные: кто-то потонет, а другому хоть бы что.

И с кораблем дюжинную личность я сравнивать бы тоже не стал. Это правда, что каждое судно имеет свой нрав, свою натуру и планиду — не зря у нашего брата корабль считается живым существом. Однако человек на корабль не похож. Корабль в каком классе со стапелей

сошел, в том же и окончит свои дни. Никогда фелюке не вырасти в корветы, а, скажем, фрегату не выродиться в шлюпы. С людьми же приключаются самые разные перемены, или, по-ученому сказать, метаморфозы. Иной из нас, пока доследует до порта окончательной приписки (или до дна морского — это уж как судьба), раз по десять поменяет и тоннаж, и оснастку.

Даже удивительно, как это я сейчас о таких вещах думаю. Я много о чем сейчас думаю. Вот смотрю в одну точку и вспоминаю, как Платон Платонович, обучая меня правописанию, втолковывал: «Запомни, Герасим: никакая книга, никакая реляция и никакая мысль не может считаться законченной, пока ее не завершит точка».

Вон она, моя точка, я ее вижу. Она черная.

Но точка, которой всё заканчивается, сама по себе важности не имеет. Она всегда и у всех одинаковая. Важно, что было перед точкой: написанное тобою и про тебя. Что не вырубил топором.

Жизнь лежит передо мной, будто длинный-предлинный лист, вроде тех, на которых писали в древние времена, когда бумагу не резали на страницы, а сворачивали в свиток.

Я вижу неровные строчки, сливающиеся в чернильную канитель, и букв не разобрать, потому что мелкое и незначительное в памяти обыкновенно не застревает. Но есть и картинки. Они как распахнутые окошки, я могу в них заглянуть.

И я заглядываю в каждое, ни одно не пропускаю. Почему-то я знаю: на это времени у меня хватит.

КАРТИНКА ПЕРВАЯ.

ЗЕЛЕНАЯ ЯЩЕРИЦА

Самая первая картинка расположена далеко от начала рукописи — оно мне почти вовсе не видно, теряется в какой-то сонной дымке. Честно говоря, ничего там, в начале моей жизни, интересного нету. Раннюю свою пору я почти что и не запомнил. То есть помню, конечно, кто я родом и из какой произрос почвы, но воспоминания будто окутаны туманом. Словно не со мною это было, а прочитал я в книжке или услышал от кого-то рассказ про матросского сына Герку Илюхина, появившегося на свет в Корабельной Слободе славного города Севастополя такого-то числа одна тыща восемьсот такого-то года.

Думается мне, что детские годы и отрочество так скудно отложились в моей памяти, потому что до некоего позднелетнего дня я и не жил по-настоящему, а пребывал в полудреме, навроде личинки или куколки.

Сейчас, в сию самую минуту, мне открылось, что моя жизнь — *настоящая жизнь* — началась не когда я, по выражению грубоязыкой тетки Матрены, «вылез из поганой черной дыры на поганый белый свет», а наоборот: когда я с бела света сверзся в черную дыру. Между двумя этими событиями диаметрально противоположного галса миновало пятнадцать с лишком лет, которые никакого интереса не представляют. Вся моя ранняя биография (ей-богу, не достойная столь громкого слова) укладывается в три слова: родился, осиротел, вырос.

К тому дню, когда я провалился в черную дыру и, стало быть, началась моя настоящая жизнь, я вырос еще не в полный свой рост и был ниже себя нынешнего вершка этак на два, но всё же вытянулся на полголовы выше

Анатолий Брусникин

тетки Матрены, а она в Корабельной считалась женщиной *каботажной*, то есть статной.

...Вот я сижу на склоне холма, именуемого у нас Лысой горой, смотрю на бело-зеленый город, курю самосад из глиняной трубки и ни о чем особенно не думаю. Не научился я тогда еще думать. Нужды в том не было. Так бы, наверное, и проклевал носом в бессмысленной полудреме до смертной доски, как большинство земных обитателей, — если б не зеленая ящерка.

Но ящерку я увижу через несколько мгновений, пока же просто плююсь на Севастополь. Других городов и местностей я еще не видывал, потому зрелище не кажется мне чем-то особенным.

И все же я часто залезал на какую-нибудь из окрестных возвышенностей и глазел с высоты на кварталы и бухты. Несомненно, я чувствовал притягательность красоты, хоть, конечно, очень удивился бы, если б мне кто-то сказал, что я люблю пейзажем. Я и слова такого не знал.

Теперь-то, когда мои глаза научились распознавать и оценивать красивое, я понимаю, какой это был волшебно прекрасный город.

Я сплевываю табачные крошки, лениво оглядывая язык Южной бухты, справа от которого желтеют соломенные кровли родной слободки; на солнце переливается большой рейд — на нем, как гуси на воде, военные корабли; в тесной Артиллерийской бухте густо торчат мачты купеческих судов, а прямо подо мною раскинулись правильные квадраты «чистого» города: красные крыши, белые стены, зеленые бульвары. Повернешь голову влево — там морской простор, будто растянутая парчовая риза, вся в золотом шитье и самоцветных камнях.

Мне скучно. Трава на плешивом склоне вся выгорела. Жарко печет августовское солнце. Надо бы перебраться

под какой-нибудь валун, укрыть затылок от знойных лучей, да лень. Волосы на макушке, если потрогать, горячие. Тетка, зараза, не разрешает носить по будням старую отцову бескозырку, а другого головного убора я не признаю, потому что я не шпынь береговой, а моряцкий сын. Я и одет в матросское: рубаху, холщовые штаны, парусиновые башмаки. Пускай всё латаное-перешитое, однако ясно, из каковских я буду...

Батя мой был марсовый матрос. Он помер еще до моего рождения, в заморском порте Манила, от желтой тропической лихорадки. Тетка Матрена рассказывала, что был он высокий, на лицо рябой и малость кривоногий. Вот и всё, что я знал про папашину личность. Потретов с матросов не пишут.

Матери у меня отродясь не было. Тетка даже ее имени не запомнила и звала не иначе как «лярвой». Меня, когда осерчает, «лярвинным сыном».

Лярва и есть. Как узнала, что батя из плавания не вернется, кинула меня, сосунца, тетке под дверь, а сама в Одессу уплыла с каким-то греком. Или, может, в Николаев. Ну ее совсем. Про отца я думал часто: какой он был, чего на своем веку повидал, да каково это в Маниле помирать. А про мать никогда. Чего о лярве думать?

Воспитала меня батина сестра — как умела, то есть, считай, никак. Она была матросская вдова, каких в Корабельной много. Плохого про нее сказать не могу. Любить не любила — думаю, и слова такого не знала. У нас в слободке детей любить не в обычае. Кормить кормят, заболеют — лечат. А там погладить, приголубить, слово нежное сказать — такого заводу нет.

Изредка тетка меня жалела, но это спьяну, когда выпьет шкалик-третий и на слезу потянет. Сначала долю свою несчастную обплачет, потом и до меня, сиротинуш-

ки, очередь дойдет. Я-то, правду сказать, не жалел Матрену нисколько. Думал, подрасту еще и сбегу в Керчь или Евпаторию, буду с рыбаками рыбу ловить. С контрабандистами тоже хорошо, весело.

Вот-вот, про это я как раз и подумал, когда повернул голову в сторону моря и увидел на соседнем камне зеленую ящерку.

Крымские ящерицы на исходе лета обретают серый, скучный цвет, становясь неразличимыми на фоне жухлой травы и пыли, эта же была ярко-зеленая, будто вся вырезанная из бутылочного стекла, или нет, не стекла, а китайского нефрита, на который я, бывало, пялился в витрине «Колониального магазина», что на Екатерининской улице. В жизни не видывал я такой нарядной ящерицы! Длинной она была, пожалуй, с мою ладонь. Глазки — словно две блестящие икринки. В напряженном вытянутом тельце, в повороте точеной головки было что-то *файное* — или, как я сказал бы теперь, изысканное.

Мысль, что пришла мне в голову при виде изящного зверька, была не особенно изящная: эх, поймать бы да на Привоз. Там, на приморском базаре, я не без успеха продавал морских звезд и коньков, необычные раковины и прочую дребедень, не имевшую у нас в слободке никакой ценности, однако же охотно приобретаемую чужаками из «чистой» публики: приезжими чиновниками или барчуками. За такую царскую ящерицу какой-нибудь гимназист или юнкер мог отвалить четвертак, а то и полтинник.

Сначала я подобрал небольшой булыжник. До камня, на котором грелось зеленое чудо, было шагов пять. Я бы не промахнулся. Но потом я передумал. Не то чтоб из жалости, а просто прикинул, что за живую дадут больше, чем за сушеную. Опять же, ежели ящерицу высушить, так, наверно, вся зелень сойдет — и какой дурень тогда ее купит?

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Очень медленно я приподнялся, спрятал трубку в нагрудный ладан, заменявший мне карманы. Шажок, другой.

Ящерица чуть двинула головкой. Я понял, что ближе она меня не подпустит.

Несколько минут я не двигался. Она тоже.

Как дивно посверкивала на солнце переливчатая шкурка! Меньше чем за рубль не уступлю, думал я. А может, вовсе себе оставляю. Сколочу клеточку, насыплю желтого песочка или белой гальки, буду кормить изумрудную царевну мухами да любоваться.

Едва лишь ящерица, успокоившись на мой счет, вернулась, как я кошкой, оттолкнувшись ногами, сиганул на валун, где сидела моя добыча.

Валун был плоский, плотно утопленный в землю, размером с большой барабан. Еще в полете я понял, что останусь с пустыми руками. В мгновение, будто спущенная с тетивы зеленая стрелка, ящерица сорвалась с места, и я упал на пустой, нагретый солнцем камень.

От азарта я совсем не думал о том, как приземлюсь. Ударился грудью и подбородком — больно, до звона в голове, соленого привкуса во рту и черноты в глазах.

Оглушенному, мне показалось, что от моего сокрушительного падения дрогнула и просела земля. Я хотел опереться о камень и приподняться, но у меня почему-то не получалось. Валун словно вминался в почву под моими руками. Что-то шуршало, скрипело, ёкало.

Уверенный, что еще не очухался от удара, не веря своим глазам, я увидел, что камень уходит куда-то вниз. Если бы я не находился в таком ошарашенности, то наверное ухватился бы за росший рядом сухой куст, но момент был упущен. Валун провалился сквозь землю, и я вместе с ним.

Падая головою в черную дыру (верней, не падая, а скользя, ибо движение было не отвесное сверху вниз, а немного наискось), я заорал во всё горло — и еще успел

услышать чудовишно гулкое эхо собственного голоса, но в следующую секунду сорвался уже в полную пустоту и, верно, от ужаса лишился чувств, потому что удара о твердь не помню, а высота была приличная. Я после измерил: две с половиной сажени.

Скоро я очнулся, нет ли, не знаю. Только открыл глаза — и ничего кроме черноты не увидел. Потер веки, хлопал ресницами — опять ничего.

Что я живой, мне было ясно. Болело ушибленное плечо, а на зубах скрипела пыль. Но вообразилось, будто я ослеп, и я взвыл.

Вот гляжу я на себя тогдашнего и примечаю, как много я вопил, орал, плакал. Как часто я чего-то до жути боялся, коченел в ужасе, трясся от страха.

В моей жизни случались смелые поступки. Подчас я даже пользовался славой храбреца среди людей совсем не робкого десятка. Но сам-то про себя я знаю, что от природы слепок не из героического теста. Повидал я по-настоящему отважных людей, и немало. И скажу по опыту, что подлинный смельчак — тот, кто ведет себя с одинаковой доблестью как на людях, так и без свидетелей. Со мной, увы, не то. Я и на миру-то не всегда был орел, а уж когда я один и никто на меня не смотрит, я будто сжимаюсь, слабею, ибо не перед кем фанфарониться и держать форс.

Как же горестно и отчаянно я рыдал, сидя на ровной, твердой поверхности в кромешной тьме и не понимая, что за напасть на меня обрушилась!

Может, я принял за ящерицу колдунью, каких по окрестным горам осталось видимо-невидимо еще с басурманских, дорусских времен? Наши ребята говорили, что в глухих балках и каменных ущельях можно повстречать всякую татарскую нечисть. Против христианской души силы у той нежити нету, а всё ж лучше их не трогать.

Набросился я на изумрудную ящерицу, а она не простая, замороженная. Вот и наказала меня погребением заживо и слепотою.

От слез мои глаза прочистились или, может, пообвыклись с мраком, и увидел я, что тьма не вполне крошечная, льется откуда-то слабое сияние. Поднял голову — наверху светло-серая дыра, от нее тянется столб света, и в нем кружатся пылинки, еще не осевшие после моего падения.

Я шевельнулся, стукнулся локтем о жесткое. Да это же валун, на котором сидела ящерка!

И встали у меня мозги на место. Дошло, что никто меня не заколдовывал, а просто провалился я вместе с камнем в подземную пещеру.

У нас в горах и холмах пещер много. Есть природные, а есть рукотворные, оставшиеся от древних каменоломен. У нас в слободе тоже такие имеются. Кто победнее, хату себе не ставит, а прямо в каменной норе обживает. Летом там прохладно, и зимой обогреть легче. Темно только и душно.

Страху во мне сразу стало меньше, но все-таки еще много осталось. А коли я отсюда не выберусь, подохну от голода и жажды? Ведь сколько ни ори, никто не услышит. На Лысую гору, даром что она от города близко, люди редко поднимаются. Потому что делать тут нечего. Ни тени, ни воды, и огород не разобьешь — слой почвы больно тощ.

Я пошарил по земле, которая показалась мне странно ровной и гладкой — словно пол. Вместе с валуном вниз свалилось несколько веток и целый ком земли с сухой травой.

Вынул я из ладана трут и огниво, сделал факел. Прежде всего влез на валун и поднял руку — понять, далеко ли до дыры. Оказалось, высококонько. Не достать.

Тогда решил осмотреться — нет ли еще камней, чтоб из них сложить кучу.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Вышло так, что сначала я несколько шагов пятился, задрал голову. Только потом обернулся и посветил перед собой.

Вот он, тот миг, когда я проснулся, мое истинное рождение на свет.

Я разинул рот, чтобы снова заорать, но не мог произнести ни звука. На меня в упор смотрела девушка. Ее глаза были как живые — живее, чем живые, а волосы переливались, будто освещенные ярким солнцем. Лишь спустя мгновение я понял, что это настенная картина. Что такое «мозаика», я не знал, и сначала мне показалось, будто прекрасный лик весь состоит из сияющих капель.

Потом я много раз, очень подолгу, вглядывался в это лицо. Локоны у девы были цвета тусклого золота, а очи черные-пречерные, с отблеском. Они всегда смотрели прямо на меня, неотрывно, будто испытывали, способен ли я разгадать сокровенную тайну, от которой зависит вся моя жизнь и, может быть, даже нечто большее. Но что за секрет таится во взоре пещерной жительницы, мне было невдомек. Я ведь тогда еще не ведал, что всякой разгадке свое время и дверь не откроется, пока не повернется ключ.

Перед изображением я простоял очень долго. Бережно потрогал холодные разноцветные чешуйки, из которых было сложено чудо.

Слева и справа от картины кособочились каменные оползни, и девушка выглядывала промеж них, будто из окна. Я расчистил стену с одной стороны. Там тоже что-то было изображено — показался край дома с колоннами, похожего на нашу Петропавловскую церковь, однако дальше было не прорваться, камни и земля слежались чересчур плотно.

Тогда я наконец догадался обойти всю пещеру. Для этого пришлось соорудить новый факел, старый уже догорел.

Наверное, когда-то помещение было прямоугольным, а свод высоким. Но осыпи полностью завалили две торцевые стены и почти целиком одну из длинных — в единственном месте, которое осталось незакрытым, и был портрет златовласой и черноглазой красавицы. Я то и дело оглядывался, чувствуя на себе ее неотступный взор.

Зато противоположная стена сохранилась почти по всей своей длине. Она была сплошь покрыта многоцветной мозаикой. Впоследствии я обстоятельно рассмотрел каждую из диких сцен, там изображенных.

Кудрявый человек с телосложением циркового борца, обмотанный пятнистой шкурой, рвал пасть льву; рядом он же рубил длинным ножом змеиные головы; волок куда-то козу-золотые-рожки; грозил кулаком полуконю-полумужику; махал большой лопатой.

Там много чего было, на той стене. Кудрявых молодцев было двенадцать, один еще малец, другие постарше, имелись и зрелые мужи, но все похожи. Я пришел к заключению, что это, должно быть, двенадцать братьев. Одни воюют с чудищами, другие себе хозяйствуют. Разглядывать ихнюю жизнь было интересно.

Пол пещеры — там, где не был засыпан, — состоял из мраморных плит, выложенных в шахматном порядке. А еще я нашел в углу много расписных кувшинов с вытянутыми, как журавлиная шея, горлышками. Кувшины были запечатаны чем-то вроде воска. Я расковырял одну из пробок, понюхал. Пахло чем-то невероятно душистым, отчего сразу закружилась голова.

Бояться я давно уже перестал. Было ясно, что до дыры я доберусь без особенного труда, — довольно сложить горку из камней и щебня. Мне теперь, наоборот,

стало страшно вылезать из волшебного места. Вдруг я никогда сюда больше не попаду? Вот вылезу, а изумрудная ящерица махнет хвостом, гора закроет от меня свое чрево, и я никогда не увижу черноглазой девушки, не разгадаю ее тайны.

Уже собрав в кучу камни и убедившись, что через земляной лаз смогу выползти наружу, я снова спустился и стоял перед Хранительницей Тайны, пока не сжег последнюю ветку.

Огонь съежился, несколько раз мигнул, погас.

Лицо, прекраснее которого не было и нет на земле, скрылось во мраке.

ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР

Вот картинка вторая.

Я неспешно иду, нога за ногу, по Приморскому бульвару, грызу семечки, шелуху сплевываю в кулак. Сорить на бульваре запрещается, тут чистота, как на корабельной палубе, и публика гуляет только «чистая». Нижним чинам, бабам в платках, гулящим девкам ходу нет. Я в своей латаной блузе держусь поближе к ограде. Если заметит хожалый да погрозит кулаком — перепрыгну, только меня и видали.

Со дня, когда я ухнул под землю и открыл волшебную пещеру, миновало больше месяца. Удивительное это было время. Как при утреннем пробуждении, когда уже не спишь, а взгляд еще не прояснился. В голове бродит недосмотренный сон, но члены ожили, начинают шевелиться первые мысли. Вот-вот скинешь одеяло, потянешься, встанешь.

Каждый день поднимался я на Лысую гору и часами просиживал в своем заветном подземелье. Обустроил я

его так хорошо, как только смог. Первым делом, конечно, замаскировал лаз. Не хватало еще, чтоб мою тайну по случайности обнаружил кто-то чужой!

Дыру я закрыл крепкой крышкой из дубовых досок. Поверх уложил дерн с травой. Теперь на этом месте можно было хоть впрыскаду плясать — не провалишься. А открывался люк легко — взялся за корень, служивший ручкой, да откинул.

Наклонная нора, по которой я так шибко скатился вслед за валуном, была преимущественно земляная, и я сделал там ступеньки. Спускался следующим образом: как следует огляжусь, открою дверцу, сползу в проход, притворю крышку и только потом зажгу свет (у меня там на особой полочке имелась лампа, которую я спер из дому; был и запас свечей). Под дырой я соорудил деревянную лесенку с перекладинами. Камни, которыми был завален пол, перетащил или перекатил в один угол. Мраморный пол расчистил. В особом месте лежали факелы: сухие толстые палки, обмотанные промасленной ветошью. Бывало запалю по всем сторонам огонь и брожу вдоль дивных изображений. И наслаждаюсь, и нет никого больше на свете.

Приключения двенадцати кудрявых братьев-богатырей я изучил в доскональности: разобрал, кто из них старший, кто младший. Они, как я выяснил, располагались по старшинству: слева последыш, совсем кроха, потом юные, затем бородатые, а в правой стороне стены — дядьки в возрасте. Но видно, что одного семени — та же буйная курчавость, тот же по-бычьему крутой лоб.

Однако братья братьями, а все ж таки большую часть времени я торчал перед златовласой девой. Валун, вместе с которым я сверзся в недры, я перекатил к стене и превратил в табурет. Сяду на него и гляжу, гляжу на свою переливчатую молчальницу. А она на меня. И не надо мне

больше ничего. Только когда живот от голода схватит и очнешься, что день прошел.

Хорошо, тетка Матрена на меня к тому времени уже рукой махнула и, где я шляюсь, не допытывалась. Сам себя кормлю — и ладно.

С утра-то я обычно на Рыбачкую пристань ходил, где всегда есть работа: улов разгрузить или арбузы из татарской мажары в шаланду перекидать (их от нас возили морем в Евпаторию и Ялту). Сам я, хоть неширок в кости, но жилист и проворен, а работал быстро — не терпелось поскорей попасть в мою пещеру. Заработаю пятак иль гривенный, больше мне и не надо. Брал на базаре хлеб с сушеной таранью, а яблоки и абрикосы у нас сами растут, рви где хочешь. Не позднее полудня я уже спускался в свое подземное царство.

Это был мой секрет, моя великая тайна, ведомая мне одному. Даже если б меня стали на огне жечь или клещами рвать, никому бы я ее не открыл, не выдал бы чужим своей черноглазой вопрошательницы. Будь я в ту пору поживей мыслями, наверно, заподозрил бы, не сдвинулся ли я рассудком, не стал ли жертвой болезненного наваждения, которое в науке именуется «галлюцинация». Но ни про какие галлюцинации я не слыхивал, глазам своим привык доверять, а что до мысленной живости, то благодаря чудесной пещере она понемножку начала во мне просыпаться.

Никогда прежде я столько не размышлял, не мечтал, не воображал себе всякие невозможности. Будто откроется мне откуда-нибудь тайное слово, с помощью которого я сумею мою деву расколдовать, и она сойдет ко мне со стены, и поблагодарит за избавление, и станем мы с нею жить-поживать, будто царь с царицей, и никто нам будет не нужен. А если не сыщется заветное живое слово, чтоб вызволить мою ненаглядную из каменного зато-

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

чения, то я б согласился и на слово мертвое, которое меня заколдовало бы и поместило к ней в стену. Пускай бы мы были вместе хоть там, на той стороне. Глядели б друг на дружку блестящими неподвижными глазами, держались бы за руки, и никто б никогда нас здесь не нашел.

От этих фантазий у меня в голове начинались взвихрения, и тогда я выбирался побродить по городу. Чувствовал: если вовсе от живых людей оторвусь, могу съехать с ума.

В прежние времена я часто шлялся по севастопольским улицам. Там было на что поглазеть. Вдоль парадной Екатерининской и близ Графской пристани, где по вечерам духовой оркестр, фланировали морские офицеры, провожая взглядом немногочисленных дам. Женщин нарядного сословия и приличного названия в нашем военном городе было так немного, что каждая почитала себя красавицей и получала тому подтверждение в виде лестного мужского внимания.

По набережной Артиллерийской бухты, взявшись за руки и горланя свои песни, разгуливали иностранные матросы в смешных шапках с пушистым шариком на макушке. Чужеземным кораблям заходить в черту города воспрещалось; иностранные купцы бросали якорь в Балаклаве или Камышевой, а в Севастополь добирались на линейках, где проезд стоил пятак с носу.

На Привозе близ стрелки было веселее всего. Через залив и с кораблей на берег сновали шлюпки, баркасы, гички и ялики. По набережной ходили гурьбой или по одиночке матросы, прицениваясь к сухопутным удовольствиям: сбитню, пиво, изюму да орехам — ну и, конечно, к женскому товару, который в нашем порту водился в изобилии. Девки в Севастополе были как на подбор: крепкие, щекастые, зычные. Они лихо ругались и зали-

висто хохотали, а еще про них шла слава, что пьяненьких матросиков они не обкрадывают — это у наших шалав почиталось стыдным. Купца какого или сухопутного — пожалуйста, не поймана — не воровка, а моряка не трожь, его копейка соленым потом и кровью добыта. Раньше, пока мне не встретилась та, рядом с которой все женщины навроде пыли, я любил посмотреть-послушать, как матросы с девками рядятся, сбивают цену. Но в новом своем зачарованном состоянии я обходил веселое место стороной — будто моя подземная зазноба могла откуда-то прознать, что я пялюсь на непотребных особ.

Теперь я, если уж гулял, выбирал улицы почище. Должно быть, потешно выглядел оборванец, поглядывающий на златоэполетных офицеров и важных господ с усмешечкой тайного превосходства, — но именно потому и расхаживал я по «чистым» кварталам, чтоб потешить свою гордость. Я был там самый бедный, самый ничтожный и убогий из всех. Но лишь на вид. На самом же деле я владел тайной, которая никому из этих бар и барышень даже не снилась; я обладал сокровищем, равного которому не существовало во всем свете, — моей Красицей.

А еще мною всё время владело необъяснимое, но какое-то очень уверенное предчувствие, что чудеса в моей жизни только-только начались, и главные еще, быть может, впереди.

Мне еще предстояло очнуться по-настоящему. Но не постепенно, а враз — как если бы на меня, полусонного, кто-то вылил ведро ледяной воды или, наоборот, подпалил огнем мою постель.

Я поднимаюсь с Приморского на Екатерининскую, где самые дорогие кофейные заведения и самые лучшие лавки.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Вот сейчас это случится, сейчас!

И сброшу я остатки дремоты, и побегу, как ошпаренный, и больше уже никогда не остановлюсь...

Мое внимание привлек дикий человек, разглядывавший витрину маленькой лавки. Раньше там находилась греческая бакалея, потом поменялся владелец и, когда я проходил здесь в последний раз, дней десять тому, стекла были завешаны тряпками. Теперь появилась новая вывеска, и в окне что-то было выставлено, но меня заинтересовала не лавка, а застывший перед нею зевака.

У нас в Севастополе можно было повстречать людей со всего света: и турок в фесках, и египтян в белых платках, и негритянцев, иногда даже желтолицых китайцев с девчачьими косами. Но такого чудака я не видывал еще никогда.

Он был в рубаше навывпуск из перевернутой навыворот мягкой кожи, с разноцветным узором из мелких бусинок; портки были того же матерьяла, с бахромою по шву; обувь навроде кожаных постолов, в каких ходят болгары и румынцы, но тоже вся расшитая. Черные волосы свисали ниже плеч, поверху перетянуты алым жгутом, а с макушки торчало большое птичье перо.

Я подумал, что это ряженный цыган из балагана — в Херсонесе о ту пору как раз разбил шатры табор из Бессарабии. Слободские ребята рассказывали, что там много дикий: глотают огонь, кидают ножи, ходят по веревке и всякое разное. Я на представление не ходил, потому что ничего чудесней моего подземного чуда там все равно мне бы не показали. Однако что ж не поглазеть на диво, коли оно вот оно?

Я подошел сбоку, вознамерившись разглядеть странно-го человека вблизи. Был он носат, лицом темен и неподвижен, похож на птицу ворон — одним словом, страшен. На-

искошь через плечо у предположительного цыгана висела сумка, еще и закрепленная тесемкой в обхват пояса. В особенности же заинтересовал меня красивый топорик с резной ручкой, зачем-то висевший у носатого на боку. Осторожно, маленькими шажками, я подобрался еще ближе — теперь меня отделяло от ряженого не больше трех шагов.

Он не повернул головы и вообще не шевелился. Мне не доводилось видеть, чтобы кто-то живой и не спящий пребывал в такой неподвижности. Прямо как каменный.

Что это он так пристально рассматривает?

Я наконец поглядел на вывеску и на витрину.

Надпись была непонятная: «ЕВРОПЕЙСКАЯ НОВИНКА. ДАГЕРРОТИПИЧЕСКИЯ ПОРТРЕТЫ». За стеклом вывешены десятка два малюсеньких картинок, каждая с гусиное яйцо. Я знал, что они называются «миниатюры»: у директора школы для матросских детей, где я отучился два неполных года, на столе было два таких портретца — царь и царица. Но эти миниатюры выглядели иначе. Во-первых, они были не цветные, а тускло-серые, как рисунки в учебнике. Во-вторых — и это мне понравилось — лица на картинках были совсем как настоящие. Смотрят, будто сейчас оживут. Каждый портретик овальный, забран под толстое стекло.

Зрение у меня от роду превосходное, и, хоть изображения были крошечные, я мог легко рассмотреть их во всех подробностях. Узнал супругу коменданта севастопольского порта Станюковича, она по вечерам любила кататься в коляске вдоль набережной — ох, важная барыня, истинная адмиральша. Еще мне был известен шкипер Костораки, знаменитый на весь город замечательно длинными усами.

Однако длинноволосый глядел не на адмиральшу и не на приметного шкипера, а на какой-то медальон в дальней от меня стороне. Ничего особенного — просто две

женские головы. В витрине двойных портретов было штук шесть, а в одну картинку втиснулось даже целое семейство: папаша, мамаша и двое ребятишек.

Я снова стал глазеть на топорик. Очень уж затейный на нем был узор: будто змея оплелась вокруг рукоятки.

Цыган вдруг шевельнулся, наклонившись ближе к заинтересовавшей его миниатюре, да шмякнулся носом о стекло. Серdito фыркнул. Качнул патлатой башкой, покосился на меня жутким, мороз по коже, взглядом. Потом толкнул дверь и вошел. Двигался он в своих кожаных лаптях не по-людски, а словно по-звериному — совсем бесшумно.

Сделалось мне любопытно: что это понадобилось дикому человеку в лавке и как он будет объясняться — по-нашему или по-чужеземному?

Я пристроился сбоку от витрины, чтоб меня изнутри не было видно, и стал подглядывать. Дверь закрылась неплотно, я мог слышать разговор.

Говорил, правда, только хозяин, низенький толстяк в больших очках, а цыган (или кто он там) по-русски, кажется, не знал или, может, был немой. Он не произнес ни звука, а лишь показывал руками.

Потыкал в витрину — в то место, у которого давеча долго торчал.

Хозяин спросил громко, как обычно объясняются с чужеземцами и с глухими:

— Что вам угодно? Объясните толком! Вы желаете сделать портрет? Нет? А, вы хотите посмотреть вон тот медальон?

Бессловесный посетитель покачал головой и сделал какой-то жест, которого я не разглядел.

— Вы хотите его купить? Что вы, как можно! Это заказ, за ним придут! ...Нельзя, говорю. Понимаешь ты по-нашему или нет?

Немой достал из своей сумки мешочек, высыпал оттуда что-то на ладонь и сунул под нос очкастому. Тот похлопал глазами, взял с прилавка круглое стеклышко на длинной ручке, нагнулся.

— Какой большой самородок! Позвольте-ка... Я только проверю...

Осторожно, двумя пальцами он взял с ладони какой-то камешек, блеснувший неяркими искорками. Положил на тарелочку. Вынул откуда-то чудную треугольную склянку с прозрачной жидкостью. Уронил одну капельку на камешек.

— В самом деле! Господи-Боже-мой... — Хозяин засопел. Положил на стойку большой медальон в желтой рамке. — Возьмите лучше вот этот дагерротип. Отличная работа. Максимально возможный размер, четыре дюйма. Превосходная вакуумная изоляция, идеально защищает от окисдации воздухом — этот снимок никогда не почернеет. Обратите внимание на позолоченную гарнитуру! А смотрите, какая очаровательная головка! Это содержанка поставщика Наврозова. Каждый локон на куафюре виден! Уж не знаю, что даме в портрете не понравилось. Право, это лучшая из моих раб...

Неожиданную штуку учудил вдруг патлатый. Выбросил вперед руку и зажал болтуну рот — толстяк только забулькал. Я хихикнул.

Второй рукой чернявый человек снова показал на витрину.

— Ладно, что с вами сделаешь... — Хозяин платком вытер губы. — Возьму грех на душу... Скажу заказнице, что экспозиция подвела, сниму еще раз... Простите, что?

Это посетитель снова показывал что-то руками.

— А, вы желаете знать, кто изображен на дагерротипе? Минуточку, у меня тут записаны имя и адрес...

Вытащив большую тетрадь, очкастый перевернул несколько страниц.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Вот он, заказ. Э-э. Госпожа Ипси...

Но грубиян развернул тетрадь к себе, выдрал из нее желтоватый линейчатый листок и ловко сложил его квадратиком.

Только теперь мне пришло в голову поинтересоваться, за какой это портрет дикий человек готов заплатить настоящим золотом.

Найти медальон было нетрудно — на стекле, в которое чернявый ткнулся носом, остался круглый след.

Я подошел ближе — и обомлел.

Две барышни смотрели на меня из овальной рамки. Первая, постарше, была с черными волосами — ее я толком и не рассмотрел, впившись глазами во вторую, светловолосую, совсем юную.

Меня заколотило.

Это была она, она! Моя дева из подземной пещеры! В скромном темном платье, с уложенной венцом косой — но эти черные, безмолвно вопрошающие глаза я сразу узнал. И рисунок бровей, и резной обвод скул, и чуть заостренный подбородок.

Так вот какое чудо предчувствовал я замирающим сердцем! Мир оказался еще чудесней, чем мне вообразилось!

Я не заключил, что схожу с ума. Не попытался объяснить необъяснимое. Просто с благодарностью принял новое чародейство, ниспосланное мне провидением.

И проснулся, теперь уже совсем проснулся.

Действительность словно раскрылась передо мною во всей своей головокружительной удивительности.

Нечего напрягать свой слабый рассудок, тшась уяснить причудливые узоры судьбы. Нужно держать глаза раскрытыми, не хлопать ушами — и нестись на всех парусах по океану жизни навстречу дымчатому горизонту!

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Это я сейчас думаю о провидении, узорах судьбы и прочих красивостях. А тогда, у витрины дагерротипной мастерской, я не умничал. Без колебаний и размышлений я подобрал с тротуара камень, шмякнул им в витрину и, не обращая внимания на разлетающиеся осколки стекла, схватил с полки нагретый солнцем медальон. Ни за что на свете я не расстался бы с этой волшебной нитью, которая — я знал, знал! — однажды приведет меня к моей Деве.

Она живая, она существует на самом деле! И ждет меня.

Вот единственное, что я уяснил, а о прочем пока что не задумывался.

Да и некогда было.

— Караул! — завопили из лавки. — Обокрали! Держи вора!

Я припустил вниз по улице. Вором я себя не чувствовал. Я взял то, что предназначалось только мне и никому другому принадлежать не могло.

Божий мир обрушился на меня, пробудившегося, всей своею мощью. Я улепетывал вдоль по Екатерининской и будто впервые ощущал с полной остротой звуки, цвета, запахи. Булыжная мостовая словно бы прогибалась под моими ногами, подбрасывая меня вверх. Я был легок, всемогущ и бесстрашен.

Но оглянулся — и бесстрашие испарилось. Пузатый хозяин лавки давно отстал, но черный молчальник гнался за мной неотступно. Он неся, хищно пригнувшись, расставив локти. Длинные космы развевались по ветру, ноги касались земли невесомо и бесшумно. Безобразное, всё из острых углов лицо было оскалено. Я завопил от ужаса, потому что никогда не видывал такой свирепой рожи.

Я ускорил бег. Медальон спрятал в ладан, прижал к груди. Никакая сила не отобрала бы у меня мое сокровище.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Бежал я к набережной, где можно затеряться в толпе. Слава богу, мой преследователь гнался за мной молча и «Держи вора!» не кричал. Иначе меня вмиг схватили бы за шиворот. Я мчал через людскую гушу, проскальзывая меж моряков, разносчиков, посыльных. Сзади залилась пронзительная трель. Севастопольские полицейские (их называли «хожалыми») были оснащены дудками на манер боцманских, но со звуком писклявым и противным. Это, верно, хозяин призвал на помощь стража порядка. Теперь, если б я попался, то затрещинами не отделался. За воровство в городе карали строго, по-военному: драли как сидорову козу и отправляли в арестантские роты. Ведь матросские сироты вроде меня считались состоящими по военно-морскому ведомству, и для малолетних преступников при гарнизоне имелась штрафная команда. Попасть в нее считалось страшней, чем угодить в кантонисты.

Но без добытого в лавке портрета мне все равно жизнь была бы не в жизнь. А кроме того я уж знал, где спрячусь.

Вдоль всего Адмиралтейского причала были пришвартованы лодки с военных кораблей. Кто-то приплыл в город по делу, кто-то — погулять. Об это время дня их тут стояло до полусотни, и почти все без присмотра, потому что кому ж в Севастополе придет в голову упереть казенную лодку?

Я сиганул прямо с пристани в первый же пустой ялик и скрючился на дне, спрятавшись под скамейкой. Сердце мое стучало, грудь лопалась от нехватки воздуха.

Поверху протопали сапожищи, требовательно и грозно засвиристела дудка — это пробежал полицейский.

Я осторожно высунулся — и увидел, что мой маневр не остался незамеченным. Бок о бок с яликом стояла шлюпка, свежевыкрашенная в черное и белое, с флаж-

ком на корме и надписью по борту «Беллона». Оттуда на меня с интересом глядели гребцы, четверо бравых матросов, у руля восседал седоусый боцман с дымящейся трубкой в зубах. Лодка то ли готовилась к отплытию, то ли, наоборот, только что пришвартовалась.

На всякий случай я изобразил невинную улыбку: может, это мой ялик, почему им знать?

Но ближайший ко мне матрос, с рыжими конопухами по всей физиономии и серьгой в ухе сказал:

— Спёр чего? Не люблю ворья. Кыш отседова, салака сопливая!

Я был не против. Поднялся, чтоб вылезти обратно на причал — и снова сжался. Трель зазвучала ближе. Хожалый возвращался.

— Как есть спёр! — недобро оскалился рыжий. — Ну-ка, Степаныч, ожги его линьком!

Боцман смотрел на меня, двигая косматыми бровями, и что-то соображал.

— Погодь, Соловейко. Не тарахти. Эй, пацанок, ты чей?

— Сам по себе, — ответил я, прислушиваясь к приближающимся свисткам. Думал: в воду что ли нырнуть? Так у них в шлюпке багор — зацепят, достанут.

— В полицию хошь? — спросил боцман и подмигнул.

Не выдадут, понял я и немного успокоился. Помотал головой.

— Тады лезь сюда.

Седоусый приподнял край брезентового кожуха, каким закрывают корму во время сильного дождя или высокой волны.

Уговаривать не понадобилось — я лихо перепрыгнул в шлюпку. Меня подхватили, легонько стукнули по загривку, и я оказался под кормовой банкой, меж ног у рулевого.

— На кой он нам, Степаныч? — спросил рыжий, что предлагал ожечь меня линьком.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Молчи, дура. Вчерась юнга сбёг. Дракин ругается, грозит лычку с меня снять. А я ему нового доставлю — то-то и важно будет.

— Башковитый был парнишка, потому и сбёг, — ответил Соловейко.

— Ну это ты, Соловейко, не бреши. — Степаныч — я подглядел — показал конопатому кулак. — Наша «Беллона» — всем фрегатам фрегат. — И посмотрел на меня сверху вниз. — Хочешь, парень, на «Беллоне» юнгой служить? Форменку получишь, довольствие.

— Где служить?

Я высунулся: что там хожалый?

— На «Беллоне». Лучший на всем Черноморском флоте корабль. А Беллона — это, брат, богиня войны.

— Баба — и войны? — удивился я.

— Смерть — она тоже не мужик, — сказал рыжий и подмигнул. — Вся погибель от баб.

Боцман показал на черно-желтую ленту, которой у него был обвязан околыш бескозырки.

— Видал? Из всей эскадры только на «Беллоне» такие. Егорьевские. Дадены за Наваринскую сражению. Станешь настоящий моряк — и тебе повяжут.

— Куды ему, сопливному, ленту? — Соловейко сплюнул. — Скажешь! Еще юнгам егорьевский знак давать!

Ни с лентой, ни без ленты поступать в корабельные юнги я не собирался. Еще не хватало! У меня подземное царство. У меня тайна, которую надо разгадывать — как раз и ниточка протянулась. Чёрта ль мне «Беллона»?

Но перечить не стал. Как раз над кромкой причала мелькнул линиялый голубой мундир полицейского. Я спрятался под кормовую банку.

— Решай, паря, — тихо молвил Степаныч. — Или с нами, или туда.

Тут с пристани спросили:

— Эй, служивые! Шкет тощий, белобрысый, в матросской рубахе с заплатами на локтях тут не шастал?

— Вали, селедка, — с угрозой отвечал боцман.

У матросов с хожалыми была давняя вражда.

Ничего полицейский не ответил, поостерегся. Сапоги ускрипели прочь.

Вот теперь можно было сматывать.

Я вылез из-под брезента, прикидывая, как буду действовать дальше. Перво-наперво — скакнуть обратно в ялик, потом ухватиться за канат — и на пристань. Ну а там поминайте как звали. Плавайте по морям-океанам на своей богине без Герасима Илюхина.

— Индей! Явился наконец, — сказал один из гребцов.

Я повернулся — обмер. На причале, оглядываясь куда-то назад, стоял мой страшный преследователь.

— Тссс, молчок! — шепнул матросам Степаныч, а меня взял за шиворот и пихнул обратно под брезент.

Я затаился там, в сырой темноте, трясаясь от страха и ничегошеньки не понимая.

Шлюпка качнулась — кто-то мягко в нее прыгнул.

— Где тебя леший носил? — проворчал Степаныч. — Заждались!

— Ишь, глазищами сверкает, кривоносый. — Это сказал Соловейко. — Зубами порвать хочешь? Кровушки христианской попить?

Ответа не было. Да его, кажется, и не ждали.

— Табань помалу! — гаркнул боцман.

Заскрипели уключины, весла черпанули воду. Лодка отходила от причала.

Я лежал, скрючившись в три погибели, и крепко держался за челюсть, чтоб не стучали зубы.

ГИБНУ

Смешное воспоминание: мое первое утро на «Беллоне». Каким же я был никчемным и жалким!

Устрашенный до полного оцепенения необъяснимым появлением в шлюпке моего молчаливого врага, я и сам будто лишился речи, да еще и обездвижел. Когда лодка ударилась носом о что-то деревянное, твердое, и чей-то суровый голос с небес крикнул: «Третья?», а боцман Степаныч ответил «Так точно, третья, ваше благородие!», я забился как можно глубже под скамейку. Мне казалось, пришел мой смертный час. Сейчас меня выволокут наружу, черный человек меня увидит, и...

Я боялся даже думать, что тут произойдет.

Но когда боцман велел мне вылезать, немного в шлюпке не было. Он исчез, испарился, словно жуткий ночной сон. Я, однако, все равно был будто не в себе. Жмурился, ослепленный солнцем, и ничего толком не разглядел. Понял лишь, что нахожусь на одном из кораблей, стоящих на якоре посреди Большого рейда. С одной стороны, далеко, виднелись крыши города; с другой, много ближе, серели мощные стены Михайловского форта; вдали же розовели и лиловели в предвечерней красе окрестные горы.

Я делал всё, что мне велели: спросили имя — назвал, приказали раздеться догола — разделся. Мятый сероволосый в кожаном фартуке пощупал меня, повертел, сказал: «Коден ф юнги» — и мне выдали матросскую одежду. Не припомню, чтоб кто-то поинтересовался, желаю ли я поступать в службу. Я, наверное, всё равно не посмел бы ответить отказом, слишком был перепуган. Меня долго водили по каким-то тесным помещениям, похожим на деревянные ящики. Спрашивали про отца-мать, не беглый ли, не в чесотке ли, верю ли в Иисуса Христа

и еще про всякое. Узнав, что обучен грамоте, сунули какую-то бумагу. Я не читая подписал.

Мне казалось, что после чудесного пробуждения к настоящей жизни я снова провалился в сон и всё это происходит не на самом деле. Скоро я проснусь, и вообще утро вечера мудренее. Коли наваждение не рассеется, утром соскользну по якорной цепи в воду и запущу саженьками — только они меня и видели.

Я стерпел болезненную стрижку машинкой налысо. Съел в каком-то закутке миску довольно вкусной каши с щедро накрошенным мясом, после чего всё тот же Степаныч отвел меня куда-то в чрево корабля, где было темно, что-то шевелилось во мраке и отовсюду раздавался храп.

— Залазь в люлю, — сказал боцман. — Спи, юнга. Завтра служба.

Не с первой и не со второй попытки сумел я устроиться в полотняной матросской койке, подвешенной к низкому потолку. Она закачалась, в самом деле будто детская люлька, прогнулась под моим весом, и я подумал, что нипочем не усну в таком скрюченном состоянии. Хотел пристроиться на полу, но выкарабкаться из чертовой сумки оказалось еще трудней, чем в нее влезть — она лишь сильнее болталась. Меня замутило, я сдался. Пока я барахтался, глаза приспособились к тусклому свету, что сочился из единственной медной лампы, закрепленной под дощатым сводом.

Повсюду висели такие же люли, как моя. Они были похожи на спелые груши, что качаются на ветвях в ветреный день. Сопение, сонное бормотание, всхрапы. На соседней койке я разглядел знакомую физиономию с веснушками — там сладко спал Соловейко, который обозвал меня «сопливым». Днем у матроса лицо было подвижное, ухмылистое, сейчас же оно показалось мне суровым и

даже грозным: брови сдвинуты, по краям рта жесткие складки. Что-то темное слегка шевелилось у спящего на груди. Я кое-как приподнялся. Это была маленькая мартышка. Она тоже спала, обхватив грудь матроса мохнатыми лапками. Не могу сказать, чтоб я особенно удивился. После всех событий минувшего дня поразить меня чем-то было трудно.

Потихоньку я достал из ладана теплый медальон. Разглядеть его я не мог, было слишком темно. Но поцеловал гладкую поверхность. «Ништо, — сказал я сам себе. — У меня судьба не такая, как у всех, а особенная. Она меня выручит». И, успокоенный, я скоро заснул.

А картинка, которую я сейчас вижу, — это утренний подъем.

Да уж, такое не забудешь...

После потрясений я крепко спал, убаюканный качкой матросской люли. Снилось сладостное.

Стою я, как часто это делал, перед своею Девой. Глядим друг дружке в глаза. Вдруг в ее черных очах зажигаются огоньки. Я думаю: отсвет факела. Но у владычицы моего сердца подрагивают ресницы, чуть приоткрываются нежные губы — и я понимаю, что мое долготерпение вознаграждено, она оживает!

Я протягиваю руку, касаюсь белой щеки. Она теплая!

В несказанном волнении я спрашиваю:

— Кто ты? Как тебя зовут?

Лукаво и загадочно улыбнувшись, Дева молвит тихим голосом:

— Угадай.

В моей памяти звучит слово или имя, которое я где-то недавно слышал. Оно звонкое, переливчатое и гулкое, как удар колокола.

— Беллона?! — восклицаю я.

Анатолий Брусникин

Девушка беззвучно смеется и начинает подтаивать, расплываться.

— Беллона! — кричу я громко. — Не уходи. Беллона-а-а!!!

Пещера подхватывает мой вопль. Оглушительное эхо ревет:

— БЕЛЛОНА!!!

— «Беллона», подъё-о-ом!

Я вскидываюсь и не понимаю, где я. Почему меня шатает из стороны в сторону и невозможно приподняться? Что за крюк с веревками над моей головой? Почему так близок деревянный потолок?

Свистят дудки, тяжело и мягко ударяются о палубу необутые ноги.

— Подымайсь! Оправляйся! К молитве-подъему флага готовься! — орут боцмана по всей длине батарейной палубы, которая в ночное время превращается в матросский кубрик.

Отчаянным рывком я перегибаюсь через край подвесной койки, и она выкидывает меня. Я больно ударяюсь о доски.

Все вокруг быстро двигаются, с каждым мгновением пространство светлеет — это матросы споро скатывают люли и оттаскивают ровные тугие свертки к бортам, где у каждой свое назначенное место.

Строгий, умно продуманный корабельный порядок, рассчитанный до мельчайшей мелочи, был для меня китайской грамотой. Смысл происходящей суеты, название и назначение различных предметов — ничего этого я не знал, не понимал.

Откормленная псина, весело махавшая хвостом подле орудийного лафета, и та была опытнее меня. Мартышка,

которую я давеча видал спящей на груди Соловейки, натягивала маленькую тельняшку и скалила зубы.

Я спохватился, что, кажется, надо одеваться, — все вокруг были уже в штанах, в рубашках.

На мой затылок обрушилась затрещина.

— Чего расселся?

Я вскочил — и не знал, куда бежать. Тоже оделся, попробовал отсоединить от потолка койку. Не получилось.

— Черт криворукий! Весь взвод страмишь!

От удара в ухо меня качнуло.

Это был Степаныч. Он ловко снял люлю, в несколько движений скатал — швырнул мне.

— Туды ложь! Наискось! Живо!

Только я пристроил люлю на ее место (на стенке для того, оказывается, имелся крючок с номером), как где-то наверху забил барабан.

Матросы начали двигаться еще быстрее. Они бежали к лестницам, одна из которых была совсем рядом, другая дальше. Я кинулся к ближней, но Степаныч ухватил меня за шею.

— Куды в грот-люк прешь, салака? Давай на ахтер!

Челюсти боцмана свирепо двигались — он жевал табак. Волосатый кулачище сунулся к самому моему носу. В страхе я попятился, споткнулся обо что-то и растянулся на полу. Это кто-то подставил мне подножку.

— Малёк сызнава спать залёг!

Немудрящую шутку встретили радостным гоготом. Я вскочил — и не увернулся-таки от звучной плюхи, которую влепил мне боцман.

— Шапку подбери, рыло!

Во рту стало солоно. Я сплюнул на пол кровь — опять удар.

— На палубу не харкают! Чай не на берегу! Подбери грязь! — Степаныч показал мне склянку, которую держал

в руке, и сплюнул туда коричневую табачную слюну. — Вишь, как я?

Больше всего меня поразило, что бил и бранил он меня безо всякой сердитости, словно пастух, подстегивающий медлительную корову. Ужасно это показалось мне обидно — хуже, чем если б старый гад шипел и злобствовал.

Глотая слезы, я опустил на корточки, хотел вытереть красное пятно — получил пинок.

— Не рукавом, дура!

Я заревел в голос.

А вот я уже стою на верхней палубе. Экипаж выстроился буквой П, открытый конец которой повернут к капитанскому мостику, на котором пока пусто. Я в третьей, последней шеренге, и парадную кормовую часть мне видно в зазор между головами впереди стоящих.

Строй матросов весь синий, свежий бриз шевелит ленточками на шапках. Кажется, я один, у кого бескозырка голая, без почетного украшения. Ленточка есть даже у корабельного пса, который дисциплинированно сидит в напряженной стойке у фальшборта. И мартышка, что ковыряет из паза между досками смолу и сует ее в рот, тоже с черно-желтым бантиком на шее.

Я не знаю, почему все молчат и чего так сосредоточенно ждут. Встаю на цыпочки.

На самой корме почетный караул в парадной форме, с ружьями. Ниже мостика две фигуры: у одной золото сверкает на груди, у другой на плечах. Священник и офицер.

Перед строем еще несколько офицеров, они то и дело грозно оглядываются на подчиненных.

— Не вертись! — шипит на меня Степаныч из первой шеренги и яростно двигает косматой бровью.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Соловейко (он прямо передо мной), не оборачиваясь, ловким и коротким ударом каблука бьет меня по щиколотке. Больно!

Я замираю, так и не поняв, что означает эта странная безмолвная церемония. С тоской кошу глаза в сторону, на Севастополь и окрестные холмы.

Вон она, моя Лысая гора. Как только все разойдутся и боцман перестанет за мною следить, нырну за борт и прощайте-покедова. Там, в потаенном месте, меня ждет моя ненаглядная.

Я произведу опыт. Достану маленький портрет и предъявлю его большому. Пусть поглядят друг на друга. Что-то при этом произойдет, есть у меня такая надежда.

Потихоньку трогаю ладан через рубаху. Вдруг делается страшно: что если сходство с Девой мне давеча примерещилось? Я ведь толком не рассмотрел миниатюру, не было у меня такой возможности. На чертовой «Беллоне» я пока что не видел ни одного укромного угла. Может, его тут и вовсе нет. Даже нужду здесь справляют не как положено у приличных людей, в закрытом чуланчике, а на виду у всех. Когда команда еще только строилась, некоторые шустрые матросы успели оправиться. Для этого с внешней стороны борта подвешена сеть из толстых веревок — люди просто вылезали туда, исполняли свое дело, и уж не знаю, как им удавалось не провалиться в широкие ячеи. Я бы не рискнул.

— К выходу командира стоять смирна-а-а! — оглушительным басом заорал вдруг офицер с золотыми плечами, полуобернулся к лесенке, что вела с палубы куда-то вниз, и приложил руку к фуражке. А я-то думал, что он и есть главный начальник.

Ударил колокол. Матросы с ружьями взяли на караул. Строй колыхнулся и застыл в полной неподвижности. Мне стало не по себе.

Несмотря на превосходное зрение, издали я не мог разглядеть, что там, в темном проходе происходит. Куда это смотрят и громогласный, но не главный начальник, и поп, и все остальные?

Стало очень тихо. Лишь поскрипывали канаты да кричали чайки.

Кто-то медленно и совершенно беззвучно поднимался на палубу — словно выплывал из черной глубины на поверхность.

Это был мой вчерашний преследователь! Только сегодня перо в его волосах было длинное, белое и торчало над макушкой вверх.

Я не мог сдержать вскрика. Соловейко опять пнул меня ногою, но теперь я не почувствовал боли, охваченный суеверным ужасом.

Мне показалось, что страшного человека вижу один я. Он обогнул золотоплечего офицера, будто тот был деревом или изваянием; бесшумно пересек палубу, уселся на борт, прислонившись спиной к вантам. *И никто даже не повернул головы!* Все по-прежнему, не шелохнувшись, таращились на лесенку.

Я поднял руку, чтоб сотворить крестное знамение, но боцман цыкнул — и я замер. На затылке у него, что ли, глаза?!

В тишине раздался мерный стук. Кто-то еще поднимался снизу, звякали подкованные каблуки. Кто-то белый, узкий.

Худой человек, единственный из всех в белом сюртуке, жмурясь от солнца, неторопливо надел фуражку, вынул изо рта и спрятал в карман незажженную сигару, сказал что-то — я не разобрал ни слова, лишь невнятный шелест.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Так точно, господин капитан! — зычно откликнулся помощник (я вспомнил, что на военных кораблях это называется «старший офицер»). — Прикажете поднимать?

Губы капитана снова зашевелились.

— Слушаю! — Старший офицер развернулся к строю. — Смирррно! Флаг и гюйс поднять!

Ударил барабан. Все матросы единым движением обнажили головы, один я замешкался — и немедленно получил от соседа локтем в бок.

Бело-синий андреевский флаг медленно полз вверх, все как один провожали его взглядом. Все, кроме двоих. Черный человек (а может, призрак), потягивая дым из длинной прямой трубки, глядел на облака, а я со страхом глядел на него.

После поднятия флага и молитвы строй встал вольнее, по нему прошло шевеление, где-то даже прокатился шепоток. Капитан поднялся на мостик, подошел к перилам и взял в руки некую штуку: с одного конца узкую, с другого — широкую.

— Щас в кулёк забубнит, — прошелестел Соловейко.

— Тихоня он и есть Тихоня, — так же, еле слышно, ответил ему рябой матрос, что стоял слева от меня.

Переговаривались они, совсем не двигая губами. Боцман обернулся, но так и не понял, кто болтает. На всякий случай показал кулак всем.

После я узнал, что, хоть при команде «стоять вольно» разговаривать и воспрещается, старослужащие позволяют себе тихонько обмениваться мнениями, но делают это очень ловко и никогда не попадают.

— Опять про чистоту чего-то, — шепнул рябой. — Известно, новая метла...

Прислушиваясь к шушканью, я понял, что капитан назначен совсем недавно. Матросы к нему еще не привык-

ли и как относиться к новому распорядителю своих подневольных судеб, окончательно не решили, однако в глазах «общества» командир много теряет из-за своего слабого голоса — за это его и прозвали «Тихоней».

Странная штука, которую Тихоня поднес к губам, оказалась рупором — приспособлением, с точки зрения матросов, презренным и настоящего капитана недостойным. «Куды ему до Хряка, вот капитан был, — сказал рябой, — хоть и шкура, гореть ему в преисподне». Остальные покивали. Тихоню с его рупором никто не слушал, да и далековато было с нашего конца, слова уносил ветер.

Я, однако же, напряг слух — а он у меня, как и зрение, был исключительной остроты.

— ...Главный закон моряка — порядок и чистота. Кораблю, на котором порядок, нипочем и буря, и бой. А человеку, который держит себя чисто, вообще ничто не страшно. Поэтому — повторяю еще раз — чтоб матерной брани на фрегате не было. Ругань — та же грязь! Господ офицеров за это буду сажать в каюту, под арест. Нижних чинов оставлять без чарки!

— Чего-чего там про чарку? — заинтересовались вокруг меня. — Слышал кто?

Я повторил сказанное капитаном, и соседи, кажется, впервые удостоили меня своим вниманием. Правда, пришлось и поплатиться. Шептать, не раскрывая рта, я не умел.

— Горох, прижучь салагу, чтоб не болтал, — шикнул Степаныч, и рябой матрос ущипнул меня за бок — с вывертом, но несильно, больше для видимости.

Матросы обсудили приказ по матери не ругаться, сочли это нововведение блажью, которая долго не продержится. Степаныч к шепоту прислушивался, однако не пресекал и даже согласно кивнул.

Ободренный признанием, я продолжал ловить обрывки капитанской речи. Может, еще чем пригожусь господам матросам?

— ...первое совместное плавание! Вы испытаете меня, я вас! — выкрикивал тощий человек в белом мундире. — Поход у нас почти что боевой! Возможна война с Турецкой державой. У меня приказ на турецкие корабли не нападать, но быть готовым к отпору...

— Про турку чего-то болбочет. Не разберешь, — пожал плечами Соловейко.

— Он говорит, что мы сейчас отплываем? — пискнул я в ужасе, продолжая вслушиваться. — Прямо сейчас!

Рябой Горох снисходительно обронил:

— Ну, это известно. Отпускные еще давеча с берега прибыли. И воду в бочки залили. Сейчас будем паруса подымать.

Беда!

У меня потемнело в глазах.

Старший офицер (фамилия его была Дреккен, прозвище — Дракин) трубным голосом крикнул:

— Марсовые к вантам! — и к каждой из трех мачт фрегата кинулись одинаково жилистые, невысокие матросы.

Я знал, что в марсовые берут самых бесстрашных и проворных. Мой отец, которого я ни разу не видал, тоже был таким. А самых отчаянных, легконогих и цеплючих назначают «ноковыми» — они умеют бегать по тонким нокам, спуская или поднимая самые краешки парусов.

Матросы с поразительной сноровкой карабкались вверх.

— По реям!

Выполняя порученную работу, я беспрестанно вертел головой. Конечно, поглазеть на лихих матросов было лю-

бопытно, но имелись у меня заботы и поважней. По палубе прохаживался белый капитан Тихоня, уставившись в часы с откинутой крышкой. Свободной рукой он отмахивал такт — и я догадался: считает, за сколько времени будут подняты паруса.

Но капитан меня занимал мало. Прямо за ним, отстав на два шага, так же медленно выхаживал черноволосый с пером. Тихоня остановится — и он тоже. Прямо как тень. Никак я не мог понять, что означает эта неуместная на военном корабле фигура и почему никто ей не удивляется.

Меня страшный человек видеть не мог. Я висел на канате по ту сторону борта, на бушприте. Задание Степаныч мне дал очень удачное: надраить до блеска золоченый шлем и доспехи военной богини Беллоны, вырезанной из мореного дуба. Удачной свою позицию я считал по двум соображениям. Во-первых, можно было спрятать голову за кромку, когда приближался мой таинственный враг, а во-вторых, при первой же возможности я собирался соскользнуть в воду.

Пока что об этом нечего было и помышлять. Вместе со мною, по другую сторону от крутобокой Беллоны, висел Соловейко и с видимым удовольствием начищал бойбабе огромные груди.

— Тебе б такие бомбы, а, Смолка? — говорил он мартышке, сидевшей у него на плече. — То-то жанихов бы набежало.

Обезьянка скалилась, будто понимала, и быстро-быстро жевала смолу.

Меня Соловейко вроде как не замечал, я для него был пустое место, хуже мартышки. Однако если б я спрыгнул, рыжий сразу поднял бы тревогу — это ясно. Я надеялся, что он закончит первым, поднимется, и тогда уж я медлить не стану...

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Вот, наконец, мой напарник начистил свою часть золоченой бабищи и еще прихватил вторую половину бюста с моей.

— Надраивай ей брюхо, что сверкало! Для корабля статуя всё одно что медаль для ероя.

Ловко вскарабкался, перевалился через борт, мартышка жизнерадостно пискнула, и я остался один, без присмотра — впервые со вчерашнего дня.

Надо было торопиться. Якоря уже подняли, и ноковые матросы на головокружительной высоте разом распустили веревки, названия которых я еще не знал. Фрегат будто простер белые крылья и взмахнул ими. Покачнулся, заскрипел, медленно тронулся.

Вот миг, когда всё в моей судьбе могло пойти иначе. Если б я в секунду, когда «Беллона» двинулась с якорной стоянки, прыгнул в воду, меня никто бы не хватился. Я задержал бы дыхание, оставаясь под водой как можно дольше — а нырял я не хуже дельфина, мог зараз проплыть не дыша саженой тридцать. Если б и заметили, из-за юнги-новичка спускать лодку не стали бы и парусов бы не убрали. Моряки суеверны. Комкать уход в плавание — скверная примета. Через четверть часа был бы я на берегу, вернулся домой и ничего последующего со мною не случилось бы.

Но я решил повременить всего только полминуточки. Меня мучило сомнение: Она это изображена на маленьком двойном портрете или же я стал вчера жертвой самообмана?

Никого рядом не было. Никто не увидел бы моего секрета.

Обхватив узловатый канат ногами, я достал из мешочка овальную миниатюру с трескучим названием, которое, конечно, не запомнил.

Женщину, что слева, я опять толком не рассмотрел. Меня интересовала лишь девушка, которая доверчиво прижималась к плечу старшей подруги или, быть может родственницы, своей светловолосой головой.

Нет, я не ошибся. То была Она! У кого еще такой взгляд черных глаз, проникающий в самое сердце?

Я чуть не закричал от сильного чувства, которому затруднился бы дать название. Что это было: счастье, нетерпение, предчувствие чуда? Не знаю, не знаю.

Бережно спрятав драгоценность обратно, я примерился — не сползти ли по канату пониже. Кинуться в воду с трехсаженной высоты я не боялся, но не слишком ли громким получится всплеск?

Прямо надо мной раздался голос. Кто-то остановился у борта. Прыгать было нельзя.

— В двенадцатый раз призываю тебя, греховодник, обратись. На христианском корабле пребываешь! — сказал певучий тенорок, сильно налегая на букву «о» и произнеся вместо «греховодник» «греховонник».

Я задрал голову. Это был корабельный поп. Но к кому он взывал, я не видел.

— Покрестись! Что от тя, убудет? Язычник ты окаянной!

Как бы отодвинуться подальше? Фрегат шел всё быстрее, подгоняемый свежим ветром, который в это время дня всегда дует с гор. Вот уж и до Константиновского форта рукой подать, а выйдем за волноломы — прыгать будет поздно, пловца унесет течением в открытое море.

И придумал я вот что. Обхватил богиню за толстую шею, коленкой оперся о грудь и переместился на канат, оставшийся после Соловейки.

Но мой маневр был напрасен. Проклятый поп, будто нарочно, тоже перешел на другую сторону бушприта и опять оказался прямо надо мной.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Я с тобой, нехристь, разговариваю! Не моги от меня уходить! — крикнул он кому-то. — Какое носителю сана неуважение!

Если «язычника» я как-то пропустил мимо ушей, озабоченный разгоном несущегося на всех парусах корабля, то теперь насторожился. Сколько мне было известно, нехристь на фрегате имелась лишь одна.

Раз уж броситься вниз все равно было нельзя, я подтянулся повыше и очень осторожно выглянул поверх борта.

Так и есть!

В пяти шагах, отвернувшись от священника, стоял черный человек. Вообще-то его скорее следовало бы называть «красным» — в ярком утреннем свете кожа супостата отливала медью, но этот невиданный оттенок вселил в меня еще больший страх.

— Что, отец Варнава, обращаете языцев? — с усмешкой сказал старший офицер. Он шел по палубе, постукивая тонкой, гибкой палочкой по ладони и зорко глядя по сторонам. — Не надоело?

— Госпоння воля все препоны преодолагает, аже злое упрямство жестоковыйных, — торжественно молвил поп и хотел взять краснокожего за плечо.

Тот был к священнику спиной и смотрел вверх, однако качнулся в сторону — избежал прикосновения.

Что это он разглядывал в небе? Ничего там не было, лишь парила на высоте нижней реи крачка с необычным голубоватым отливом крыльев. Плавным движением немой достал из своей сумки палку — не палку, дощечку — не дощечку, а какую-то плоскую загогулину, заглелся всем телом в подобие штопора и метнул эту деревяшку вверх.

Ай, ловко! Штуковина ударила птицу влет. Та перекувырнулась, камнем рухнула вниз — прямо в руку метальщика. А второй рукой он успел подхватить свою кривую дубинку и сунул ее обратно в сумку.

От неожиданности отец Варнава подпрыгнул и возопил:

— Индюк чертов! — Но устыдился плохого слова, перекрестил рот. — Прости Господи...

Деловито повертев крачку и по-прежнему не обращая на попа внимания, фокусник выдернул два пера — одно из крыла, другое из хвоста. Они и правда были очень красивые: голубое и крапчатое.

Прежнее, белое, краснокожий выкинул за борт, а два новых аккуратно воткнул в свои блестящие черные волосы.

Дальше случилось нечто еще более удивительное. Он поднес птицу к самому лицу и зашевелил губами, будто о чем-то с нею разговаривал. Крачка открыла круглый глаз. Тогда страшный человек подкинул ее кверху, и птица, возмущенно крича, взлетела.

Упорный Варнава предпринял новую атаку.

— Менная ты морда! Ирод басурманный! Оборотись ко мне! Слушай благое слово!

Широкое и скуластое лицо священнослужителя залилось гневной краской по самую бороду. Теперь поп попробовал схватить уклоняющегося от беседы собеседника уже обеими руками за плечи. И опять тот, будто на спине у него были глаза, мягко и упруго отодвинулся. Священник чуть не потерял равновесие. Он оказался на том же самом месте, где только что стоял язычник, — и месть ошипанной крачки, предназначавшаяся обидчику, обрушилась на неповинного. Я в детстве частенько охотился на птиц с рогаткой и знаю, как метко умеет потревоженная стая гадить на голову. Здоровенная белозеленая помётина ляпнулась слуге божию прямо на нос, замарала ус и перед рясы.

— Ох, неподobie! — вскричал Варнава, позабыв про обращение неверных. Он горестно тронул пальцем склизкое пятно на груди. — Подрясник новый, первонадеванный!

И побежал куда-то — должно быть, замываться. Но птичий помет не отстирывается, уж я-то это знал. Старший офицер злорадно рассмеялся и крикнул вслед что-то насмешливое.

Никто больше надо мною не стоял. Но я обернулся к морю и понял, что момент для бегства безвозвратно упущен.

Карантинный и Константиновский форты остались позади. Корабль вылетел на простор и неся по пенистым волнам, удаляясь от берега.

Мне не было возврата в родной город. Злая судьба уносила меня прочь от дома, а главное — разлучала с моей тайной, с прекрасной Девой, которая оставалась в своем подземном заточении одна-одинешенька. Меня же ожидало неведомое и страшное будущее: на чужом корабле, среди грубых, жестоких людей, а самое ужасное — в компании зловещего дикаря, чей путь непостижимо и прочно пересекся с моим...

Я залился слезами, сжимая в пальцах ладан с портретом. Мне казалось, что я гибну, что я уже погиб.

ХУЖЕ НЕКУДА

Но главные мои беды были впереди.

Уныло закончил я надраивать военную богиню, причем мне казалось, что она косит на меня своим бешеным взглядом и вроде как надсмехается: попался-де, воробей, теперь будешь мой. (А ведь так оно и вышло, если задуматься! Забрала меня с собою Беллона, без спросу и согласия, будто в рекруты забрила, и больше уж не выпустила...)

Потом вылез на палубу, поднял и скрутил канаты. Оказалось — не так. Соловейко, мучитель, сначала по

уху мне смазал, и только потом показал, как бухту смаывать. Его мартышка тоже надо мною потешалась, рожки корчила.

В ином настроении я бы повеселился, глядя на ужимки неугомонной зверушки. Смолка ни секунды не сидела спокойно. Вертелась, прыгала — то вскарабкается на ванты, то спустится. И беспрестанно выковыривала из пазов смолу — это было ее любимое угощение, которому обезьянка и была обязана своим прозвищем.

Из-за Смолки я подвергся новой беде в той череде напастей, которыми мне памятен первый день на «Беллоне».

Старшего офицера Дреккена, как я потом узнал, матросы сильно не любили. Такая уж это должность, на ней без строгости нельзя, а Дракин отличался особой придирчивостью и любовью к рукоприкладству. Вообще-то к офицерским зуботычинам и боцманским линькам нижние чины относятся спокойно, злобясь лишь на те удары, которые считают несправедливыми. Но Дракин бил не кулаком, а стеком, и это обижало людей: лупцует палкой, как собаку, ручки о матросскую морду запачкать брезгует.

Нечаянной жертвой этой давней неприязни я и стал.

Когда мимо, делая очередной круг по палубе, прошеествовал прямой, как штырь, старший офицер (он всегда держал вахту при отплытии), Соловейко вытянулся во фрунт и, согласно уставу, сдернул шапку. Я сделал то же самое. Дреккен не останавливаясь провел пальцем в белой перчатке по медным заклепкам на фальшборте, которые начищал мой напарник, и поморщился:

— Чисто, но не сияет. Доложишь боцману, Соловейко. Тебе замечание.

Снял фуражку, вытер платком потную проплешину и пошел дальше, держа головной убор за спиной — в той же руке, что стек.

Вдруг, смотрю, Соловейко вынимает у мартышки изо рта шматок жеваной-пережеванной смолы и точным броском кидает прямехонько в центр тульи. Липкая дрянь приклеилась к синей ткани, а старший офицер ничего не заметил. Соловейко же показал мне кулак, приложил палец к губам и подмигнул.

Я на всякий случай ослабился, а сам думаю: зачем это он?

Смолка кинулась в погоню за своим лакомством. Вырвала фуражку, поднесла к мордочке и хотела цапнуть жвачку зубами, но сразу не получилось.

Старший офицер ошеломленно обернулся. Его длинное лицо с тонкими усами еще больше вытянулось.

Я заметил, что матросы, драившие палубу, взялись за работу с удвоенным усердием. Отовсюду неслись сдавленные смешки. Соловейко с невинным видом начищал медный поручень.

— Отдай! — зашипел офицер, косясь по сторонам. — Отдай, мерзавка!

Мартышка попятилась, прыгнула на борт, оттуда на вант, полезла прочь от размахивающего руками и ругающегося человека. Фуражку она нацепила на голову, чтобы освободить лапки.

Теперь за происходящим наблюдало множество глаз, однако не напрямую, а украдкой. Задыхающееся гыканье слышалось из-за камбузной трубы — кто-то там не смог сдержать веселья.

Старший офицер бешено оглянулся. Глаза его сверкали, зачес на лысине под свежим ветром поднялся наподобие петушиного гребешка. А Смолка чувствовала всеобщее внимание и старалась вовсю: пучила губы, кривлялась, а когда стала махать фуражкой и кланяться (Бог знает, где она этому научилась), по кораблю прокатился истерический хохот.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

— Соловейко, скотина! Твоя обезьяна? — заорал Дракин, наконец, найдя, на кого обрушить свою ярость. — Еще регочешь? Поймать и утопить тварюгу!

Он подлетел к моему соседу, схватил его за ворот блузы и с размаху, хлестко, принялся лупить стеклом по голове.

Соловейко стоял, вытянув руки по швам. Голос матроса был ровен:

— Ваше благородие... — Удар. — Осмелюсь доложить... — Еще удар. — Мартын не мой, общественный. — Удар. — Капитан дозволили... — Удар. — Нельзя топить... — Удар. — А реготал я от радости. Потому для матроса поход — завсегда радость.

Я стоял совсем близко и видел, как на лбу, на щеках от ударов ложатся красные полосы. У меня перехватило дыхание. Кулачные бои мне видеть случалось, доводилось раздавать и получать удары, но чтобы один взрослый человек вот так лупцевал другого, а тот лишь тянулся в струнку, я никогда не видывал. Это было пострашней любого, самого кровавого уличного мордобоя.

Вдруг старший офицер опустил руку и спрятал стек за спину.

— Гляди мне, сукин сын, — тихо сказал он. — Я из тебя наглость вышибу! Марш с палубы!

Я не сразу понял, почему прекратилось избиение, но потом увидел, что на мостике по лестнице поднимается капитан. Во рту у него, как прежде, торчала незажженная сигара, но вместо белого мундира командир надел темную тужурку.

Дрекен отступил за мачту — не хотел, чтобы начальник увидел его без головного убора. Красные от ярости глаза остановились на мне.

— Юнга! Отобрать фуражку! Доставить мне! Живо!

Нижнюю часть вантов я преодолел резво — чтоб окаться подальше от стека. Довольно быстро вскарабкал-

ся до первой перекладки (по-морскому — фок-рея), где только что сидела Смолка. Но она не далась мне в руки, а полезла выше.

И тут я посмотрел вниз.

Мне казалось, что я поднялся совсем невысоко, однако сверху всё выглядело иначе. Палуба сжалась, по обе ее стороны качалось и пенилось море. Шаталась и мачта, а вместе с нею я. Мне почудилось, что корабль живой и что он хочет любой ценой скинуть меня, как норовистая лошадь. Я зажмурился, вцепился в канаты и не мог пошевелиться.

— Ты что, пашенок?! Уснул?

Офицер грозил мне своей палкой. Пялились матросы. Из-за шляпки выглядел избитый, но не утративший всегдашнего форсу Соловейко. Он скривился и презрительно сплюнул за борт. Подошел поп, успевший переодеться в светлую рясу, и тоже неодобрительно тряс бородой.

Я боялся подниматься выше и не смел спуститься. Но обезьянка, кажется, сжалилась надо мной. Я услышал над головой шорох. Смолка протягивала мне фуражку, держа ее донышком книзу.

Чуть не расплакавшись от облегчения, я с благодарностью, бережно, принял головной убор и очень медленно начал спуск. Это было непросто — без привычки, да еще с занятой рукой. Лишь крайней сосредоточенностью могу я объяснить то, что не заметил мартышкиной каверзы...

— Тебя, юнга, за смертью посылать! Кто так по вантам лазает?

Дреккен вырвал у меня фуражку, нацепил ее — и его морщинистая физиономия вдруг исказилась.

По лбу старшего офицера стекало что-то желто-коричневое.

— Навалила в шапку, человекоподобная, — с удовлетворением молвил батюшка. — Это вам, сударь мой, воздаяние. Той же мерою получили, что и я. А не злоранничайте над чужой бедой. Господь, Он всё видит.

Снова по всей палубе прокатились судорожные, тщетно сдерживаемые смешки. Но мне-то было не до смеха.

Придушенным голосом Дракин просипел:

— Ты что мне подсунул, сволочь?

Оглянулся на мостик. Капитана там уже не было.

— Руки по швам!

Одной рукой он подносил к испачканной голове платок, в другой сжимал стек.

— В глаза смотреть!

Я не мог. Я опять зажмурился — в ожидании удара.

Но удара не последовало.

— Ваше высокоблагородие господин капитан-лейтенант!

Рядом стоял Степаныч.

— Малец первый день служит. За него — мой ответ. Коли что, меня учите.

Теперь-то я знаю, что боцман поступил по-моряцки: сам молодого учи, а начальству в обиду не давай. Но в ту минуту седуусый мучитель, которого я уже успел возненавидеть, показался мне небесным ангелом.

Дреккен моряцкие обычаи тоже знал и бить заслуженного унтер-офицера за нелепицу, в которой отчасти сам был виноват, конечно, не стал. Лишь выматерился, топнул ногой и ушел в каюту. Про меня сказал:

— Чтоб я этого рохлю на палубе не видел! Мне нужны матросы, а не слюнтяи!

А Степаныч, проводив начальника хмурым взглядом, тяжело вздохнул.

— Что мне с тобой делать, паря? Дракин — он памятливей. Со свету тебя сживет, не забудет. Ты службы не

знаешь, сгинешь ни за понюх табаку. Ладно, поговорю с Иван Трофимычем...

Иван Трофимович приходился боцману кумом и занимал почтенную должность судового буфетчика. Еще до исхода первого дня моей службы, с позором изгнанный из палубных матросов, я оказался официантом (по-корабельному — младшим вестовым) при кают-компании.

На прощанье Степаныч сказал мне — уже не строго, а человечно, поскольку я в его команде больше не состоял:

— По реям лазить тебе больше не придется, и Дракин при капитане руки распускать не станет. Однако гляди, паря: коли и на новом месте дуру сваяешь, не будет тебе жизни на фрегате. Лучше возьми и утопись.

С этим напутствием я был отправлен с верхней палубы, где сияло солнце и дул свежий ветер, в темные недра трюма.

Обязанности мои заключались в том, чтоб прислуживать во время трапез, а потом убирать и мыть грязную посуду. Притом к верхнему краю стола, где сидят старшие офицеры, соваться мне строжайше запрещалось — для того имелся старший вестовой, опытный и расторопный матрос. За нами обоими приглядывал Иван Трофимович, важный мужчина с бакенбардами и часами на серебряной цепочке. К ужину он наряжался в белые чулки и башмаки с блестящими пряжками. Степаныч с гордостью рассказал, что лучше буфетчика не сыскать на всей эскадре и, если б кум иногда не «поздравлял Хмельницкого», служить бы ему на флагмане, при адмирале. Я, впрочем, за время службы на «Беллоне» достойного Ивана Трофимовича пьяным ни разу не видел.

Вечером, получив от нового начальника подробные наставления и белоснежный передник с такими же осле-

питательными нарукавниками, я с трепетом отправился на свой первый ужин в кают-компании.

Я долго стоял в узком темном коридорчике за дверью, прислушиваясь к неясному гулу голосов. Перед началом трапезы — такой на фрегате был установлен порядок — господа офицеры выпивали два бокала вина: за здоровье государя императора и за Черноморский флот. Прислуживал им сам Иван Трофимович.

Я волновался, старший вестовой позевывал.

— Чегой-то раскачалось, — лениво сказал он. — Хорошо к ужину супу не подают, а то была б морока...

К вечеру ветер и в самом деле засвежел. «Беллона» то зарывалась носом, то вскидывалась. На ногах я кое-как держался, хоть иногда приходилось хвататься за стенку, но всё сильнее начинало мутить, и ароматы, доносившиеся с камбуза, казались мне отвратительными.

Вот за дверью брякнул колокол — и кок с помощником тут же выкатили две тележки: для старшего вестового и для меня.

— Тут баранина, тут свинина, — было нам сказано.

От фаянсовых посуды поднимался пахучий пар. Я отворотил лицо.

Мой товарищ шепнул:

— Много-то не накладывай. Мичмана, они прожорливые. Сколь ни наложишь, всё умнут. Я хлеба припас, после соус подберем. Вкусно!

Он подмигнул, я передернулся. Мы гуськом въехали в кают-компанию.

В жизни не видывал я такой красивой комнаты. Стены и потолок в ней были обшиты густо-красным резным деревом, горели бронзовые лампы, а на столе сверкали начищенным серебром шестерные канделябры. Приборы тоже все были из чистого серебра, а посуда тонкого фарфора, с затейливым вензелем «Б» и короной. Каждый

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

корабль старается обзавестись сервизом побогаче, посуда считается реликвией кают-компаний — ее офицеры покупают вскладчину.

Но меня поразило не столько роскошество каютного убранства, сколько необычный вид стола. Он был накрыт деревянной решеткой с ячейками разного размера: для супниц, блюд, графинов, тарелок, соусниц. Несмотря на качку, каждый предмет стоял на месте. Не ползал по поверхности, не опрокидывался. К бокам больших пуншевых чаш были приделаны крючочки, на которых висели чарочки, мелодично постукиваясь друг об друга. Приятные перезвоны и перестуки в такт ходу корабля неслись отовсюду: позвякивали ложечки, гулко вздыхал величественный золоченый самовар, что-то тренькало внутри сверкающего лаком пианино.

За длинным столом сидели человек пятнадцать. В дальнем от меня конце — капитан. Справа от него — мой новый враг Дреккен, на которого я старался не смотреть. Слева — пожилой длинноусый офицер с черной повязкой на глазу. (Потом я узнал, что это первый штурман.) Еще двое офицеров в возрасте тоже были не мои, а дальше располагались лейтенанты помоложе и мичманы — их должен был обслуживать я. На торце, противоположном капитанскому, сидели двое нестроевых: батюшка в светлой рясе и врач, что вчера меня осматривал. Все офицеры, согласно уставу, были усаты и безбороды, борода полагалась только духовной особе, доктору же никакой растительности на лице не дозволялось — лишь бакенбарды. Но зато уж на них лекарь не поскупился: растрепанные и засаленные волосы свисали с его впалых щек, будто водоросли.

Меня научили, что обносить свою половину стола я должен, начиная со «старых» лейтенантов, однако доктор, к которому я был ближе всего, ухватил меня за локоть, жадно втянул воздух шишковатым носом.

— Чего этта у тебя? Паранина? — сказал он, выговаривая слова не по-нашему. — Клади.

Я подцепил кусок мяса, хотел положить, но пол качнуло, и баранина шлепнулась на тарелку. На сюртук лекаря полетели брызги соуса. Я испугался, но врач лишь стер капли пальцем. Правду сказать, сюртук у него был сильно нечистый, весь в пятнах.

С дальнего конца донесся тихий голос:

— Господин Шрамм...

Доктор не донес до рта вилку. Разговоры стихли. Такая на флоте традиция: когда говорит капитан, все умолкают.

— ...Был я нынче у вас в медицинской части. Нехорошо-с.

— Что? — Лекарь с неудовольствием положил мясо обратно. — Коспотин капитан, не слышу.

— Я говорю, Осип Карлович, нехорошо у вас в лазарете, — сказал Тихоня громче. — Нечисто-с.

Врач удивленно поправил очки.

— Как же там пудет чисто? Медицина, Платон Платонович, штука крясная. Кроффь. Кной. Испрашнения.

— Я однако ж читал, что современные светила чтут в хирургии чистоту-с. Британцы даже слово такое ввели — стерилити. Ихние эскулапы протирают свои инструменты спиртом, а руки перед операцией моют мылом-с. Якобы помогает избежать антонова огня.

Шрамм хмыкнул:

— Фперфые про такое слышу. Я мою руки после операции. Пальцы, помытые мылом, теряют чувствительность. Хирурк толшен чувствовать пальцами. А что касасемо антонова окня, то это сависит едино от Коспода Пога.

— Воистину так, — изрек отец Варнава, подставляя мне тарелку. — Положи-ка баранины, отрок. А пойдешь в обрат, отведаю и свининки. Ныне осенний мясоед, не грех и поскоромничать...

Из-за попа с лекарем я двинулся вдоль стола не с той стороны, как мне было предписано, и самые лучшие куски достались зеленым мичманам, всего несколькими годами старше меня. Иван Трофимович, застывший истуканом за спиной у капитана, покачал головой и сдвинул брови. Но мне сейчас было все равно, я сражался с тошнотой, которая всё усиливалась.

Постепенно я приблизился к начальственной половине. Теперь от Дреккена, на которого я по-прежнему старался не глядеть, меня отделял всего один офицер, со смаком уплетавший тушеную капусту.

И услышал я тихий разговор, происходивший меж капитаном и его помощником.

— Что это у вас из кармана торчит, Орест Иванович? Стек? — Капитан протянул руку. — Позвольте полюбопытствовать...

Я скосил глаза. Командира «Беллоны» я до сих пор еще толком не разглядел: на палубе он все время находился на отдалении, а сейчас его лицо оказалось в тени — в тусклом свете раскачивающейся лампы лишь прорисовывался загнутый книзу ус да поблескивали звездочки на эполете.

— Чтобы я на своем корабле такого, как давеча, не видел-с, — все так же тихо сказал капитан, вертя в руках палочку. — Вы ведь поняли, о чем я?

Старший офицер наклонился к нему. Если б не мой острый слух, я не разобрал бы ни слова.

— Платон Платонович... Господин капитан второго ранга, не знаю, как было у вас на Тихом океане, а у нас без палки, простите, нельзя. Разболтаются, скоты.

— Скоты, Орест Иванович, в хлеву-с. А у меня матросы. Вы уж извольте не прекословить, да-с. Мордобития на моем корабле не будет. — Стек вдруг хрустнул в тонких и на вид несильных пальцах. — Ой, виноват. Не взыщите-с.

И Тихоня вернул помощнику половинки. Дреккен горестно уставился на попорченное имущество. Стек был полированный, с золоченой рукояткой. Надо полагать, дорогой.

Капитан стал говорить Дракину что-то еще. Я охотно послушал бы, но с другой стороны стола позвали нетерпеливые, голодные офицеры.

Нас закачало пуще. Я кое-как, из последних сил, обслужил последних и на ватных ногах отошел к стене. Прислонился к ней, вытер со лба холодную испарину.

Вдруг напала икота. Испугавшись, не случится ли чего-нибудь еще худшего, я отвернулся от буфетчика, подававшего какие-то знаки, и, шатаясь, вышел из кают-компания. Надо было как можно скорей глотнуть свежего воздуха.

Но в следующую минуту я позабыл и о воздухе, и о тошноте.

Из-за угла, внезапно и, что ужасней всего, совершенно бесшумно навстречу мне шагнула тень. Я столкнулся с тем, от кого прятался со вчерашнего дня!

Неподвижные черные глаза меднокожего человека смотрели прямо на меня. Я не сдержал крика. Мне вообразилось, что здесь, в темном закоулке, один на один, дикий карьер сотворит со мной что-нибудь ужасное. Порывисто я прикрыл рукою раскрытый ворот — там должна была виднеться тесемка от ладана.

Но равнодушный взгляд задержался на мне не более мгновения. Мой загадочный преследователь, из-за которого я угодил на этот проклятый корабль, не опознал меня! По-кошачьи мягко качнувшись, язычник обошел меня, сел на корточки у входа в кают-компанию и сложил на груди руки.

Выходит, зря я его так боялся? В портретной лавке он меня не разглядел, а во время погони видел только со спины!

От облегчения я почувствовал себя значительно лучше. И поскорей вернулся обратно — надо же было исполнять свои обязанности.

— Где ты носишь, Илюхин? — злобно шепнул подкатившийся Иван Трофимович. — Ну, ты у меня опосля получишь. Разноси добавку!

Я стал делать со своей тележкой повторный полукруг.

— ...А всё же приказ адмирала странен, — неспешно говорил старый штурман, обращаясь к капитану, но к разговору прислушивались и остальные — видно, тема всех волновала. — Как изволите трактовать, Платон Платонович? «При встрече с турецкими судами первое неприязненное действие должно быть с их стороны, а не с нашей». А коли турок подойдет вплотную да развернется для бортового залпа? Что нам, ждать, пока он нас на дно отправит?

Многие согласно кивали, ждали ответа.

Тихоня сидел, окутанный облаком сигарного дыма. Офицеры постарше, более умеренные в еде, тоже закурили. От крепкого табаку меня опять замутило.

— Кто ж ему даст подойти-с? — Тихоня даже рассмеялся. — Я, господа, как вам известно, прежде в Российско-Американской кампании служил. По всему Великому океану хаживал. Там у Филиппинских берегов и поныне пираты водятся. Обыкновение у нас было такое-с: ежели незнакомый корабль близко притрется, пускать на дно-с. Без рассуждений. Поэтому, если турок захочет сунуться ближе трех кабельтовых, не спустив на воду шлюпки, я буду считать сие «неприязненным действием».

Это суждение было встречено одобрительным гулом.

— Отрок! Свининки поднеси, — поманил меня отец Варнава. — Баранину-то я уже употребил. Ох, вкусна! И лучку, лучку... Экой ты сонный! Дай-ко я сам.

Он взял у меня ложку, зачерпнул жирной гущи, в которой плавали овощи. Я мешкал оттого, что всё отворачивал лицо — вернулась чертова икота.

Разваренная луковица шмякнулась на стол. Поп подобрал ее двумя пальцами и отправил в рот. На бороде повис коричневый сгусток.

В то же мгновение стало мне неважно, и я с рыканием — будто из брандспойта — облевал духовную особу почти что с головы до ног.

Священник с воплем отскочил, перевернув стул.

Сквозь всеобщий хохот штурман протянул:

— Знатно стравил юнга.

Буфетчик схватил меня за шиворот, пихнул к выходу. Кинулся к батюшке с салфеткой.

— Прощения прошу, отче... Дозвольте почистить...

Но Варнава отталкивал его, горестно восклицал:

— Второй подрясник за день! Наказание Господне!

Иван Трофимович метнул на меня испепеляющий взор.

— Вон пошел! — шикнул он. — Катись, откуда взялся! Ну кум, ну удружил!

Я вспомнил слова Степаныча, что если не удержусь и в официантах, то лучше мне утопиться.

Одно это только и оставалось.

Икая и всхлипывая, я бросился к двери, но она сама распахнулась мне навстречу.

В кают-компанию шагнул он — черноволосый, краснокожий, и вперился в меня жуткими черными глазами.

Зашипел по-змеиному и сжал мое плечо. Крепко — не пошевелишься.

Узнал! Все-таки он меня узнал!

Я МЕНЯЮСЬ

На эту, недосмотренную, налезает следующая картина: рассветный сумрак, грот-мачта...

Но я отгоняю видение, мне хочется еще побыть в скрипящей и звякающей от качки кают-компании, досмотреть всё до конца.

Получилось!

Я стою у двери, не живой, не мертвый. Стальные пальцы сжимают плечо. Все же я пытаюсь вырваться, но мне лишь удастся повернуться лицом к столу. Да что толку? Кто мне там поможет, кто выручит? Иван Трофимович зыркает так, что ясно: его воля, разорвал бы на части голыми руками.

Офицеры же глядели не на меня, а на моего неприятеля, но без осуждения, а скорее с любопытством. Оно, правда, было не слишком сильным, словно все тут успели несколько привыкнуть к выходкам диковинного человека. «Ну-ка, что еще ты нам учудишь?» — читалось во взглядах.

Дикарь делал какие-то жесты, адресуясь к капитану.

— Что-что? — удивился тот. — Но зачем? Ты, Джанко, в самом деле этого хочешь?

Кисть руки, обрамленная белым манжетом с золотой запонкой, замахала, разгоняя густой сигарный дым, и из него, будто из облака, возникло лицо, которое я наконец получил возможность как следует рассмотреть. Я так и впился глазами в капитана, понимая, что моя судьба ныне целиком зависит от этого тихого человека с мягким, неморяцким голосом.

Тот, кого Тихоня назвал странно звучащим именем «Джанко», кивнул и провел ребром ладони себе поперек горла. Я задрожал еще сильнее.

Тогда командир встал и неторопливо направился в нашу сторону. Вблизи он оказался среднего роста и довольно плотен в сложении — а когда стоял на мостике, выглядел стройным и высоким. (Я после не раз замечал за Платоном Платоновичем эту поразительную особенность: в торжественные или опасные минуты он словно вытягивался кверху, как бы приподнимался над окружающими людьми.) Черты были малоприметны. Обычное моряцкое лицо: обветренное, с твердым подбородком и прищуренными от привычки к яркому солнцу глазами. Мне думается, что без висячих усов, закрывавших капитану рот, явственной проступила бы мужественная простота, прорисованная в складке губ, однако военному человеку без этой волосяной декорации было никак нельзя.

— Тебя как звать, юнга?

Тихоня разглядывал меня с удивленным интересом. Я сжался, ибо являл собою, бледный и облеваный, презрительное зрелище.

— Герка... Герасим... Илюхин...

— Первый день в море? — Капитан улыбнулся. — Что страшил, нестрашно. Это со всеми бывает. К качке привыкают быстро. Ты, главное, себя от корабля не отделяй. Вообрази, будто ты часть фрегата. И качайся вместе с ним. Воображать-то умеешь?

— Умею, — настороженно отвечал я, ожидая подвоха.

Больно мягко стелет, подумалось мне.

— Ну вот и вообрази, будто ты на качелях и сел на них по своей доброй воле. Туда — сюда, туда — сюда, очень даже весело.

Хотя капитан обращался еще ко мне, но глядел уже на язычника — вопросительно.

Тот опять сделал страшный жест — рукой по горлу. Тихоня слегка пожал плечами, как бы говоря: ну, коли ты этого хочешь.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Буфетчик, я забираю юнгу к себе в каюту. Будет моим вестовым. А то мой Джанко знай лишь табак жует и ничегошеньки не делает.

Пальцы, сжимавшие мое плечо, разжались. Я боязливо обернулся. Джанко невозмутимо глядел поверх меня, мерно двигая челюстями...

А вот теперь — дымчатый рассвет, грот-мачта. Я нарочно выбрал час, когда наверху нет никого, кроме вахтенного начальника, рулевого и вперёдсмотрящего, который сидит на фокке и раз в минуту покрикивает, чтоб продемонстрировать бдение: «По курсу чисто!».

Вечером Платон Платонович спросил, словно бы недоверчиво: «А что это Орест Иваныч говорит, будто ты робок? Будто трусишь по вантам лазить? Если высоты боишься, надобно в темноте попробовать либо в сумерках. А впрочем, вестовому по мачтам лазить незачем...»

Ночь я проворочался, а когда тьма за окошком начала рассеиваться, тихонько выбрался на палубу.

Стою возле грот-мачты, едва различимой в тумане, собираюсь с духом.

Наконец взялся за канаты, полез.

Выше, выше, выше. Вроде ничего, не так уж страшно. Посмотришь вниз — палубы не видно, лишь колышется серо-белый пар.

Ветер, будто проснувшись, захлопал парусами, остудил мне лицо и как-то очень быстро, в несколько секунд сдул с поверхности моря дымку.

И увидел я, что вишу в пустоте, и рулевой на мостике не больше мышонка.

Меня замотало и закачало на вантах, я намертво вцепился в канаты, помертвел, околел. Я сам превратился

Анатолий Брусникин

в перепуганного мышонка, который застрял в мышеловке. Всё повторилось. В точности, как давеча, когда на меня глядел с презрением весь корабль!

— Тут две вещи! — услышал я странный, будто неземной голос. — Во-первых, не трусь. Мужчине трусить стыдно...

Я открыл глаза, посмотрел вниз. У подножия мачты, задрав голову, стоял капитан. В одной руке у него был рупор, в другой — незажженная сигара. Курить на фрегате разрешалось только в кают-компании, а нижним чинам — в особом месте, на баке. Довольно одной подхваченной ветром искры, чтоб на деревянном корабле начался пожар.

За спиной командира маячил Джанко. Он никогда надолго не отлучался от Платона Платоновича.

— А во-вторых, вниз глядеть не надо. Нету никакой палубы. Есть ты, есть небо. В него и смотри. Джанко, покажи.

С поразительной легкостью, быстрее самого шустрого матроса, краснокожий полез вверх. Мне показалось, что он почти не дотрагивается до перекладин — так легки были его движения.

Через полминуты Джанко оказался прямо подо мной. Лицо его было поднято вверх, а глаза были не черными — синими, потому что в них отражалось расчищенное небо.

Джанко толкнул мою ногу: давай, двигайся.

И что-то во мне изменилось. Я тоже уставился в небо. Оно было синим-пресиним, а по краю малиновым и золотистым. Такого красивого небосвода мне видеть не доводилось. Я прямо не мог от него оторваться и хотел только одного: подобраться поближе. Руки и ноги задвигались сами собой, без усилия.

Свободно и плавно поднимался я всё выше, выше. Ни с чем не сравнимый восторг раздувал мою грудь. Я был

крылатым ангелом, повелителем мира. Даже солнце, едва высунувшееся из-за горизонта, было много ниже меня. Остановился я лишь под самым клотиком и чуть не расплакался, что выше карабкаться некуда. Моя лестница на небо закончилась.

Забегая вперед, скажу, что после этого случая мой страх высоты навсегда будто отрезало. Мачты манили меня, как в детстве притягивал ночной рейд, весь в огоньках корабельных фонарей. Но на рейд мальчишке было не попасть, а ванты — вот они. Всякую свободную минуту (особенно ночью, когда никто не видит) я норовил потратить на это волнующее упражнение: лазал по вантам и ходил по реям, причем скоро научился делать это, не держась за канаты. Довольно было представить, что идешь по лежащему на земле бревну, а качка делала задачу еще увлекательней — как приноровиться к волнам и сохранить равновесие. О том, что могу упасть, я и не думал. Всегда ведь можно ухватиться за канат — вон их сколько свисает.

Однажды, спускаясь с бизани, я услышал, как на юте, в курительном закуте за ахтерлюком, меня обсуждают матросы.

— У меня на хорошего моряка глаз вострый, — важно говорил Степаныч. — Даром что ль я его к капитану пристроил.

Голос потоньше (я узнал — Соловейко) протянул:

— Ну, это еще поглядеть надо. Смолка вон тоже по реям важно лазает.

Поглядите еще, самодовольно улыбнулся я, уверенный, что превзошел самую главную моряцкую премудрость.

Бывало, сяду на ноке, высоко над палубой, свешу ноги и разглядываю свою Деву, пытаюсь разгадать головоломную загадку. Как могла она попасть с пещерной стены в медальон? И что за женщина с нею рядом?

Хотя корабль всё больше удалялся от Севастополя, унося меня прочь от владычицы моей души, я уже не боялся, что мы навсегда расстались. Я чувствовал — не пытаясь понять это ощущение разумом, — что «Беллона» ведет меня по звездам верным курсом. В конце концов он приведет меня туда, где осталась половина моего сердца. Я возвращусь другим, не тем, что прежде. И может быть, тогда тайна раскроется. Потому что я буду к ней готов.

В моей жизни было много счастья, не буду гневить Бога. Кое-что повидал, претерпел испытания — и некоторые выдержал; всем сердцем любил, прикоснулся к чудесному, а еще мне сильно везло на людей. Но та недолгая пора, когда я состоял вестовым при капитанской каюте, вспоминается с несказанной приятностью, вплоть до щекотания в носу.

Славное было время!

Перепуганным кутенком попал я под опеку капитана второго ранга Платона Платоновича Иноземцова — так полностью звали командира «Беллоны». И сразу же словно выполз из сырого ущелья на свежий солнечный луг. Таких людей я больше не встречал. Наверное, их очень мало. А очень возможно, что на свете вообще имелся только один такой...

Для своего чина и положения Иноземцов был староват. Помню, он как-то с гордостью сказал, что в корпусе учился вместе с самим Корниловым, а тот уж был начальник штаба Черноморского флота и вице-адмирал. Я полагаю, что задержка с карьерой у Платона Платоновича произошла из-за его службы в Российско-Американской компании, куда он перешел в молодом возрасте — наверное, из-за любви к долгим плаваниям и пытливости ко всему новому. Он жил в далеких краях,

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

ходил по морям от Аляски до Босфора и любил вспоминать свой клипер, первый по быстроходности во всем Тихом океане.

Недавно капитанов Российско-Американской компании понудили вернуться на военную службу — кого в Балтийский флот, кого в Черноморский. Зачли и выслугу лет, но скупое — по минимальному расчету, так что в звании Платон Платонович оказался невеликом и если получил под команду собственный корабль, то лишь благодаря репутации одного из лучших мореходов своего времени. Он, впрочем, «Беллоной» был доволен и только сетовал, что она старой постройки и не имеет паровой машины.

— Фрегат ходкий, на хорошем ветре даст семнадцать узлов, — говорил Иноземцов. — Однако ж тридцать лет для корабля старость, особенно по нынешним временам. Оно, конечно, огневая мощь у нас изрядная: сорок четыре 24-фунтовки. И парусное вооружение солидное, и маневренность. Но вот французы спустили на воду панцырные пароходы, обшитые стальным листом, притом не колесные — винтовые. Доведись «Беллоне» с таким монстром сойтись при штиле или хоть при неудобном ветре — сожрет он меня, как воробей муху.

И дальше непременно начинались рассуждения о достоинствах пара, винта и бронированных корпусов — это у Платона Платоновича, можно сказать, был любимый конек.

Со мною капитан обходился ласково, безо всякой строгости. Думаю, он считал меня не полноценным матросом, а полуробенком — да так ведь оно и было.

Обязанности мои были совсем необременительны.

Утренний кофе Иноземцов любил варить себе сам, для чего держал какую-то хитрую американскую спиртовку. Весь день капитана не было — он беспрестанно обходил фрегат, попевая всюду.

Анатолий Брусникин

Застелить постель, прибраться в и без того чистой каюте, высушить ветровку да надраить обувь — вот и вся моя служба. Поэтому времени хватало и по вантам ползать, и поглазеть на батарейной палубе, как проходят учебные стрельбы, и почитать книжки, которыми у капитана был занят целый шкаф. Я не своевольничал — Платон Платонович сам утром давал мне книгу и велел прочесть столько-то страниц, а вечером расспрашивал, всё ли я понял. Вечера-то я и полюбил больше всего.

Бывало, нарочно оставляю себе какую-нибудь недоделанную работу, сижу тихонько — полирую саблю или, скажем, протираю бархоткой большой глобус, а сам жду, не обратится ли ко мне Платон Платонович. Самому уже казалось странным, как это я мог поначалу такого человека бояться. Джанко — иное дело. Но про него нужно вспоминать особо...

Вот вечер, который раскрывается в памяти, будто многоцветный китайский веер, — у Иноземцова такой лежал на письменном столе...

Господи, чего только не было в каюте! Я мог часами глазеть на всякие-разные штуки, привезенные Платоном Платоновичем из далеких уголков земли.

Меня, например, завораживал полированный человеческий череп с дыркой посередине лба, служивший болванкой для парадной офицерской двухуголки. Платон Платонович сказал, что это подарок тихоокеанского царька, выкинуть-де рука не поднялась. А вешалкой для дождевика была костяная доска с острыми зубьями — клюв или нос (не знаю, как правильной) рыбы-меч. Койку капитана украшало китайское покрывало с красивым и страшным драконом. А на стене, меж навигационных карт, метеорологических приборов и прочих нужных ве-

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

щей висели раскрашенные дикарские маски, диковинные кинжалы с извилистыми клинками, пышная корона из разноцветных перьев и много, много других интересных предметов. Панцырь огромной черепахи выполнял роль календаря: каждая клеточка соответствовала числу, и Платон Платонович вечером ставил там мелом дату.

Вечер, что встает у меня перед глазами, отмечен на панцыре цифрами 5.XI. Стало быть, со времени, когда «Беллона» покинула Севастополь и приступила к крейсерскому дежурству у берегов Кавказа, миновал почти месяц.

Капитан склонился на столом, покуривая сигару и что-то отмеряя циркулем по карте. Джанко, как обычно, сидел на полу. Присутствие на военном корабле краснокожего язычника давно перестало быть для меня загадкой. Я узнал, что он — индеец из североамериканского племени помо; при Платоне Платоновиче состоит очень давно, лет десять, а на «Беллоне» находится по личному разрешению начальника штаба эскадры адмирала Корнилова. Поначалу офицеры и матросы, настороженно отнесшиеся к новому командиру, были возмущены столь вопиющим нарушением устава морской службы, но затем успокоились, сообразив, что у фрегата появился новый повод для гордости.

Каждый флотский экипаж стремится обзавестись какой-нибудь особенностью, которой можно щеголять перед другими судами. На линейном корабле «Париж», например, по традиции и специальному соизволению морского министра, кормовые фонари красили в неуставной оранжевый цвет. На «Трех святителях» одно время держали ручного медведя, хоть он и царапал когтями палубу. «Беллона» раньше отличалась от других судов только ленточками на бескозырках. Награда, что и говорить, по-

четная, но точно такую же в прошлую турецкую войну заслужил еще один корабль, «Азов». И хоть приписан был второй «георгиевский кавалер» не к нашей, а к Балтийской эскадре, все равно особенность получалась несколько подмоченная. Зато теперь у фрегата имелся свой живой индеец, или Индей, как называли его матросы. Во всем флоте Российской империи другого такого корабля было не сыскать.

Поскольку «Индей» был немой и ни с кем кроме капитана в общение не вступал, на судне к нему относились с опасливым почтением. Ну, а у меня для опаски были собственные причины. После того, как Джанко сжал мое плечо и каким-то образом убедил капитана взять меня в вестовые, никаких сношений между мной и индейцем не было, хотя мы часто оказывались рядом. Ночью я спал в коридорном закутке перед дверью, а Джанко — с другой ее стороны, на полу каюты. Нас отделяла только створка, и мне, бывало, снилось жуткое: будто черноволосый нехристь наклоняется надо мною спящим и впивается в меня огненным колдовским взглядом.

Наяву-то он никогда в мою сторону не смотрел. Будто меня и нету.

Вечером пятого ноября капитан работал с картой, я старательно начищал его парадную саблю, любуясь своим отражением в зеркальном клинке, а Джанко перебирал содержимое своей сумки, в которой чего только не было.

Держал я себя с индейцем примерно так же, как он со мной: делал вид, будто его не существует. Если осмеливался подглядывать, то искоса.

Краснокожий выложил уже знакомую мне гнутую дощечку, с помощью которой ловко сшиб крачку; потом — бамбуковую трубочку, напоминающую свирель; несколько странных кривых ножики; два блестящих ме-

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

таллических шара на цепочке; кожаный планшетик с иглами (вышивает он, что ли?); еще пузырьки, кисетики, табак для своей длинной трубки.

Сцена была мирная, почти домашняя. Платон Платонович обладал завидной способностью уютно и удобно обустраивать пространство, будь то каюта, корабль или бивак. Всё у него было предусмотрено и продумано, до мельчайших мелочей. Человек он был бездомный, перекати-поле, всю жизнь по морям и далеким портам, но, по моему, это для него означало, что он повсюду, в любом временном пристанище, чувствует себя дома. А впрочем, многие морские волки таковы.

Забыл упомянуть, что в каюте была складная ванна, в которой Иноземцов любил понежиться после шторма. Воду я заливал морскую, подогревая ее патентованной английской грелкой с раскаленными углями. В воздухе клубился голубоватый и благоуханный дым от курительных палочек. Музыкальная шкатулка играла вальс; капитан расспрашивал меня о прочитанном за день или что-нибудь рассказывал. Его тихая речь была шепелява, потому что в зубах Платон Платонович держал сигару. Он говорил, что в молодости был глуп и отдавал предпочтение трубке, но теперь не променяет весь запас турецкого «баязета» на одну-единственную «манилу».

Однако вечером пятого ноября вахта у капитана выдалась покойная, ибо ветер был самый слабый, притом попутный, и Платон Платонович сказал, что ванну готовить не нужно.

— Завтра крейсируем на траверзе Пицунды, та-ак-с, — приговаривал Иноземцов. — Потом делаем разворотик на зюйд-зюйд-вест... Вот и вся недолга.

Он отпил из стакана густо-желтой, тягучей бурды, сделал несколько звуков горлом и, ужасно фальшивя, запел про Мальбрука, собравшегося на войну. Я француз-

ского языка не знаю, но слова помню наизусть: «Мальбрук санватан герре, миронтон-миронтон-миронтене». Другой песни капитан не знал.

Пить гоголь-моголь и распевать Платон Платоновичу присоветовал корабельный лекарь Шрамм. Для укрепления связок. В позапрошлом году, застряв во льдах под Беринговым проливом, Иноземцов застудил себе горло и с тех пор — большая беда для моряка и особенно для командира — мог говорить только тихим голосом. Яичную бурду капитан ненавидел, петь совсем не умел, однако послушно исполнял предписание, хоть никаких улучшений пока не происходило.

Я-то ничего, Мальбрук так Мальбрук, но Джанко эти певческие упражнения ужасно не любил. Кривился, за-тыкал уши.

В этот раз капитан старался петь как можно громче. Индеец сморщил свой клювообразный нос, взял блестящие шары да как швырнет один в угол. Шар оказался на длинной жиле. Он ударил в плинтус — и молниеносно вернулся в руку метальщика. А на полу лапками кверху остался лежать крысенок. (У нас, как на всяком старом корабле, этой серой живности водилось в достатке.)

Платон Платонович от грохота поперхнулся.

— Ты что шумишь?

Тогда Джанко поднес палец к губам. Покачал головой. Изобразил нечто непонятное: длинные локоны или кудряшки, а перед грудью что-то округлое. Снова замотал своей кудлатой башкой.

— Это он против моего пения возражает, — со смехом молвил капитан. — Боится, что я полюблю это занятие и вздумаю музицировать при дамах. А они напугаются и не захотят выйти за меня замуж. Он меня, братец ты мой, женить мечтает.

— Женить? — поразился я.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

С моей точки зрения, капитан был совсем старым, хорошо за сорок. Какая тут женитьба?

Платон Платонович с улыбкой покачал головою:

— Выдумал, понимаешь, что мне хорошая скво нужна. Скво — это жена по-ихнему. У них говорят: «Холостой человек — половинка человека». Вот Джанко и подыскивает мне вторую половинку. Когда-де у меня появится жена, он меня ей передоверит. Сможет к себе в родные края вернуться и там тоже женится.

— А где у него дом, Платон Платонович?

Это капитан велел мне, когда мы в каюте, его именем отчеством называть. На палубе, конечно, я обращался к нему только «ваше высокоблагородие».

— В Калифорнии. Не столь далеко от бывшего нашего форта Росс. Там я моего няньку и подобрал. Расскажу как-нибудь. Это, брат Герасим, занятная история... А только глупости это, про жену. Поздно ему и мне жениться. Да и где ее сыщешь, вторую половину?

Меня этот вопрос тоже очень волновал.

— Это да. А бывает, что найдешь, но не знаешь, как подступиться. Ты — одно, а она — совсем-совсем другое...

Я запнулся, испугавшись, что сейчас проговорюсь и выдам свою тайну, но капитан понял меня по-своему.

— Верно. Женщины — они из другого матерьяла слеплены. С ними и говорить-то не знаешь как. Опять же встретил ты некую особу и уж готов в ней признать свою половинку, а она в ответ: «Я другому отдана и буду век ему верна». Я вот тебе дам завтра книжку про Онегина и Татьяну прочесть — узнаешь, каково это, когда несешься к цели на всех парусах, а тебе зададут поворот оверштаг.

При этих словах индеец презрительно усмехнулся и показал один из своих пузырьков, в котором плескалась алая жидкость.

— Чего это он, Платон Платонович?

Анатолий Брусникин

— А это у него колдовское зелье. — Голос у капитана был серьезный, однако глаза весело поблескивали. — С Джанко, брат, не шути. У него всё продумано. Три капли приворотного зелья — и ни одна скво не устоит. Втрескается по уши.

Я уставился на волшебное снадобье с большим интересом. Джанко же вынул из кожаного планшета иглу (она была не железная, а костяная) и зачем-то сунул в рот. Потом схватил бамбуковую дудочку, поднес к губам, дунул. Раздался писк.

Повернувшись, я увидел около дохлого крысенка довольно большую крысу. Она лежала на спине, дрыгала ножками, а из шеи у нее торчал костяной шип.

— Ух ты, здорово! — восхитился я.

— Ничего здорового. — Иноземцов мельком глянул на крысиное побоище. — Умертвил детеныша, а следом и безутешную мать, изверг. Главное, зачем? Коллекционер!

Этого слова я не знал.

— Кто?

— Собиратель всякой смертоубийственной дряни. По всему свету выискивает и к себе в сумку сует. У него там и австралийский бумеранг, и малайские метательные ножики, и яды — целый арсенал. Говорит: пригодится.

Я с еще большим любопытством посмотрел на сумку.

— Платон Платонович, как это он говорит, если он немой?

— Молча. Но я его и так понимаю. Привык. Вообще-то он не то чтобы от природы немой. — Капитан вздохнул. — Ему шаман (это колдун ихний) говорить запретил. Мол, скажешь хоть одно слово — душа улетит и не вернется. Вот Джанко и молчит уже лет пятнадцать или даже двадцать. На языке его племени «Джанко» значит «Болтун». Индейцы тоже шутить умеют.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Тут краснокожий внезапно подмигнул мне и сделал жест, будто у него что-то вылетает изо рта, а он хватъ — запихнул обратно и ниточкой зашил. Так это было неожиданно, что я захихикал. И сразу стал бояться дикого человека вполонину меньше.

А дальше случилось вот что.

Капитан оделся, пошел проверять вахтенных. Обычно я избегал оставаться с Джанко наедине — норовил выскользнуть из каюты, но сегодня решил остаться. Посмотреть, что он еще из сумки достанет.

Индеец тоже на меня поглядывал. Потом поднялся, пошел вроде как к двери, но, оказавшись подле меня, быстро выбросил руку и вытянул у меня из-за пазухи мой заветный ладан.

— Ты чего? Чего? — в панике завопил я.

Но было поздно. Медальон уже лежал на ладони у Джанко, посверкивая стеклом.

— Отдай! Я Платон Платонычу скажу!

Каково же было мое удивление, когда краснокожий, пару секунд поизучав портрет, сам себе кивнул — и вернул мне мое бесценное сокровище.

Я поскорей спрятал его обратно, весь дрожа от возбуждения.

Джанко вынул из сумки замшевый мешочек, а оттуда — золотой самородок, который я уже видел в магазине. Протянул мне, а другой рукой ткнул туда, где под рубахой висел ладан.

— Меняться? Ни за какие миллионы!

Черные глаза глядели на меня в упор, не мигая. Я тоже молчал. Сильно колотилось сердце. Что будет дальше, я не знал, но бояться перестал. Как-то вдруг понял: этот человек мне плохого не сделает.

— Кто она? Ты знаешь?

Он прищурил глаз.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

— Она живая?

Кивнул.

Меня бросило в пот.

— Где ее сыскать? Скажи!

Тогда Джанко медленно достал из сумки что-то маленькое. Сложенный листок желтоватой линованной бумаги. Показал мне, но в руки не дал.

Я вспомнил, как он вырвал в дагерротипной лавке листок из книги. Хозяин что-то говорил про имя и адрес!

Индеец положил бумажку к самородку. Снова ткнул мне в грудь.

— Насовсем не согласный. Ты дай мне посмотреть. И я тебе тоже дам. На минутку.

Он ухмыльнулся: нашел-де дурака.

Поколебавшись, я предложил:

— Ладно, отдам. Но прибавь еще бутылочку с любовным зельем.

Думаю: если Дева каким-то чудом ожила и я узнаю, как ее найти, то с волшебным-то приворотом у нас с ней, поди, как-нибудь сладится?

Джанко вынул пузырек с алой водой, поглядел на него, потом на меня. И показал мне совсем не индейскую штуку: кукиш из трех пальцев.

Так мы с ним и не сторговались. Нашла коса на камень.

БРЕННАЯ СЛАВА

Сразу вслед за этой проступает другая картинка, они расположены совсем рядом и почти сливаются одна с другой.

У всякого человека в жизни были моменты, которыми он потом долго гордится и которые с гордостью вспоминает. Есть они и у меня. Этот — первый.

Нужно сказать, что, проплавав месяц на военном корабле и числясь юнгой Черноморского флота, я совсем не задумывался, зачем «Беллона» курсирует вдоль кавказских берегов. У меня и без политики хватало, чем заняться, — дни летели, будто их уносил за собой быстрый норд-ост. Я читал книги из капитанского шкафа — про разные страны, про научные открытия, про удивительных людей; я пьянел от верхолазания по реям; и конечно, я грезил о моей Деве.

Для мечтаний у меня теперь было отведено ночное время. Я облюбовал верхний салинг на фокке. В светлое время суток там всегда сидел впередсмотрящий, однако в ночную вахту ему полагалось находиться на бушприте и смотреть не столько вперед, сколько вниз — не торчит ли из воды какой-нибудь обломок. Поздней осенью на Черном море часты штормы, и корабли нередко получают пробоину, наткнувшись в темноте на останки разбитого бурей судна.

Поэтому ночью я царствовал в небе один. Доставать медальон надобности не было, я запомнил черты запечатленной на нем девушки до мельчайших деталей. Главное же — я вычитал в книжке, что дагерротип не изображает, а именно *запечатлевает* человеческий образ. То есть хозяин ателье на Екатерининской улице действительно видел перед собой ту, кого я полагал плодом воображения неведомого художника! (Кстати сказать, прочитал я в одной книжке и о мозаике, настенной живописи из маленьких кусочков камня или стекла, поэтому уже понимал, что моё чудо — не творение подземного волшебника.)

В ночь после несостоявшегося обмена я пребывал в невероятном возбуждении. Воистину Она существует! Она живая! У нее есть имя и адрес! Как это может быть?

Но звезды, мерцавшие в небе, словно лукаво подмигивали мне: всё, всё бывает — даже и такое, о чем вы,

смертные люди, не имеете ни малейшей догадки. Я верил звездам, грудь моя наполнялась соленым воздухом, ноздри раздувались, и я не чувствовал холода ночи.

— На бушприте не спать! Вперед смотреть! — крикивал вахтенный начальник, молодой лейтенант Кисельников.

— Есть не спать! — слышалось в ответ.

Со своим отменным зрением я видел и дальше, и лучше, чем впередсмотрящий. Мне нравилось угадывать линию, на которой черно-синее море сходилось с синечерным небом.

И там, на стыке, я вдруг заметил приземистую тень. Она двигалась навстречу, странно серея и расплываясь в верхней своей части.

— Дядя Савчук, никак корабли! — неуверенно крикнул я дозорному, не решаясь обратиться к лейтенанту.

— Где?! ...Врешь!

Впередсмотрящий полез на утлегарь, а вахтенный припал к подзорной трубе.

— Точно корабль? — обернулся ко мне Кисельников, ничего не разглядев. — А где ж огни?

Я уже не сомневался:

— Пароход! Трубой дымит! — Я непроизвольно привстал на цыпочки. — Слева еще один! И справа, ваше благородие! Три парохода! Встречным курсом!

— Так точно! — заорал и Савчук. — Трех не вижу, а на зюйд-осте один, кажись, есть!

На мостике ударил колокол. Через четверть минуты внизу гулко заколотил тревогу барабан. Фрегат наполнился топотом и криком.

А из ахтерлюка (то есть по кормовой лесенке), торопливо застегивая китель, уже поднимался капитан Иноземцов, за которым беззвучно скользил Джанко.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Первый в моей жизни бой, морской бой, вспоминается мне как нечто рваное и скособоченное. Хлопанье парусов, то опадающих, то раздуваемых ветром. Ключья пены и пелена дыма. Мир словно запутался, где у него низ, а где верх, и всё перекашивался из стороны в сторону, ища утраченное равновесие, — это из-за того, что «Беллона» постоянно меняла галсы: за фордевиндом оверштаг, потом крутой бейдевинд.

Что будет именно бой, стало ясно вовсе не сразу. Я притаился под мостиком, на котором собрались начальники: капитан, Дреккен, первый штурман, старший артиллерист — и ловил каждое долетавшее слово.

До рассвета фрегат пытался уйти от незнакомых кораблей, которые зачем-то пытались к нам приблизиться с потушенными огнями. Что это не русские суда, было понятно. Эскадры из трех пароходов у нас на Черноморье, как я понял из разговоров, не было. Значит, турки. Какого черта им надо?

Но вот горизонт просветлел, и я услышал, как Платон Платонович, не отрываясь от бинокля, один за другим опознает все три преследующих нас корабля. Названий не упомяну, они были — язык сломаешь, но звучное имя паши, чей выпел развевался на мачте флагмана, засело в памяти: Ассан-паша.

Ветер был плохой, восточный, и было видно, что пыхтящие дымом турки — один большой, два поменьше — нас нагоняют.

— Ветер, черта бы ему в рыло... — вздыхал штурман. — Хоть бы галфвиндом побаловал. Ушли бы от этих паровых мельниц. Ей-богу, ушли бы!

Платон Платонович соглашался, что ветер ведет себя прескверно, однако тоном спокойным, философическим. Остальные офицеры были в большом волнении, а капитан лишь с любопытством разглядывал наших преследо-

вателей в бинокль. Безмятежной Иноземцова был только Джанко — тот дремал, привалившись к перилам. Над одеялом торчало одно лишь черно-белое перо.

— Экие у них, Орест Иванович, паруса грязные. Не корабли, а коптилки-с... Вот я читал, что англичане переходят на антрацитное отопление, от которого якобы никакой сажи. Ведь это ж будет замечательно, если и на паровом флоте удастся поддерживать идеальную чистоту?

Но старшего офицера заботило другое:

— Чего они к нам лезут? Это наши воды! И война не объявлена!

На турецком флагмане впереди расцвели два белых бутона, а затем донесся гул сдвоенного выстрела. Выпалили носовые орудия.

— Вот и объявлена-с, — все так же мирно заметил Иноземцов.

Я прищурился и вдруг увидел две черные точки, несущиеся в нашу сторону.

Снаряды?

Конечно, что ж еще!

Испугаться я не успел, только удивился. Саженьях в ста от «Беллоны», по-морскому в одном кабельтове, на гребне волны встали два высоких всплеска.

— Вам понятно их намеренье? — Дреккен махал рукой и задыхался. — Пользуясь преимуществом хода и маневра, они нас догонят и будут держаться перпендикулярно нашей корме, чтобы не попасть под бортовой залп! Им с машинами на ветер плевать! Сами же развернутся, собьют нам мачты и будут расстреливать до тех пор, пока мы не спустим флаг. Хорошее начало для войны — захватить целый фрегат!

Артиллерист тревожно обернулся к капитану.

— Платон Платонович, я с одними кормовыми против трех кораблей не слажу. Подают в четверть часа!

— Всё верно, господа, и вы абсолютно правы, — вежливо наклонил голову Иноземцов. — Их трое, у них пар, и орудий вдвое против нашего, даже если нам удастся повернуться бортом. Это так-с. Но мы имеем одно преимущество... — Вражеский флагман снова выстрелил, и капитан прервался, ожидая, пока умолкнет эхо. — ...Бортовые пушки у нас гораздо большего калибра. Залог победы, как известно, состоит в том, чтобы заставить противника вести бой на твоих условиях и по твоим правилам. Афанасий Львович, — обратился он к артиллеристу, — вы у нас профессор канонирских наук. Мое дело — маневрировать, ваше — вести прицельный огонь. Бейте всеми орудиями только по флагману, мелюзгу игнорируйте-с. А бегать мы больше не станем. Не вижу смысла...

Что он сказал офицерам дальше, я не услышал — на мой затылок обрушилась затрещина, от которой слетела бескозырка.

— Неча тут болтаться! — рявкнул на меня Степаныч. — Вишь, турка по нам содит! Убьет дурака! Вниз вали!

Он схватил меня за шиворот и поволок к кормовому трапу, да еще дал пинка, чтоб я шустрой скатился по лесенке. Шапка полетела за мною следом.

Но я был уже не тот пугливый щенок, что месяц назад. Степаныча я не устрасился, к подзатыльнику и пинку отнесся без обиды — расценил как проявление заботы. На глаза суровому боцману, конечно, попадаться не стоило. Но ему будет не до меня — по боевому расписанию Степаныч должен гасить очаги возгорания; он уже раздавал своим матросам куски брезента, ведра и багры.

Я же занял отличную, стратегически выгодную позицию: остался на трапе, так что при желании мог и видеть происходящее наверху, и заглянуть вниз, на батарейную палубу, где расчеты приготовились открыть огонь. Если Степаныч оказывался неподалеку, я пригибался. Боцма-

на я все-таки опасался больше, чем вражеских ядер, — тем более что ни одно из них, благодаря беспрестанному маневрированию «Беллоны», в нас еще не попало.

Смысла приказов, которые подавал в рупор капитан, я, конечно, не понимал.

Мы зачем-то спустили половину парусов, отчего резко сократилась скорость.

— Орест Иванович, чтоб ни одно орудие! — крикнул Иноземцов старшему артиллеристу — тот, как и я, стоял на лесенке трапа, но не кормового, а центрального, расположенного близ грот-мачты. Оттуда он мог руководить пальбой обеих палуб.

Пароходы быстро приближались, разворачиваясь веером, причем самый большой находился в середине и шел прямо на нас. Стрелять турки перестали. Наверное, были поставлены в тупик странными действиями фрегата и вообразили, что собираемся сдаться.

Через несколько минут они опять открыли огонь, теперь уже со всех трех кораблей. Всплески ложились близко, но попаданий по-прежнему не было. Не знаю, чем это объяснить. То ли наводчики у них были неважные, то ли палили они для остротки, не желая портить судно, которое считали почти захваченным.

— Разворот! — как мог громче приказал капитан, отложил рупор и навалился на штурвал.

Ему помогали рулевой и помощник. Палубные матросы враз налегли на канаты.

Никогда еще я не видел, чтобы фрегат поворачивался так быстро.

— Прицел по флагману! — зычно крикнул старший артиллерист, не спуская глаз с капитана, который отстранил рулевого и сам встал к штурвалу.

— Прицел по флагману! Прицел по флагману! — повторили наверху и внизу батарейные командиры.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Я видел, как комендоры припали к прицелам.

— По готовности, Афанасий Львович! — Голос Иноземцова сорвался.

Но артиллерист услышал, кивнул. И на капитана смотреть перестал.

— Готовность? — заорал он, пригнувшись к люку. И еще раз, верхней палубе. — Готовность?

— Готовы! — глухо донеслось снизу.

— Готовы! — звонко ответили наверху.

Тогда Афанасий Львович громовым басом, какого я у него и не подозревал, возопил:

— Батарей, ОГОНЬ!!!

Человек он был нездоровый, с бледным чахоточным лицом и в кают-компанин часто заходилась кашлем, но сегодня на его щеках пунцовел румянец, а глаза бодро блестя. (Я впоследствии приметил, что многие заправские артиллеристы таковы: ожидание орудийной дуэли возбуждает их, как бабу-Ягу запах человеческой крови.)

Меня отшвырнуло на поручень. Я оглох от немыслимого грохота, а секунду спустя еще и ослеп: почти остановившийся фрегат заволокло серым дымом. Он окутал верхнюю палубу, густо повалил снизу.

Кашляя и сглатывая, чтобы прочистить пробки в ушах, я кинулся к вантам. Ужасно хотелось посмотреть на результат нашего залпа, а Степаныч в этом чаду разглядеть меня не смог бы.

Стремительно взлетел я по веревчатым перекладам — будто птица, пронесшаяся сквозь облако.

Ух ты!

Турецкий флагман тоже был окутан дымом, но не серым, а черным. Трубу снесло, грот покосился, на палубе что-то горело. Я увидел суетящиеся, мечущиеся взад и вперед фигурки матросов, а когда прищурился — то и черную дыру пробоины прямо под бушпритом.

— Всех наве-ерх! Парусов прибавля-ять! — донеслась протяжная, да еще и растянутая рупором команда невидимого сквозь пелену Платона Платоновича.

Над моей головой, словно сами по себе, раскрылись и наполнились ветром огромные белые полотнища. Фрегат накренился, меняя курс, — и я по-обезьяньи повис на одних руках, сорвавшись ногами с перекладин, но тут же зацепился носком за канат и выправился.

«Беллона» вылезла из порохового облака. Я увидел под собой палубу, расчеты подле орудий, неподвижного Иноземцова, замотанного в одеяло Джанко, который, кажется, продолжал дремать. Еще я увидел боцмана. Он погрозил мне кулаком и сбежал вниз по трапу. За линьком, догадался я и начал быстро спускаться. В сложившейся ситуации было предпочтительно держаться поближе к капитану. При нем Степаныч дать воли рукам не осмелится, а после отмякнет, забудет.

— Разве это баталия? Так, пустяки-с, — говорил Платон Платонович штурману, когда я скромно, тихой мышью, пристроился под мостиком. — Остальным двум пароходам не до нас, надобно адмирала на буксир брать.

Стрельба еще не стихла. Палили два наших кормовых орудия, и турки тоже постреливали, но вставшая под ветер «Беллона» быстро уходила в сторону далекого берега.

— Юнга? Поднимись-ка.

Капитан обращался ко мне.

Я вскочил, оправил блузу и чеканно, не по-каютному, приблизился.

— Вот кого благодарить надо, господа. — Платон Платонович обернулся к Дреккену и штурману. — Это он туюрок заметил и корабль спас. Молодец, юнга. Помнишь, я тебе рассказывал, как раньше посвящали в рыцари? Так вот, посвящаю тебя в моряки.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Он улыбнулся и легонько щелкнул меня по носу. Ни на какую награду не променял бы я этот щелчок!

Однако это было еще не всё.

Когда, всхлипывая от счастья, я спустился на шканцы, меня поджидал Степаныч. Правую руку он держал за спиной.

Я мог бы дунуть от него к ахтер-люку, но не стал. Рыцарю драпать не к лицу, а удар линьком для настоящего матроса не страшной шекотки.

Боцману я улыбнулся, подошел бестрепетно.

Сказал:

— Лупи, Степаныч. Капитан не увидит, он в бинокль смотрит.

Но в правой руке у боцмана оказался не линек.

— На-ко вот, общество порешило, — торжественно произнес Степаныч. — Заслужил. Как ты теперь есть полный матрос — носи. Башку-то наклони...

И он обвязал мою пустую, голую бескозырку черно-желтой ленточкой.

Я поймал полосатый хвостик пальцами и тайком поцеловал его.

Да уж, всем воспоминаниям воспоминание...

СЛЕДУЮЩЕЕ — ИНОГО РОДА...

И сразу затем память — сама, без спросу — тычет меня носом в самую мучительную страницу жизни. Куда же ее денешь? Желал бы вырвать из прошлого, скомкать, да выкинуть. Но так не бывает. Что в твоей книге уже написано, не сотрешь и не сожжешь.

Капитан был прав, когда назвал сшибку у кавказского берега пустяками. Настоящая баталия ждала нас в го-

роде Синопе, где собрался весь турецкий флот под защитой мощных береговых батарей. 18 ноября наш фрегат, влившийся в эскадру адмирала Нахимова, подошел к месту грядущего сражения. Передохнуть в порту перед походом «Беллоне» так и не довелось.

Из-за чего у нас с турками приключилась война, в команде толком не знали. Ждали-то новой драки с басурманами давно. Для того и Черноморский флот создан, для того и Севастополь построен — турок воевать. Не то чтобы матросы сильно задумывались, почему сызнова с султаном ссора (да и начальство не поощряло в нижних чинах особой задумчивости), но всё же было любопытно.

Я сходил, послушал, как на нижней палубе перед отбоем отец Варнава растолковывает людям смысл нынешнего похода.

— Град сей, Синопом рекомый, славен именем Андрея Первозванного. Отсель принес он на святую Русь слово Божее, — объяснял батюшка. — Потому не может того быть, чтобы сей покровитель нашего морского флага не пособил христолюбивому воинству в таком месте.

— Отче, а заради чего мы с туркою бьемся? — спросил молодой матрос.

— За веру Христову. За братьев единоверных, турецким игом томимых. За ключи Храма Ерусалимского.

Про ключи я не понял, хоть про них и в царском манифесте говорилось.

— За ключи так за ключи, — веско молвил Степаныч. — Начальству видней. Наше дело военное.

А я наострил уши, потому что сзади Соловейко излагал дело собравшимся вокруг него товарищам по-другому:

— Наш царь у ихнего салтана салтаншу увел. Ну а тот, знамо, обиделся.

— Брешешь! — воскликнул кто-то. — В указе царском о том не было.

— Так тебе всё и напишут, в указе.

— Красивая салтанша-то?

— Наверде Смолки, — ответил Соловейко, глядя сидящую на плече мартышку.

Под гогот я отошел, так и не поняв, врал Соловейко или нет.

Вечером осмелился спросить у Платона Платоновича. Он объяснил, что России в Черном море тесно, поскольку оно и не море, а вроде пруда, запертого проливами, как плотиной. Мы хотим выйти на океанский простор, турки же нас не пускают. Из-за этого мы с ними сто пятьдесят лет воюем и будем воевать до тех пор, пока они нам цареградскую калитку не откроют. Глупо и опасно со стороны султана великую державу, будто собаку, на короткой цепи держать.

Я остался этим объяснением разочарован, потому что успел вообразить себе султаншу невиданной красоты, вроде моей Девы — за такую и повоевать не жалко.

Турецкая эскадра стояла в просторной бухте, выстроившись дугою. Семь фрегатов, три корвета и два парохода под прикрытием шести батарей и бастионов.

Я знал из подслушанного разговора меж капитаном и Дреккеном, что план у нашего адмирала очень простой: выстроиться двумя кильватерными колоннами и встать напротив турок на якорь, после чего палить по врагу с места, пока турки не сдадутся. Каждому из наших кораблей — а их насчитывалось восемь — был назначен точный пункт для остановки. Платон Платонович сказал, что диспозиция правильная. Осман-пашу из-под защиты береговых орудий все равно не выманишь, стало быть нужно использовать всю мощь бортового огня, положиться на наше преимущество в подготовке канониров и на русское упорство. А также на отчаянность нашего положения. Отступать

с прямой линии огня нам будет некуда — потрепанным кораблям без починки бурное ноябрьское море не пересечь; у турок же за спиной берег и город, а это всегда плохо действует на боевой дух, ибо есть куда бежать.

Погода с утра была паршивая. Налетал шквалами неудобный для нашей эскадры зюйд-ост, лил холодный дождь, тучи висели низко. В недобром свете этого плаксивого дня многочисленные минареты Синопа казались стальными иглами — город словно ошетинился. Круглые купола мечетей блестели, как рассыпанные по берегу железные ядра.

Я после своего триумфа двухнедельной давности почитал себя стреляным воробьем. Волноваться волновался, но эта щекотка нервов была скорее приятной. Как в прошлый раз, я пристроился на шканцах, под мостиком, стараясь никому не попадаться на глаза, и ждал момента, когда вновь смогу отличиться, обратить на себя внимание Платона Платоновича, удостоиться его похвалы. Не может того быть, чтобы в большущем сражении мне не представилось случая блеснуть храбростью и смекалкой!

Офицеры стояли надо мной, блестя брезентовыми зюйд-вестками — их на «Беллоне» завел капитан Иноземцов на случай штормовой погоды. Однако, когда наша колонна двинулась к месту якорной стоянки (ее еще ночью разметила буйками особо посланная команда на гребных катерах), все скинули дождевики и остались в скюртуках с золотыми эполетами. На груди сверкали ордена, у пояса — парадные сабли. Платон Платонович распорядился, чтобы к бою готовились, как к празднику. Даже индеец засунул в волосы желтое перо какой-то невиданной птицы, а на шею повесил огромный медвежий коготь на шнурке.

— ...Стоять будем на шпрингах, в совершенной неподвижности, — доносился сверху тихий, сосредоточенный голос. — Поскольку огонь будем вести с фиксиро-

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

ванной точки, а ветер за мысом ослабнет, после первого же залпа видимость из-за дыма станет нулевая. Вы, Орест Иванович, будете корректировать огонь батарей с грот-мачты...

Старшему офицеру было поручено руководить стрельбой орудий, потому что у нашего артиллериста Афанасия Львовича, столь блестяще проявившего себя в бою с парходами, вскоре после того открылось кровохарканье, и капитан отправил его встречным пакетботом в Севастополь, а замены на «Беллону» пока не прислали.

Крайняя из турецких батарей начала постреливать, но не по нам — по флагману, и пока всё мимо.

— Господа, ведь это исторический день, будете внукам рассказывать. — Иноземцов был оживлен, как во время какого-нибудь интересного обсуждения в кают-компании. — Очень вероятно, что сегодня произойдет последнее великое сражение парусных флотов. Да-с. На прямой наводке, в виду противника. Впредь, с полным переходом на паровые машины, на винтовой ход, на бронированные борта и дальнобойные нарезные пушки с коническими снарядами воевать будут вслепую, издали, без картечи и абордажей. И на мачту Оресту Ивановичу карабкаться не придется. Будете углы прицеливания циркулем по таблице да по карте высчитывать, посиживая в кресле-с...

Он прервался — на адмиральском корабле выпалила сигнальная пушка. Флагман уже достиг назначенного места, спустил паруса, в нескольких местах пробитые ядрами, и спустил якоря со шпрингами, то есть со станowymi тросами, призванными удерживать судно в неподвижности.

— Ну-с, начинается. Господа, прошу по местам.

Офицеры сбежали мимо меня по лесенке, придерживая сабли и фуражки, а Платон Платонович взял рупор.

Анатолий Брусникин

Оказалось, что я обнаружен.

Перегнувшись через перила, Иноземцов гулко сказал мне в свою кожаную трубу (хоть расстояние не превышало полутора сажений):

— Юнга, марш в каюту!

И засмеялся, когда я отпрянул. Настроение у Платона Платоновича было очень хорошее.

Капитан — не боцман Степаныч. Как можно послушаться?

Я поплелся вниз и даже дошел до каюты. То есть, строго говоря, приказ выполнил. А потом вприпрыжку понесся обратно. Просто высунул не из кормового люка, а из среднего, близ грот-мачты, на которую уж поднимался Дреккен. Сзади за португеею у него была просунута покалеченная капитаном красивая палочка. Дракин (с того вечера, впрочем, совсем переставший драться) склеил свой жезл липкой бумагой. Я слышал, как он рассказывал штурману, что стек этот с ним давно и служит ему талисманом. После я поглядел, что это за слово такое, в капитановой энциклопедии, и запомнил его. У меня ведь тоже был свой талисман, да не чета дреккеновскому.

Наши корабли вставали друг от друга в ста пятидесяти саженьях, бортом к турецким судам и берегу. Вот достигла своей позиции и «Беллона».

— Отдать якоря! — приказал Иноземцов.

С носа и кормы раздался лязг — это разматывались якорные цепи, натягивались шпринги. Фрегат остановился, как вкопанный. От толчка я еле устоял на ногах.

Высунувшись из люка, я во все глаза смотрел на большой турецкий корабль, с которым нам предстояло сразиться. До него было меньше двух кабельтовых, и я отчетливо мог разглядеть канониров на верхней палубе,

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

флаг с полумесяцем, а на квартердеке отдельно стоящего человека в красной шапке — ихнего капитана.

Турки вели по нам разрозненный огонь. Я понял это, когда увидел, что облачка дыма выскакивают не враз по всему борту, а как придется, без порядка. С такого небольшого расстояния, да по неподвижной мишени, в которую превратилась «Беллона», еще не отвечавшая на огонь, стрельба получалась меткая.

На меня сверху посыпались клочки парусины, потом труха от расщепленной реи. Треска я не слышал, его заглушала канонада.

Страшно, однако, не было. Слишком уж мне хотелось всё рассмотреть, ничего не упустить, а для этого приходилось вертеться: и вниз заглянуть (там открыли оружейные порты и высунули наружу стволы орудий), и на мостик посматривать, и на Дреккена. А еще я должен был не попасться на глаза Степанычу. Он со своей пожарной командой уже изготовился — стоял в десяти шагах от меня, близ насосной бочки, от которой шли две брезентовые кишки: одна повернута к юту, другая к баку.

Верхняя и нижняя батарея доложили о готовности.

Тогда старший офицер, вытянув стек в направлении турецкого фрегата, заорал:

— Батарейные! Первая наводка — сами! Целить в ватерлинию!

Это означало, что, пока с палуб ясно виден враг, коммандоры должны наводить свои орудия сами. После задымления стрелять они будут вслепую, меняя угол прицельной рамки по команде.

Я зажал уши, чтоб не оглохнуть от грохота сорокачетырехфунтовок. Но залпа не последовало.

«Беллону» вдруг повело в сторону. Она стала поворачиваться вокруг невидимой оси и остановилась, лишь когда встала к противнику своею кормой. Это

разрушало весь замысел. Вести бортовой огонь стало невозможно.

Не поняв, как такое могло произойти, я оглянулся на мостик.

— Кормовой шпринг перебит! — слышался спокойный голос, разве что выкрикивавший слова чуть быстрее обычного. — Господин Кисельников, вы знаете, что делать!

Теперь я понял, что лейтенант неспроста стоит у шлюпбалки, а за надстройкой, укрываясь от неприятельского огня, жмется кучка матросов. Очевидно, Платон Платонович в своих расчетах не упустил из виду и такую вероятность, как бы мала он ни была — что турецкое ядро угодит в якорный трос.

— Ребята, баркас спускать! — завопил Кисельников звонким молодым тенором. — Будем заводить верп!

Верп — это малый запасной якорь. Я понял, в чем состоит намерение Иноземцова: развернуть «Беллону» обратно на гребной тяге и закрепить в боевой позиции верпом.

Ничего другого, пожалуй, нам и не оставалось. Одними кормовыми пушками с турецким фрегатом и береговой артиллерией биться было нельзя.

Теперь ядра и бомбы просвистывали над палубой не поперек, а продольно — со стороны юта через шкафут и бак. Я увидел, как на оборванном канате слетел вниз обломок реи — словно маятник часов — и сшиб за борт помощника рулевого, который стоял всего в нескольких шагах за капитаном.

Человека подбросило, словно тряпичную куклу. Он не успел и крикнуть.

И опять я не испугался, хотя впервые увидел смерть в бою. Во-первых, случилось это на некотором удалении, а во-вторых, матрос был мне почти незнакомый, я даже не знал его имени.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Гораздо больше меня занимали действия Кисельникова — от них теперь зависела судьба «Беллоны».

Споро и слаженно его люди спустили на воду большую 24-весельную лодку и разместились в ней. Сверху уже сползал верп, и четверо баркасных, стоя на банках, тянули руки его принять.

Я перегнулся через борт, не замечая, что приговариваю: «Быстрой, быстрой!»

Близко от баркаса взметнулся столб воды, лодку качнуло. Один из стоящих не удержался, бухнулся в море, но тут же вынырнул и товарищи за руки через корму потащили его обратно.

Внезапно — я толком не рассмотрел, как это произошло — от матроса остались только руки, а сам он будто исчез в фонтане брыз и деревянного крошева. Ядро угодило прямо в заднюю часть баркаса.

Не знаю, сколько человек погибло, — убитые ведь ушли на дно, всплыли только уцелевшие. Я увидел, как машет рукой лейтенант, подавая на фрегат какие-то знаки. Его лицо было сердито, из окровавленной щеки торчала длинная щепка. Кисельников выдернул ее, отшвырнул.

Теперь я услышал, что он кричит:

— Давай полубаркас! Полубаркас!

— Полубаркас! Надо полубаркас спускать! — со всей мочи заорал я, повернувшись к мостику.

Вот теперь пускай Платон Платонович меня заметит — нестрашно. На кой мне сидеть в каюте, если я могу приносить пользу?

Однако капитан не нуждался в подсказках. С балок уже спускали полубаркас. Прямо на тресе повисли двое — Соловейко и еще кто-то: они помогут лейтенанту и остальным выжившим залезть в лодку.

Минута, другая — и гребцы уже были на своих местах.

Но случилась новая напасть. Верп зацепился лапой за рванный край пробоины в борту. Сколько сверху ни дергали цепь — якорь встал намертво. Снизу, из лодки, до него было никак не дотянуться.

Я забыл и про вражеские ядра, и про всё остальное. Увидел, как Платон Платонович сбегает с лесенки, — и внезапно сообразил, что нужно делать.

Быстро, быстро, пока не подоспел капитан, я пробежал прямо по фальшборту до якорного клюза. Взялся за цепь, повис на ней и пополз вниз. Вот он, верп. Я уселся на его холодную чугунную лапу, как на сук дерева. Под моей тяжестью якорь подался, оторвался от обшивки, начал спускаться.

— Молодец, юнга! — крикнул мне Кисельников, и я прыгнул в руки матросов, а следом за мной подхватили и верп.

Я увидел наверху перегнувшегося через борт Иноземцова. Он смотрел на меня, покачивая головой, — будто удивлялся. Я оскалился во весь рот. А сидел бы я в каюте, ваше высокоблагородие, кому от того было бы лучше?

— И-и рраз! И-и рраз! И-и рраз! — командовал гребцам лейтенант. — Навались, ребята, навались!

Цепь натянулась. Верпущая «Беллона» медленно разворачивалась.

С высоты раскатисто прокричал Дреккен:

— Батарейные! Прицел по ватерлинии! Огонь по моей команде!

Я поднимался по веревочному трапу, когда «Беллона» дала по противнику свой первый залп — с опозданием на четверть часа против заданного времени. Успел увидеть, что большинство ядер легли в воду, с небольшим недолетом. А затем всю палубу заволокло дымом — еще более густым, чем во время боя с пароходами, потому что теперь мы стояли на месте.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Первым, кто встретил меня на палубе, был Степаныч.

— Моряк! — сказал он и съездил меня по уху, несильно. — А это, чтоб не лез, куда не просят. Дуй в трюм!

Я от него улизнул, нырнув в едкое пороховое облако. Вокруг мало что было видно. Я увидел нашу корабельную живность: пес Ялик грозно лаял в амбразуру на турок; Смолка, обхватив лапками головушку, тряслась за канатной бухтой.

— Вмазали аль нет? — спросил комендор у товарища. Через узкий порт им было не видно, куда угодил выпущенный снаряд.

— Батарейные, слушай мою команду! — послышался с небес рык старшего офицера.

Сейчас повелителем боя был он, находившийся над областью задымления, единственный зрячий на ослепшем корабле. Я побежал на голос и скоро был уже под гротом.

— Первая, три пункта выше! — выкрикнул Дреккен. — Вторая, взять гандшпугами на деление левее, угол на два пункта вверх!

Оба батарейных повторили приказ.

Я вскарабкался по вантам, чтоб посмотреть, каков будет второй залп. Он оказался точнее — от вражеского фрегата полетели клочья

— Вторая — еще деление влево! Первая — один ниже! — внес коррекцию Дреккен.

Сквозь то сгущающуюся, то прорежающуюся пелену я видел, как на мостике Платон Платонович в сердцах отставляет бесполезный бинокль и берет рупор.

— Орест Иванович, что?

— Лучше! — отвечал старший офицер. — Сейчас я их накрою! — Он протянул свой склеенный стек в сторону неприятеля. — Первая батарея, целить на четверть уг...

Меня обрызгало чем-то горячим, а у Дреккена от вытянутой руки осталась коротенькая култышка. Сам он

мотнулся, будто на шарнире, и рухнул вниз. Тело пролетело совсем близко от меня и тяжело шмякнулось о палубу. В ту же секунду другое ядро чиркнуло по мачте у меня над головой.

Перебирая руками, даже не пытаясь нащупать ногами перекладки, я проворно слетел вниз, в спасительную мглу.

Но она вдруг вспыхнула розово-багровым светом — в пяти шагах на палубе шипела и подпрыгивала бомба, роняя искры из фитиля.

Кто-то из команды Степаныча кинулся на бомбу сверху, накрыв ее куском брезента. Я кубарем скатился по лесенке грот-люка. Так до сих пор и не знаю, удалось отчаянному матросу загасить фитиль или нет. Наверху беспрерывно что-то грохотало и взрывалось.

Вот когда мне впервые стало жутко. Еще не по-настоящему, не до потери себя, но кураж слетел, руки дрожали, а ноги подгибались.

Теперь я был не прочь посидеть и в каюте, благо свой вклад в общее дело я уже внес.

Но идти туда пришлось через ту часть трюма, что на время переоборудовали в лазарет. И было там, пожалуй, страшней, чем на верхней палубе.

На полу лежали раненые. Одни выли, другие скрипели зубами, третьи не издавали ни звука.

Первым, кого я увидел, был отец Варнава в полном облачении. Он наклонился над человеком с лицом, сплюснутым в кровавую лепешку, поднес к этому ужасу иконку и не нашел, куда ее приложить.

— Прими, Господи, душу раба твоего... — Священник запнулся, он тоже не мог опознать покойника. — ...Имя коему Ты, Господи, веси.

Из-под золоченой ризы у попа высунулся полосатый рукав тельняшки. Батюшка рассеянно запихнул его об-

ратно и перешел к следующему новопреставленному. Их таких лежало в ряд не меньше десятка.

Тут же на столе деловито двигал локтем лекарь Шрамм. После каждого его движения со стола раздавался дикий вопль — будто Осип Карлович играл на каком-то невиданном музыкальном инструменте. Я не сразу понял, что делает врач. Заглянул сбоку — стало дурно.

На столе лежал Дреккен с бело-серым лицом, в зубах у него был зажат кусок деревяшки. Хирург отпиливал старшему офицеру у самого плеча остаток оторванной руки. Мощный рывок, скрежет, вопль — по лицу Шрамма, наискось, запачкав стекла, брызнула кровь. Лекарь стер ее рукавом, а несчастный Дракин захрипел и обмяк.

— Spiritus vini! — хрипло приказал Осип Карлович помощнику, вынув из нагрудника на грязном кожаном фартуке иглу с ниткой.

— Не ему, полфан, мне! — рявкнул он, когда фельдшер сунулся с флягой к губам потерявшего сознание Дреккена. И сделал несколько жадных глотков.

Меня замутило. Развернувшись, я кинулся назад к лестнице. Уж лучше там, в дыму, под ядрами, чем в этой преисподней!

На верхней палубе я виновато огляделся. Кажется, никто не заметил моего постыдного бегства. И мудрено было бы, в таком чаду.

Я знал, где вновь обрету присутствие духа — близ Платона Платоновича. И вжал голову в плечи, побежал к квартердеку.

Но и там, наверху, было тревожно.

— Вы не можете мне отказать, господин капитан! — кричал сердитый молодой голос — это был Кисельников. — Во-первых, у меня на учениях отличный результат

по стрельбе. Во-вторых, меня перевязали и я прекрасно себя чувствую. В-третьих, я все равно торчу без дела!

Невероятно: лейтенант (лицо его было наполовину закрыто бинтом) наступал на Платона Платоновича, размахивая руками.

Я вдруг понял, что с «Беллоны» уже несколько минут почти не стреляют. Без Дреккена корректировать огонь стало некому.

За спиной у капитана маячил Джанко, свирепо сверля взглядом разбушевавшегося лейтенанта. Иноземцов, однако, был спокоен.

— Нет уж, Василий Матвеевич, — миролюбиво молвил он. — Мне, знаете, без дела тоже скучно-с. Вы пока что встаньте на мое место. Мало ли что-с.

Он быстро сбежал по ступенькам, не заметив меня.

Куда бы это?

Я кинулся вслед, чуть не столкнувшись с индейцем, тоже не отстававшим от капитана.

А Иноземцов, оказывается, решил сам руководить пушечной стрельбой. Добежав до грота, он с ловкостью, какой я в нем и не подозревал, стал карабкаться по вантам и очень скоро исчез в дымном облаке. Я, конечно, тоже полез. Мне казалось, что рядом с Платоном Платоновичем я буду в безопасности.

— Первая, возвышение полтора! — раздалась усиленная рупором команда. — Вторая, возвышение два!

Приказ повторили в два голоса, наверху и внизу. Ударили пушки.

И мне сразу стало спокойней. Я поднялся повыше. Сверкающие штиблеты Платона Платоновича (это я с вечера начистил их до зеркальности) были в футе от моего носа. Расположился я преотлично: в сумеречной области между светом и мглою, так что мог видеть и турок, и — сквозь туман — кое-что из происходящего у нас на палубе.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Капитан дал поправку, и следующим залпом ихний фрегат накрыло основательно — почти все выстрелы легли в цель.

На мостике турецкого корабля размахивал руками человечек в красной феске — мне показалось, что он тычет рукой в мою сторону. По мачтам полезли синие фигурки с ружьями за спиной. Расположились на вантах и реях, окутались облачками дыма — и сразу же воздух вокруг меня зажужжал, засвистел.

Я догадался: вражеский капитан приказал штуцерникам ссадить с грота русского корректировщика. Стреляли они метко.

Платон Платонович воскликнул: «Черт побери!» — что было для него очень сильным ругательством.

Я испугался, не ранен ли — но нет, это одна из пуль выбила у него из руки рупор, и тот отлетел в сторону.

— Первая, прицел тот же! Кугелями! — надсадно крикнул Иноземцов. — Вторая, полпункта ниже!

— Что? Что?

Внизу не слышали!

Платон Платонович попробовал громче — и закашлялся.

Тогда я изо всей мочи проорал:

— Первая, прицел тот же, кугелями! Вторая, полпункта ниже!

— Есть кугелями! Есть ниже! — откликнулись батареи.

Нога в сверкающем штиблете дернулась, будто хотела меня лягнуть.

— Марш отсюда, юнга! — просипел капитан. — Пришли кого-нибудь другого! Брысь!

Я сполз пониже, но уйти не ушел. Внизу, под мачтой стоял Степаныч, грозил мне багром. Роба у него была красная, свирепая. Я осклабился, гордясь тем, какой я герой.

Здесь случилось невообразимое. Прямо под ногами у Степаныча хлопнул и раскрылся огненный цветок. Бомба швырнуло о мачту, и он тут же весь вспыхнул, словно просмоленная ветошь.

Я впервые увидел вблизи, как разрывается зажигательная бомба. С ревом, какой никак не могло издавать человеческое существо, живой факел покатился по палубе.

От кошмарного этого зрелища я вновь метнулся вверх по вантам. Канатная перекладина, за которую я хотел взяться, лопнула, рассеченная пополам, и моя рука цапнула воздух. Я чуть не сорвался. Ухватился за рею — в нее с чмоканьем ударила пуля. Другая звонко отрикошетила от медного кольца прямо мне в грудь. Там что-то хрустнуло, и я понял: мое сердце пробито. Прижал ладонь к простреленной блузе — на ладони остались прозрачные крошки. Я вытянул ладанок. В нем чернела дырка. Портрет в медальоне не пострадал, но стекло разлетелось на мелкие кусочки.

Вокруг рвались паруса и канаты, летели щепки. Каждый из кусочков металла, летевших так густо, мог меня убить, покалечить, сбить с вантов вниз, где пылал костром Степаныч.

Голова моя загудела, словно в ней поселился огромный шмель. Ноги окаменели. Пальцы скрючились. Я и хотел бы спуститься вниз, подальше от звенящих пуль, но не мог пошевелиться. Двигалась только шея.

(Точно такое же оцепенение нашло на меня сейчас, когда я неотрывно гляжу на увеличивающуюся черную точку.)

— Первая, еще на полпункта ниже! — надрывался где-то сиплый голос. — Вторая, перейти на кугеля!

Снизу кричали:

— Не слышно! Юнга, ты цел? Не слышно!

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Горло у меня перехватило. Если б я и хотел, не мог бы произнести ни звука. Но хотел я сейчас только одного: чтобы всё это кончилось, и я оказался в трюме, и залез под самую низкую лавку и никто никогда меня оттуда бы не вытащил.

— Юнга, что капитан? Не молчи!

Это кричали уже от подножия мачты. Кто-то лез ко мне, быстро перебирая руками.

Джанко. В зубах он держал кожаный рупор Платона Платоновича. «Спаси меня!» — думал взмолиться я, но издал жалобный, нечленораздельный писк.

Поравнявшись, индеец ткнул меня под ключицу — пальцем, но было так больно, словно он пырнул ножом. Я взвизгнул и обнаружил, что снова могу двигаться. Джанко схватил меня за ворот и рванул. Он хочет меня скинуть, за трусость! Я метнулся от дикого человека за мачту. Тогда индеец кивнул и полез дальше.

В дерево то и дело били пули, но с другой стороны. Я понял: индеец нарочно толкнул меня, чтоб я укрылся от огня за гротом.

— Первая, еще на полпункта ниже! Вторая, перейти на кугеля! — скомандовал надо мной усиленный рупором голос капитана.

— Есть ниже! Есть на кугеля!

Пальба сразу участилась.

Я осторожно высунулся, взглядываясь во мглу.

Капитан был на том же месте, только без фуражки, должно быть, сбитой пулей. Прямо перед Платоном Платоновичем, заслоняя его спиной, на рее стоял Джанко. Его челюсти мерно двигались, лицо было бесстрастным. Над замшевой рубахой болтался на шнурке медвежий коготь.

— Уйди к черту! — зашипел на него Иноземцов. И в рупор: — Так держать! Чаше огонь! ...Ты что мне тут устраиваешь, негодяй?!

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Он толкнул индейца в грудь — у того от обиды дернулась щека.

— Мне няньки не надобны! — хрипел капитан. — Я тебя на берег спишу, мерзавец!

У Джанко по лицу снова прошла гримаса. Платон Платонович никогда его так не обзывал — я, во всяком случае, не слышал.

— ...Всё, мое терпение лопнуло! Видеть тебя больше не желаю! — Он схватил индейца за горло.

У Джанко мотнулась голова, но с реи он не сошел.

На «Беллоне» все дружно завопили. Даже сквозь дым было видно, как на турецком фрегате запылал пожар, а я со своей верхотуры мог рассмотреть и подробности.

Там повалилась охваченная пламенем грот-мачта, с нее в воду посыпались стрелки. Горела вся палуба, на мостике метался человек в красной феске, а с флагштока рывками сползал флаг.

— Прекратить огонь! — крикнул Иноземцов. — Противник сдается! Господин Кисельников, шлюпки на воду!

И он отложил рупор, схватил индейца теперь уже двумя руками.

— ...Ну всё, теперь я с тобой потолкую!

Джанко обвис и начал заваливаться с реи. Еле-еле успел Платон Платонович притянуть его к себе. Я увидел, как вниз пурпурными шариками летят капли крови.

Капитан стоял, крепко прижимая к себе индейца. У того моталась голова, а на спине — я увидел — расплывались три темных пятна.

— Эй, сюда, сюда! — отчаянно засипел Иноземцов. — Помогите! Джанко! Джанко...

Он не мог воспользоваться рупором, но канонада уже стихала и капитана услышали.

По вантам мимо меня быстро поднялись сразу несколько матросов. Стараясь не попасться им на глаза, я соскользнул по тросу вниз.

Хотя пушки фрегата не стреляли, воздух не звенел от пуль, а на палубе не рвались бомбы, в ушах у меня по-прежнему стоял гул, а зубы щелкали. Хуже того — оказалось, что штаны на мне сырые и зловонные. Лишь теперь я понял, что обмарался от ужаса, и сам не заметил, в какой именно момент это произошло.

Шмыгнуть в трюм, как я собирался, не удалось. Меня грубо схватил за плечо Соловейко. Его лицо было в черных полосах от пороховой копоти, рубаха опалена, на шее багровела ссадина.

— Дай-ка сюда... — Сморщив нос, он сдернул мой головной убор, сорвал с нее георгиевскую ленточку и нахлобучил опозоренную бескозырку обратно. — Куренок ты обосранный, а не моряк.

С ревом, размазывая слезы, кинулся я от него к борту. Мне неудержимо хотелось сигануть в воду — уж не знаю, думал я утопиться или отмыться. Однако стоило мне увидеть море, над которым уже начинал развеиваться серый дым, как я тут же позабыл о своем намерении.

Вид бухты, открывшийся моему взору, был страшен.

Сражение подходило к концу. Часть турецких кораблей пылала, часть выбросилась на берег. Город был охвачен пожаром — черные столбы поднимались в небо сразу во многих местах.

Но всего ужасней было то, что вода близ вражеских кораблей кишела людьми — холодная ноябрьская вода, покрытая обломками, плавающими шапками и пятнами горящего масла. Кто-то там, в этой каше, размахивал руками, кто-то взывал о помощи, кто-то исчез прямо на моих глазах и больше не вынырнул.

Мимо меня, семена, на руках пронесли Джанко, чтобы спустить в лазарет, но оттуда уже поднимался врач. Он вытирал красные от крови руки и хмурился, слушая взволнованного капитана.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

— Нато смотреть, — сказал Шрамм. — Кладите, кладите.

Индейца уложили ничком на палубу. Осип Карлович присел на корточки, задрал простреленную рубаху. Ткнул чем-то в одно пулевое отверстие, поковырял в другом, в третьем. Джанко не охнул, не пошевелился.

— Осип Карлович, ну что?

— Три пули, — объявил лекарь то, что и так было видно. — Одно ранение очень тяжелое.

— А два остальных? — спросил Иноземцов. Я увидел, как он за спиной сжимает кулаки.

— Два остальные смертельные. Я пойду. У меня дфад-цать дфа раненых, кого еще можно спасти...

И пошел себе, черствая немецкая душа. Капитан опустился на колени, попробовал заглянуть индейцу в лицо.

— Джанко, Джанко! Ты меня слышишь?

Я тоже хотел подойти, попрощаться, но не осмелился.

Вдруг где-то близко грянул пушечный залп. Я чуть не подскочил. Неужто еще не кончено?

К Платону Платоновичу подбежал Кисельников.

— Господин капитан! Флагман салютует. Победа! Прикажете отвечать?

— Как хотите, — вяло ответил тот и закрыл лоб рукой.

Адмиральский корабль плыл на всех парусах вдоль батальной линии, паля холостыми с обоих бортов. На вантах, размахивая шапками, густо висели матросы.

Наши тоже полезли наверх, заорали. Грянуло раскатистое «ура».

Ликовали все. Только Платон Платонович понуро сидел над своим старым товарищем, да я, спрятавшись за горячей пушкой, безутешно рыдал. Не о Джанко. О себе.

Да уж. Всякое потом было. Случались вещи и постыднее. Но хуже дня в моей жизни, ей-богу, не было.

КОНЕЦ ЖИЗНИ

И сразу после горького Синопского дня я вижу удаляющуюся за горизонт «Беллону».

Я стою у окна, смотрю на хмурое море и зябко ежусь. Мне очень холодно. Я уже несколько дней никак не могу согреться. С той минуты, когда Соловейко сорвал с меня бескозырку.

Все мои мысли о смерти. Жизнь кончена. Человеку, с которым случилось то, что случилось со мной, жить незачем — только вспоминать свой стыд и попусту мучиться. Я оказался трусом, я предал Платона Платоновича, подвел своих товарищей, опозорил звание русского матроса. Оставалось лишь исполнить волю капитана, а потом я мог распорядиться своей никчемной жизнью, как она того заслуживала...

Через три дня после сражения, когда «Беллона» входила на Севастопольский рейд, Джанко был еще жив. Он лежал в капитанской каюте на койке, не приходя в сознание. Доктор Шрамм каждое утро говорил, что раненый испустит дух до заката солнца, а каждый вечер утверждал, что индейцу не дотянуть до восхода. Но дух в американском дикаре был цепляющий и медлил расставаться с простреленным телом.

Фрегат зашел в гавань на короткое время: починил снасти, принял пополнение и уже на четвертый день ушел в новое плавание. Из кораблей эскадры, участвовавшей в битве, «Беллона» получила наименьшие повреждения — это потому что турки сосредоточили главный свой огонь на нашей грот-мачте, в борту же пробоин оказалось немного.

Меня оставили на берегу, и я принял изгнание как должное. Платон Платонович, добрая душа, не попрек-

нул меня за трусость ни единым словом. Наоборот, сказал, что я с верпом проявил себя молодцом, а на мачту под штуцерные пули лезть было незачем. Но я-то знал про себя, какая мне цена, и только вздыхал, не смея поднять глаз.

Иноземцов приказал — нет, попросил, — чтобы я неотлучно находился при умирающем. Сам капитан был слишком занят ремонтными работами и остался жить в каюте. А индейца (вместе со мной) переправили на берег, где у Платона Платоновича была казенная квартира.

Я должен был состоять при раненом до кончины, ну а поскольку Джанко до выхода «Беллоны» в море душу своему индейскому богу так и не отдал, само собою получилось, что мне судьба оставаться на берегу.

— Как умрет — похорони по ихнему обычаю, — напутствовал меня Платон Платонович, горестно вздыхая. — Найди безлюдное место где-нибудь на Мекензиевой горе. Зарой без гроба, лишь обмотай тело одеялом. Холмика не нужно, просто положи на могилу бусы и воткни перо, хорошо бы орлиное. Так у них положено, когда умирает воин... — Здесь он вынул платок и долго сморкался. — ...Сделай всё, как надо. Я на тебя, Гера, полагаюсь...

Поцеловал восковой лоб индейца, надел фуражку и ушел. А я надолго прилип к окну. Смотрел, как к «Беллоне» подплывает шлюпка, как фрегат снимается с якоря, как идет к выходу из бухты, а потом, на просторе, одевается парусами и летит в открытое море.

Когда море опустело, я занялся последними приготовлениями.

Береговая квартира у Иноземцова была почти пустая и мало интересная, не то что каюта. За минувшие дни я ее уже досконально изучил, перерыл все вещи и нашел искомое: большой пистолет с круглой катушкой на шесть пуль (называется «револьвер»). Другой точно такой же

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

был у Платона Платоновича на корабле, и я видел, как с этой штуковиной нужно управляться. Засыпать в гнезда порох, вставить пули, забить пыжом. Приладить капсюли.

Похороню Джанко в сырой земле — сам тоже на белом свете не задержусь. Исчезну, и никто меня не отыщет.

Был один знак, явленный персонально мне и означавший, что постыдным поведением во время боя я погубил не только свою честь, но и надежду на чудо, которое до того дня вело меня за собою, словно путеводная звезда.

Наутро после битвы и бессонной слезливой ночи я тайком достал свой медальон, чтобы найти утешение в лицезрении милых черт. Но вместо дорогого лица обнаружил лишь черное пятно! С темноволосой соседкой Девы ничего не случилось, она глядела на меня требовательно и строго, прикрытая уцелевшим осколком стекла. Тут-то я и понял: ничего не будет. Кончено. Жалкому, обмаравшемуся куренку чуда ждать нечего. (Это я теперь знаю, что при попадании воздуха дагерротип может окислиться и почернеть, а тогда воспринял новое несчастье как заслуженную кару.)

Не нужно думать, что я так легко отказался от мечты, которая составляла главный стержень моего существования. Оставшись наедине с Джанко, я, конечно, сразу же полез в его заветную сумку и нашел в ней сложенный листок желтой бумаги. Там действительно что-то было накарябано карандашом, но почерк дагерротиписта разобрать я не мог: ни имени, ни адреса. Кажется, хозяин лавки прочитал их индейцу вслух, да я снаружи не расслышал, а теперь Джанко унесет эту тайну с собою в могилу. С трудом разобрал я, что два последних слова вроде бы начинаются с «М» и «П» — и только.

Само собой, сбегал я и на Екатерининскую. Но лавка стояла заколоченная, без вывески. Должно быть, евро-

пейская новинка не привлекла достаточное количество клиентов, и портретисту пришлось закрыть предприятие.

Все нити были оборваны. И это показалось мне справедливым. Какое у меня право искать встречи с Девой? Будь я рыцарь или богатырь — иное дело.

Но жить без мечты я уже не смог бы. Вот зачем понадобился мне пистолет.

Спускаюсь в пещеру, закрою за собой люк. Запалю факела, посмотрю на свою несбывшуюся грезу в последний раз и снесу себе башку. Буду лежать там, в подземной тьме грудой костей до скончания века. Может, в потусторонней жизни оно сложится как-то иначе...

Я был уверен, что сегодня Джанко точно преставится. На самом-то деле я давно уже догадался: дух индейца не расстается с плотью, пока Платон Платонович близко. А ныне, когда капитан на «Беллоне» ушел в море, невидимая нитка оборвется.

До такой степени я в этом не сомневался, что мешкать не стал. Сбежал на Привоз, где можно было достать всё на свете. Купил у чучельщика самое длинное орлиное перо, нанял могильщиков — двух греков разбойного вида, которые сказали, что за десять рублей они не то что мертвеца, но и живого закопают, где я пожелаю. Таких-то мне и было нужно.

Со своей маджарой, в которую был запряжен крепкий мул, греки сидели во дворе и пили вино, тихо переговариваясь. Уговор был, что сидеть они будут до тех пор, пока я оплачиваю выпивку, а денег Платон Платонович мне оставил много, моим разбойникам хватило бы упиться до смерти.

Время от времени я наведывался посмотреть — отошел индеец или еще нет. Джанко лежал на животе, в одной набедренной повязке, плотно обмотанный бинтами.

Я несколько раз накрывал его, но вернусь — одеяло откинуто. Уж не знаю, как это он, бесчувственный, проделывал, однако в конце концов укутывать его я перестал. Догадался, что раскрытым ему почему-то лучше.

Комната Джанко была единственным интересным местом в необжитой квартире. Посередине на четырех шестах висел полотняный навес. Снизу там было наложено солнце с лучами, синее небо, белые облака. Под этой красотой индеец спал, когда доводилось ночевать на берегу; здесь же проводил он и свои последние дни.

Вот я наклонился над раненым. Его голова лежала щекой на плоском камне, который, как объяснил Платон Платонович, заменял индейцу подушку. Поднес к ноздрям зеркальце — оно слегка затуманилось. Дышит.

Я протер запекшиеся губы страдальца влажной тряпкой. Вдохнул, огляделся. По одной стене сплошь шли грубо сколоченные полки. На них стояли склянки, а в них — я уже изучил — всякая дрянь: какие-то сушеные насекомые, плавающая в масле змеюка, маринованная ящерица, огромный мохнатоногий паук и много еще чего. Были там особенным образом разложенные пучки травы, горки семян, корешки, порошки в баночках. Целая колдовская аптека.

Я достал из-под рубахи револьвер, засунутый за ремень штанов. Заглянул в черное дуло. Скорей бы уж. И чего я, дурак, так напугался турецких пуль? Ну, убило бы меня. Помер бы героем, Платон Платонович бы надо мною в платок засморкался, товарищи положили бы на грудь бескозырку с ленточкой, а Дева встретила бы меня в своем мозаичном мире и улыбнулась... Всё одно ведь жить не буду. Только еще и в ад попаду, как предписано самоубийцам.

Кабы кто мне перед сражением всё это заранее разъяснил, я нипочем бы не перетрусил. Ей-богу.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Убрал я оружие, повернулся — и обмер. Джанко лежал бледный и с закрытыми глазами, но на спине! Как это он сумел перевернуться?

Я позвал его по имени — молчание. Нагнулся — дыхание такое же слабое.

Из-за пазухи у меня свесился ладанок, закачался над лицом раненого.

Вдруг поднялась костлявая рука, схватила мешочек. Ресницы дрогнули. Прямо на меня не мигая смотрели черные глаза индейца!

— Ты меня видишь? Слышишь? — прошептал я, боясь пошевелиться.

Пускай держится за медальон, не жалко. Доктор говорил, что перед концом бывает агония — к умирающему на время будто возвращаются силы, а сразу вслед за тем наступает смерть.

Джанко перевел взгляд на ладанок.

— Хочешь посмотреть? На. — Я осторожно разогнул его пальцы, вынул портретик. — Только нету ее больше. Почернела.

Но индеец посмотрел на дагерротип долгим взглядом и, мне показалось, остался доволен. Даже подмигнул мне — или, может, просто веко дернулось.

— Дать чего? — спросил я. — Воды?

Он покачал головой и показал куда-то подрагивающим пальцем.

В окошко постучали. За стеклом маячила небритая рожа одного из могильщиков.

— Не помер еще? Кувшин-то пустой.

Я отмахнулся: не до тебя.

— Чего ты хочешь, Джанко?

Палец больше не дрожал, он показывал в некую точку.

— Дать ту миску?

Кивнул.

Миска была большая, глиняная, разрисованная разными узорами.

Палец переместился в сторону.

— Банку с гадюкой? На что она тебе?

Он изобразил, будто что-то вытягивает.

— Змею достать?

Кивок.

Чего не сделаешь для умирающего. Хоть и противно было, но открыл я банку, вынул оттуда склизкую, мерзкую тварь.

Снова пальцы делали какие-то движения. Я понял не сразу.

— Давить в миску? Ладно...

Гадливо скривившись, я стал сжимать гадину. Из нее в миску полилась желтая, тягучая жидкость, похожая на гной. Запахло гнилью.

— Теперь доволен? И чего дальше?

Оказалось, что то же самое я должен проделать с пауком и ящерицей, а потом посыпать в эту отвратительную бурду три разных порошка, да мелко нарезать корешок, похожий на сушеную сколопендру.

Пальцем Джанко стал делать вращательные движения. Я догадался, что должен перемешать зелье.

Перемешал.

Потом, повинуясь не всегда сразу понятным жестам, я снял с самой верхней полки головную повязку с цветными перьями, ожерелье из больших синих бусин и два манжета из мелких шариков навроде бисера, тоже густо утыканные перьями.

— Надеть всё это на тебя?

Покачал головой. Палец указывал мне на грудь.

— Хочешь, чтоб я надел?

Кивок.

Ладно. Я снял рубаху, обрядился по-индейски. Поглядел на себя в зеркало — петух петухом. А когда повернулся, Джанко опять лежал на животе. И снова я не заметил, как он сумел перевернуться.

В такой позе тыкать пальцем ему было трудней. Прошло немало времени, прежде чем я уразумел: нужно взять с полки бубен и колотушку, а бинты с ран снять.

Спорить я не пытался. Мало ли какие у них, язычников, обычаи. У нас причащают и соборуют, а у них, может, человека вместо елеля мажут соком разных гадов, а в бубен колотят, как у нас кадиллом машут.

Пахучей мазью я намазал дырки от пуль, затянувшиеся черной коростой. Потом Джанко начал часто-часто пошлепывать ладонью по полу. Я стал бить в бубен. Сначала неуверенно, но звук оказался чистый, глубокий, проникающий прямо в мозг. Хлопать по полу индеец перестал, только когда я попал в нужный ему ритм: донг-донг-донг-донг-донг-донг-донг, как дятел стучит, только раз в десять быстрее. После этого рука нырнула куда-то и высунулась, сжимая медвежий коготь. Глаз Джанко закрылся.

Донг-донг-донг-донг-донг-донг...

Бубном стала моя голова, она звенела и гудела, от нее исходили жаркие волны, сотрясавшие всё мое тело. Я задрал голову к потолку и увидел синее небо, облака, а солнце палило с такой нестерпимой силой, что я зажмурился, но даже сквозь веки видел яркое сияние. Локти задвигались сами собой, что не мешало мне бить колотушкой. Перья на манжетах вытянулись, затрепетали, и я оторвался от земли и полетел вверх, вверх, к солнцу. Оно притягивало меня, как мотылька притягивает светильник.

Поднявшись высоко над землей, я разгадал тайну неба. Это снизу оно кажется сплошным, а вблизи стало видно: оно всё состоит из переливчатых блесков. Как лицо Девы с настенной картины.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Она тоже где-то здесь! За облаками, летучими и не прозрачными, как пороховой дым над палубой. Или, быть может, по ту сторону солнца, которое было уже совсем рядом. По лицу ручейками лил пот, крыльям махалось всё тяжелей. Я увидел, как из них сыплются перья, падая разноцветным дождем вниз. Вот и сам я ухнул в гулкую бездну, со свистом рассекая воздух. В моей волшебной пещере тоже была такая картина: человек с крыльями вместо рук валится с неба на землю, а сверху сияет бронзовое светило...

Я ударился о твердь, но не разбился, а очнулся. Оказалось, что я сижу все там же, мокрый от пота, манжеты растрепались и лишились перьев, а головная повязка сползла на сторону. Но колотушка всё так же была в кожаный круг бубна, и я трясся в том же ритме.

Не только я. Джанко дергался в конвульсиях, его тело изгибалось, будто по нему ходили волны. Из трех ран толчками выдавливалась кровь. Вдруг в одной из дырок что-то блеснуло.

Пуля!

Она сама вылезла и бессильно скатилась на пол. За нею точно так же, одна за другой, вылезли две остальные. После этого индеец рухнул ничком и вытянулся.

Умер, подумал я — и выронил бубен.

Но Джанко не умер, он спал. И дышал не как прежде, а глубоко, ровно и спокойно. На раскрытой ладони лежал медвежий зуб.

Встряхнувшись, я окончательно пришел в себя. Перекрестился. Поднял голову — и увидел за окном две растрепанные головы с расплюснутыми о стекло носами. Это мои греки пялились на меня с ужасом.

Я вышел к ним.

— Никого пока хоронить не надо, — сказал я хрипло. — Ступайте себе. Вот ваши деньги.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Полез в карман за кошельком, но греки, переглянувшись, кинулись наутек.

— Эй, вы куда?

Сбежали. И маджару свою бросили. Я даже погнался за ними, но где там.

А вернулся — Джанко уже сидит, скрестив ноги, и с любопытством рассматривает три свинцовых шарика.

— Помирать не будешь, что ли? — вяло спросил я его, чувствуя себя совершенно разбитым.

СВЕРШИЛОСЬ

Джанко не помер. Наоборот, с того дня он быстро пошел на поправку. Пулевые дырья затянулись со сказочной быстротой, и уже на завтра их можно было не пере-
взывать.

Если до того он неделю лежал без движения, то теперь меня прямо-таки загонял. Жрал с волчьим аппетитом, я еле успевал варить его любимую картошку с мясом и покупать на базаре диковинный плод кукурузу — ее Джанко обожал еще больше, чем говядину. Мог за раз слопать дюжину початков.

Еще он требовал, чтобы я его катал. Показывал, качая ладонью перед носом, как ему необходим свежий воздух. Перепуганные колдовством греки так и не вернулись, и я обменял мула с маджарой на легонькую коляску с рессорным ходом. Уж не знаю, на каком корабле и зачем привезли в Севастополь этот игрушечный экипаж, предназначенный для катания на пони. Я карликовых лошадок видел только в капитановой энциклопедии, а в нашем городе — ни разу.

И следующая картинка, другой памятный день моей жизни, — это как я пыхчу вдоль по улице, везу раз-

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

валившегося барином индейца, а он знай покуривает трубку и стучит по ободу, чтоб я пошевеливался.

В город мы выехали в первый раз, до того катались только вокруг дома. Но сегодня Джанко потребовал — само собой, без слов, одними жестами, — чтоб я повез его, куда скажет.

Мне-то что? Повез.

Дом капитана Иноземцова находился на углу Мясного переулкa, с видом на Артиллерийскую бухту и Большой рейд. В этой части города проживало немало штаб-офицеров флота, кто не имел семьи и получал от портового комендантства казенную квартиру. Если командир корабля — с палисадником и конюшенным сараем, где я теперь и содержал даром доставшуюся колбасочку.

Пока я вез своего седока по ровной пустой улочке, как вчера и третьего дня, всё было ничего, но на углу Джанко стукнул по правой оглобле, а это означало, что нужно поворачивать вправо. Мне это не понравилось. Вправо дорога шла в гору, а кроме того через пару минут мы оказались на Большой Морской, людной улице, где все на нас пялились. Правду сказать, было на что: юнга, запряженный на манер ишака, волок в легкой тележке невиданное чучело с перьями в черных космах.

Ох, наслушался я всякого-разного. И всё снес, ни словом не огрызнулся — вот в каком я пребывал покаянном состоянии духа. Волшебное исцеление Джанко нарушило мои самоубийственные планы, но мнения о собственной персоне и мрачного взгляда на жизнь не переменило. Мне, пожалуй, даже нравилось, что я превратился в тягловое животное, — эту повинность я считал вроде епитимьи и сносил ее безропотно.

Однако индеец погонял меня, всё нетерпеливей постукивая по дереву. Я начал задыхаться и обливаться потом,

хотя день был холодный. Мы дважды свернули, поднимаясь по довольно крутому спуску.

Не удержавшись в смирении, я начал ворчать.

— Ишь, запряг! Тпрукни еще! Кобыла я тебе, что ли?

Я сердито оглянулся на Джанко, ожидая увидеть ухмылку на его костлявой физиономии, которая уже перестала быть бледной, а от картошки с мясом даже немножко замордела. Но индеец был серьезен, напряжен. В руке он держал дагерротип. После удивительной операции, в которой я исполнил роль то ли лекаря, то ли шамана, медальона Джанко мне не вернул. Предложил поменять на медвежий коготь. Возражать я не стал. Портрет, на котором вместо волшебного лица чернело пятно, стал мне не в радость, а индейский оберег, пожалуй, пригодился бы. Я предполагал, что этот талисман и спас Джанко от неминуемой гибели, не дал помереть от смертельных ран. Теперь коготь висел у меня на груди, под блузой.

Индеец ткнул пальцем в подворотню каменного двухэтажного дома, в котором располагалось какое-то присутствие.

— Сюда? — спросил я. — А чего здесь?

Он пожал плечами и показал: заката туда коляску и будем ждать.

Ладно, стали ждать. Он курил свою трубку, я — свою. Сидеть на корточках лучше, чем переться в гору с тяжелым прицепом.

Проторчали мы в подворотне долго, я успел соскучиться и замерзнуть. Индейцу-то хорошо, он закутался в одеяло, а я пожалел, что не прихватил с собою бушлата. Осень в тот год выдалась долгая и мягкая, а все-таки был конец ноября.

Несколько раз я предлагал двигаться дальше, но Джанко отмахивался от меня, как от назойливой мухи.

Вдруг приложил палец к губам и показал: спрячься!

Я прижался к стене.

Мимо шла чинная процессия. Женщина в шляпке и темно-серой крылатке вела выводок девочек разного возраста. Все они были одинаково одеты, в такие же серые пальто с пелериной и капоры, обвязанные белой лентой. Шли парами, держась за руки: впереди маленькие, сзади — старшие, уже совсем девушки. Это были воспитанницы Морского пансиона, где за казенный счет содержали девочек-сирот, дочерей флотских офицеров. Серых пансионеров мне доводилось видеть и раньше. Интерес у меня они не вызвали, а больше на улице никого не было, как я ни высовывался из подворотни.

— Куда смотреть-то?

Вот те раз! Мой хворый индеец, оказывается, соскочил с сиденья и, хищно пригнувшись, глядел вслед девичьему выводу. Что он там мог увидеть?

Я с удивлением воззрился на удаляющихся пансионеров. Мой взгляд остановился на паре, которая замыкала шествие. Одна барышня была крупная и высокая, вторая тоненькая, пониже ростом. Вдруг, словно почувствовав мой вопросительный взор или ощутив некий сигнал, та что посубтильней, обернулась. Всего на мгновение — я едва успел увидеть заостренное к подбородку, немного удивленное лицо.

Это была Она!

Мгновение, замри. Пребудь со мною вечно. Пускай всегда, до скончания времен я вижу перед собой Ту, которой единственной принадлежу весь, без остатка. Я хотел бы, чтобы миг, когда я впервые узрел мою Диану наяву, а не в мозаичной неподвижности и не в грезах, сиял предо мной и никогда не мерк. Но он не померкнет, я знаю.

Конечно, я не знал тогда ее имени. Я вообще усомнился — не примерещилось ли чудесное видение. Пансионерка отвернулась, и я подумал, что переливчатый свет ноябрьского дня сыграл со мной злую шутку.

Но Джанко пихал меня в бок, что-то желтело в его руке. Я развернул бумажку — ту самую, из дагерротипной лавки. Запись была все так же неразборчива, но заглавные буквы в адресе — «МП» — заставили меня вздрогнуть. «Морской пансион» — вот что там было написано!

— Это она? Она? — задыхаясь и не веря воскликнул я. — Она... живая? Но имя, я не могу прочесть... Что это за буква? Это «А»?

Индеец смотрел на меня сердито. Если он и помнил имя, то повторить его не мог. Толкнул меня, показал: догоняй. И приложил палец к губам: только тихо!

— За ней бечь? — пролепетал я. — А ты как же?

Тут он на меня замахнулся, и я сорвался с места. Процессия уже скрылась за углом, но я знал, куда она движется. До двухэтажного особняка, в котором помещался Морской пансион, было рукой подать. Лишь теперь я понял, зачем Джанко меня сюда привел: в это время воспитанницы обычно возвращались из церкви. На улице, где пансион, подворотен нет, не спрячешься, а здесь было удобное место для наблюдения.

Веря и не веря, я добежал до угла, осторожно выглянул.

Они стояли у крыльца пансиона, собравшись вокруг воспитательницы, которая делала какое-то объявление. Я не мог различить в этой темно-серой толпе девочку, которая *показалась мне похожей на Деву*. Даже мысленно я не решался выразиться определенной.

Никто на меня не смотрел. Можно было подойти поближе.

— ...самостоятельно до обеда. Будьте хорошими девочками, не шалите, во всем слушайтесь Эрнестину Ни-

колаевну. — Воспитательница стояла ко мне вполоборота, я видел лишь черные пышные локоны. Голос был молодой, очень звучный и приятный (сейчас я бы сказал «мелодичный»). — Крестинская, Божко, Короленко и Спицына, вы пойдете ко мне домой, на урок музыки. Остальные — в дортуар. До скорого свидания.

— До свиданья, Агриппина Львовна! — ответили два десятка звонких голосов.

Девочки галдя и толкаясь кинулись к входу.

Подле черноволосой дамы остались четверо. Уже не строем, а вольно они пошли за своей Агриппиной Львовной в сторону Продольных улиц. Я заметался, не зная, где Она — вошла ли в дом, отправилась ли за учительницей.

В пансион все равно проникнуть было невозможно, а одна из спутниц дамы, шедшая слева, была тоненькая и невысокая. Похожа!

Некоторое время я крался сзади, терзаясь сомнениями. Девушка, которую я пожирал глазами, больше не обращивалась.

Но слежка продолжалась недолго. На тихой улице — ее названия я не знал — перед особнячком с надстройкой (называется «мезонин») женщина и четверо пансионеров остановились. Я спрятался за дерево. Их тут было много, деревьев. По-вдоль тротуара вереницей выстроились липы, а над каменной стеной, соединявшей этот дом с соседним, нависал ветвистый дуб. Летом здесь, наверное, было хорошо, тенисто.

Пока учительница доставала из сумочки ключ и отпирала дверь, воспитанницы разговаривали меж собой. Три повернулись в мою сторону: одна аккуратненькая, с кукольным личиком, другая рослая и круглощекая, третья щупленькая и забавная, в веснушках. Лишь та, из-за которой колотилось сердце, оставалась ко мне спиной.

«Повернись, повернись!» — умолял я.

— Входите, девочки.

Брюнетка (я по-прежнему на нее не смотрел) распахнула створку. Прежде чем войти, Она наконец оглянулась — и на сей раз дала себя рассмотреть как следует. Меня она не заметила, но что-то все-таки чувствовала. В черных глазах, оглядывавших улицу, читалось недоумение или, может быть, ожидание.

Всякие сомнения отпали. Это была Она, девушка с дагерротипа. А стало быть и с мозаики. Я не перепутал бы этот пристальный взгляд ни с каким другим.

И прическа, и контур лица, и строгий рисунок маленького рта — всё совпадало.

У меня нет объяснения чуду, которое определило мою судьбу. Не знаю, как вышло, что севастопольская девочка, воспитанница Морского Пансиона, оказалась так поразительно похожа на Деву из потайной пещеры. Может быть, я просто очень сильно хотел, чтобы заколдованная красавица ожила — и обмер от первого же девичьего лица, которое напоминало настенную картину.

Забегая вперед, скажу, что, когда я после долгой отлучки вновь оказался в своей пещере, то испытал легкое разочарование. Мозаичная Дева была хуже живой Дианы. Мне даже померещилось, что изображение стало немного другим — не таким, каким я его лелеял в памяти, плавая по морю. Подозреваю, что лицо с дагерротипа наложилось на этот зрительный образ и отчасти его подменило.

Но не буду про это. Зачем обрывать одно из самых драгоценных воспоминаний моей жизни?

Когда они вошли, я подбежал к двери и прочел надпись на медной табличке:

Африппина Львовна ИПСИМАНЯТИ

Что делать дальше, я не знал, однако не ушел бы с этого места ни за что на свете. После случившегося волшебства я был готов допустить что угодно. Например, что дом заколдованный и что я его никогда больше не найду. Подозрение мое усилилось, когда изнутри донеслись райские звуки: кто-то заиграл на пианино — несравненно искусней, чем лейтенант Кисельников в кают-компании, и нежные голоса запели до того сладко, что наяву подобной красоты существовать никак не могло.

Чародейская музыка манила меня и притягивала. Я не мог противиться этой засасывающей силе.

Вот когда пригодилось умение карабкаться на мачты.

Одним духом влез я на ближайшую липу, с нее перепрыгнул на гребень стены.

Увидел двор с пожухшей клумбой. Чудесные звуки лились из открытого окна, но спрыгнуть вниз я не решился — меня могли заметить. К тому же мне не понравилась собачья будка подле крылечка. Она была какая-то неестественно большая. И судя по звяканью цепи, не пустая.

Но раскидистый дуб тянул ко мне свои мощные ветви, и я легко перескочил на ближайшую. Она качнулась, но выдержала.

Дальше просто. Я перебрался к самому стволу, спрятавшись за ним. Точка обзора была отменная, а если выражаться изящно — идеальная.

Осеннее солнце к полудню хорошо прогрело воздух. Потому-то, на мое счастье, окно и было открыто.

С дуба отлично просматривалась вся комната, освещенная мягкими лучами. Благодаря природной зоркости, усиленной возбуждением, я мог видеть всё до мелочей, но первое время, конечно, глядел только на Нее.

Она стояла ближе всего к пианино, на котором играла дама. Три остальные пансионерки расположились в ряд чуть поодаль.

Боже, какой у Нее был голос! Пела она не по-нашему, непонятно — но где сказано, что ангельские песнопения вняты человеческому уху? Хрустальной чистоты звуки трепетали и воспаряли, так что замирало сердце. Когда же напев подхватили еще три голоса — низкий, тоненький и звонкий, мне показалось, что я сейчас умру от неизъяснимого блаженства.

Но мелодия оборвалась на середине, на полпути к небу. Я чуть не взвыл от разочарования.

Женщина за роялем сказала:

— Нет-нет. Контральто, не сбиваться с октавы. А вы, Крестинская, не грассируйте так нарочито в слове «россиньоль», это получается уже не французское «эр», а малороссийское «хэ». Ну-ка, еще раз, сначала...

Я узнал ее!

Это она на дагерротипе касалась плечом моей расколдованной Девы. Я не слишком удивился и не задержал на брюнетке взгляда. Отметил лишь, что она молода и, кажется, красива. Хотя, конечно, рядом с Ней всякая другая красота меркла. Например, очень ладненькая девица в золотых кудряшках, которая как-то не так выпевала «эр», показалась мне бесцветной, две другие — вовсе уродинами.

Они спели то же самое еще раз, часто повторяя одну и ту же фразу «россиньоль-амурё» (после я узнал, что на французском она значит «влюбленные соловьи»). Однако теперь Она оперлась локотком о крышку инструмента и повернулась ко мне спиной, поэтому мелодия отчасти утратила свое очарование, и я позволил себе осмотреть гостиную.

Комната была не особенно большая, но очень опрятная и, на мой взгляд, чудесно обставленная. (Теперь-то я понимаю, что Агриппина Львовна жила весьма скромно,

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

и эта комната, самая просторная и нарядная в доме, служила одновременно гостиной и столовой.) Два предмета привлекли мое внимание. Сначала — бронзовая статуя аршина в полтора на отдельной подставке: голая молодуха с луком и стрелами. Я бы охотно ее поразглядывал, но при Деве постеснялся. А еще на стене висел портрет молоденького мичмана, причем угол картины был перетянут черной лентой. Ну ясно: погиб в сражении или потонул, обычное дело. Должно быть, хозяйкин брат.

На трех девиц, которые подпевали владычице моей души, глядеть было неинтересно. Они, как пишут в романах, *оскорбляли мой взор* своей обыкновенностью. Красотка слишком жеманничала, дылда очень уж разевала рот, а пигалица от старательности смешно гримасничала веснушчатым личиком.

— Очень неплохо. — Учительница опустила крышку. — На сегодня, думаю, хватит. Хотите оранжаду?

— Ой, мерси! Трежентиль!

Золотая Кудряшка чуть присела, оттянув в сторону юбку.

— Сэ-трэ-жантиль, — поправила дама, как-то по-особенному выговаривая ту же белиберду.

Рослая басом спросила:

— Агриппина Львовна, а марципанчиков со вчерашнего не осталось? Ужас, какие вкусные!

— Остались, остались... — Брюнетка подошла к столу и сняла салфетку. Под ней оказался графин с чем-то желтым, вазочка, что-то еще. — Только уговор: в пансионе от обеда не отказываться. Не подводите меня, девочки.

Три неинтересные стали угощаться, а Мою дама отвела в сторону — к подоконнику.

Я отодвинулся за ствол. Они разговаривали совсем тихо, но теперь расстояние между нами было совсем маленькое, две-три сажени. Я без труда слышал каждое слово.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

— Диана, мне нужно сказать тебе важное, — сказала Агриппина Львовна, полуобняв Деву, слушавшую ее с ласковой улыбкой.

«Диана», ее зовут «Диана»! Вот когда я впервые услышал это имя.

— ...Мое прошение об опекунстве удовлетворено. Со следующей недели, как только будут готовы бумаги, ты можешь жить у меня. Ты сирота, я сирота. Будем держаться друг друга.

Я слушал жадно, но мало что понял. Однако Она, то есть Диана, прослезилась.

— Правда?! Вы об этом никогда не пожалеете, обещаю!

— Я постараюсь, чтоб и ты об этом не пожалела.

Они обнялись, поцеловались. Я заметил, что Веснушка обернулась и наблюдает, ревниво нахмурившись.

— Р-р-р-р...

Утробное рычание заставило меня посмотреть вниз.

У подножия дуба стоял огромный псище и недобро глядел на меня, задрав косматую башку. В приоткрытой пасти поблескивали зубы немногим меньше медвежьего, что висел у меня на шее.

— Что это Цербер сердится? — спросила Веснушка, подходя к окну. — Он у вас всегда такой спокойный, никогда не лает.

Агриппина Львовна и Диана отодвинулись друг от друга.

— Верно, на дереве кошка, — рассеянно сказала учительница. — Ну, девочки, вам пора. Скажите Эрнестине Николаевне, чтобы завтра прислала вас в то же время.

Она поцеловала каждую девочку в лоб, те присели и пошли к выходу.

Без Дианы комната сразу будто потускнела, хоть солнце освещало ее всё так же ярко. Оставшись одна, хозяйка подошла к пианино, снова открыла его, тронула пальцем клавиши. Звук получился печальный, тягучий.

Собачища пялилась на меня не мигая и всё скалила клыки. Я тоже оскалился: накося, достань меня.

Чувствовал я себя вполупьяна — как на фрегате, когда в один из первых вечеров Соловейко дал мне выпить чарку водки. Только сейчас хотелось не лечь и уснуть, а запеть или пуститься в пляс прямо на ветке дуба. А что? После беготни по реям я смог бы.

Плясать, конечно, я не стал. Пробежал, расставив руки, до стены, перескочил на нее, спрыгнул вниз.

И приземлился прямо перед пансионерками. Они как раз спустились с парадного крыльца и повернули на улицу.

Девочки взвизгнули, шарахнулись. Диана тоже вскрикнула — и я окончательно убедился, что она совершенно настоящая. Под нежной кожей на виске голубела тонкая жилка, а кончики туфель — это меня особенно обнадежило — были слегка запылены. Она ходит по земле, она умеет пугаться. *Она живая!*

Первой опомнилась бойкая Веснушка.

— Ай да кошка, ну и кошка, подглядела к нам в окошко! — протараторила она. — Вот на кого Цербер рычал!

— Я-асненько, — протянула крупная, хитро покосившись на Золотую Кудряшку. — Еще один в Крестинскую втрескался.

Та с любопытством оглядела меня. Надо сказать, что, состоя вестовым при Платоне Платоновиче, я стал одеваться нарядно, чтоб не срамить капитана. Каптенармус выдал мне новехонькое обмундирование, а по городу я и вовсе ходил щеголем: в белоснежной матроске, темно-синих панталонах и сверкающих штиблетах. Для форсу еще одолжил из капитанова кабинета часы на золотой цепочке, которая небрежно свешивалась из моего кармана.

На цепочке взгляд Кудряшки задержался.

— Не говори глупостей, Божко. — Она мне ласково улыбнулась. — Ну, вы меня испугали. Вы кто? Юнкер?

Больше-то всего перепугался я сам. Еле выдавил:

— Не, я юнга...

Интерес в глазах кукольной пансионерки сразу погас.

— Юнга? Фи! Идемте, девочки.

Веснушка и Дылда двинулись за ней, а Диана задержалась. Я наконец осмелился поднять на нее глаза.

Оказывается, смотрела она на медвежий коготь — от прыжка он выскочил у меня из-за пазухи и болтался на кожаном шнурке.

— Что это у вас?

— Идем, Короленко! — позвала Веснушка. — Опоздаем на обед — Акула будет ругаться. Дался тебе этот чумазий!

— Зуб американского медведя, он называется «гризли», — ответил я. — Оберёга такая... Друг подарил.

— Обере-ега, — передразнила Дылда. — Лапоты!

А Веснушка насмешливо крикнула:

— Короленко, ты надумала медведя американского дрессировать? Догоняй!

Диана засмеялась, побежала за подружками.

Только такая фамилия у нее и может быть — королевская, думал я.

Диана Короленко — до чего же красиво!

Раньше я только догадывался, что жизнь у меня будет не такая, как у всех, а полная чудес.

Отныне я знал наверняка: жизнь и есть чудо.

НА КРЫШЕ

Я смотрю на то же окно. Нахожусь дальше, чем давеча, а вижу лучше: могу разглядеть чуть ли не каждую пылинку на стекле. И это уж точно никакое не чудо.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Когда Дева, обнаруженная мною в подземном царстве, мало того что переместилась на дагерротип, но еще и ожила, в бедной моей голове всё вконец перепуталось. Я почувствовал, что увяз во всех этих невозможностях и более не понимаю, грежу или бодрствую. Узрев Деву прямо перед собою и убедившись, что она настоящая и что у нее есть имя, я усомнился: а может быть, это пещера мне примерещилась? Ведь я не бывал на своем заветном холме с того самого дня, когда впервые повстречал Джанко и увидел в витрине овальный медальон.

Или же Дева волшебным образом переместилась с мозаики на дагерротип, под стекло, а из таинственного sklepa исчезла?

Прямо от дома на тенистой улице (она называлась Сиреневой, хотя сирени-то на ней как раз не было) я пошел, верней побежал прочь с Городской стороны, через пустыри, мимо Южного кладбища к Лысой горе. Нашел свой лаз — он был такой же, только мертвая трава обрела бурый зимний цвет.

Спустился.

Нет, всё оказалось на месте: и Дева с пытливым взором, и двенадцать братьев, из которых по-прежнему кто-то сражался с чудищами, кто-то беседовал с человеком, а кто-то гнал за ланью. Единственно лишь Дева меня немножко расстроила. После долгой разлуки я ждал от нашей встречи большего. Как-то она изменилась. И подбородок стал тяжеловат, и глаза расставлены чуть шире, чем следовало. А всё ж это была Она — дождалась меня. И наверно я поднялся успокоенный.

Только тогда я спохватился, что бросил слабого Джанко в подворотне. А свет уже начинал меркнуть. В конце ноября дни, известно, короткие.

Еще быстрее, чем давеча, помчался я обратно в город, но ни тележки, ни индейца на прежнем месте не обнаружил.

Анатолий Брусникин

Джанко ждал меня дома, ужасно сердитый.

Накинулся, злобно фыркнул, крепко схватил за грудки, и давай трясти. Тут-то я и понял, что он совсем выздоровел.

Индеец ткнул мне в лицо медальон, показал на густеющие сумерки, постучал железным пальцем по моему лбу. Смысл был ясен: «Что дева с портрета? Где тебя черти носили? Совесть у тебя есть?»

Но я, застав его дома и в отменном здравии, сразу успокоился. Потер лоб и сказал лишь:

— Завтра сам увидишь.

Это и есть завтра: лежу в укрытии, разглядываю пылинки на окне. Время после полудня. Рядом недовольно сопит Джанко.

По-за дубом вдвоем не укроешься, но мы устроились удобней, чем я вчера: распластались на крыше соседнего дома, спрятавшись за трубой. Я не будь дурак прихватил с собою бинокль, оттого и могу разглядывать оконное стекло во всех его неинтересных подробностях. Больше-то любоваться не на что. Нынче пасмурно и холодно, поэтому окна в доме закрыты и внутри ничего кроме каких-то смутных шевелений не видно. Чудное пение и звуки пианино доносятся приглушенно.

Я на крыше ерзал от нетерпения. Однако знал: Диана там. Ее чистый голос я бы не спутал ни с каким другим.

— Она это, точно она! — сказал я индейцу, когда тот вынул медальон и вопросительно показал мне. — Не сумневайся.

Джанко скептически покачал головой. Ангельское пение, по-моему, удовольствия ему не доставляло.

Наслаждаться музыкой кроме нетерпения мне мешал еще и чертов пес. Не знаю, как он нас унюхал — долж-

но быть, дунуло ветром с нашей стороны. Но только зверюга вдруг заворочался в своей будке, вылез, чуть ее не своротив, и подбежал. Звякнула натянувшаяся цепь. Мохнатый уставился на нас своими круглыми злющими плоскими и стал громко рычать.

— Уйди! — шикнул я наконец. — Слушать мешаешь! Швырнул в него куском черепицы.

Вот этого делать не следовало. Получив удар по башке, собака не убралась восвояси, а гулко загавкала.

Немедленно пострадала и моя собственная башка — Джанко вклеил мне подзатыльник. Ты что, мол, натворил?!

Однако всё получилось к лучшему.

Музыка играть перестала. Окно наконец раскрылось, из него высунулась хозяйка, а еще стало возможно заглянуть внутрь комнаты. Там, у пианино, стояла Диана.

— Замолчи, Цербер! Ты нам мешаешь! — крикнула Агриппина Львовна.

— Вон она, вон! — зашептал я, показывая на Диану.

Индеец кивнул, его глаза сощурились, я же припал к биноклю.

Вчера, разговаривая с Нею, я всё время отводил взгляд, не осмеливался пялиться. Зато нынче ничто не мешало мне упиться созерцанием милого лица.

Как блестели ее черные глаза! Влажный язычок провёл по пересохшим губам, а еще я обнаружил в углу рта родинку! Мое сердце сжалось от восторга. Чары мозаичной двойницы еще больше померкли. Во-первых, она оказалась недостаточно похожа на Диану. А во-вторых, у нее не было такой восхитительной родинки!

Цербер оглянулся на хозяйку, забрежал пуще. Хотел толковать ей, непонятливой, что рядом чужие.

— Ну что с ним будешь делать...

Агриппина Львовна затворила окно и через минуту вышла во двор через черное крыльцо. За нею — какое

счастье! — из двери выглянула и Диана. Три остальные пенсионерки остались наверху, они смотрели вниз через окно.

Я пригнулся пониже. Не хватало только, чтоб кто-то из этих дур меня заметил.

Учительница подошла к псу, и стало видно, какая она хрупкая. Если б Цербер встал на задние лапы, то, верно, оказался бы много выше и вдвое шире. Разинув пасть со страшными клыками, собака требовательно и грозно залаяла. Но Агриппина Львовна одной рукой бестрепетно взяла чуду-юду за загривок, а ладонью другой шлепнула по носу.

— Умолкни. Ясно?

И что вы думаете? Псина виновато заскулила, опустила голову и поплелась в свое логово.

Я, впрочем, наблюдал за укрощением вполглаза — жадно смотрел на мою Диану.

— Ну, как она тебе? — шепнул я, покосившись на индейца. Мне хотелось, чтоб он разделил мое восхищение.

И я не был разочарован. Джанко закатил глаза и ткнул в сторону неба не одним — обоими большими пальцами.

— Как из сказки, да? Ты погляди, какие у ней волосы! Будто шлем на нашей Беллоне!

Индеец посмотрел на Диану и небрежно дернул плечом. Потом показал на Агриппину Львовну и повторил свой жест наивысшего одобрения. Достал медальон, погладил неповрежденное лицо на портрете и гордо стукнул себя кулаком в грудь.

— Ты про учительку, что ли? — поразился я. — На кой она мне?

Джанко махнул рукой: ты тут вообще ни при чем. Сделал вид, будто у него во рту сигара, и придал своему птичьему лицу выражение сосредоточенной задумчивости — передо мной на миг будто предстал Платон Платонович.

Еще Джанко сложил из указательного и большого пальцев половинку круга, другой рукой сделал то же самое — и сложил, будто соединил две части в целое.

И я прозрел. Мне наконец стало всё ясно.

У витрины дагерротипной мастерской Джанко пялился вовсе не на Диану, а на Агриппину! Что-то такое он узрел своим шаманским оком в ее лице. Затем и взял у хозяина адрес. Хотел проверить, годится эта женщина в «половинки» капитану или нет. А сейчас, поглядев на нее вблизи, пришел к выводу: годится.

Выходит, вовсе не ради меня он старался!

Должно быть, моя физиономия красноречиво вытянулась. Индеец подмигнул мне, потянул за кончик носа, а потом стукнул по лбу.

«Не вешай носа. Я и о тебе позабочусь».

ОХОТА НА КОСУЛЬ (или, может, ланей)

...Это я поднимаюсь с Платоном Платоновичем по крутой улочке, которые у нас в Севастополе называются «спусками». Прошло пять дней. «Беллона» вернулась из похода и встала на зимнюю стоянку, а капитан переселился на берег.

Идет он со мной и не подозревает, бедный, какая ему уготована ловушка...

Долго и трудно объяснял мне Джанко свой замысел. Словами ведь он не мог, а жестами такое не растолкуешь. В конце концов индеец вывел меня во двор, стал рисовать ножом по земле.

Сначала — могучего быка с горбатой холкой и длинной шерстью.

— Чего это бык в фуражке? — спросил я.

Джанко вздохнул, пририсовал дымящуюся сигару. Тогда я понял, но обиделся за непочтение к Платону Платоновичу. Стал укорять горе-художника, а он уже каляет дальше. Изобразил две косули или, может, лани — я ни тех, ни других отроду не видал, только на мозаичной стене в моей пещере или у капитана в энциклопедии. Одна косуля была покрупнее, другая поменьше.

И снова я не скумекал.

— А эти чего?

Тогда Джанко изобразил женщину с гордой осанкой, потом девушку с опущенными вниз (если по-книжному — «опущенными долу») глазами. Тут я сообразил, о ком это он, и снова обиделся. А индеец чиркал ножом дальше. Бык с бычком куда-то идут. В засаде охотник с пером в волосах. И прочее всякое. Полдвора он этими картинками изрисовал, пока я наконец разобрался в коварном плане.

Не сказать, как обрадовался Иноземцов, когда увидел своего приятеля живым и здоровым. И прослезился, и обнял краснокожего, хотя тот пихался и лобызаться не хотел — у индейцев, оказывается, такого заводу нету. Во всяком случае промеж мужчин.

Меня Платон Платонович тоже расцеловал, и я уж уклоняться не стал, а был очень доволен. Капитан объявил, что Джанко выкарабкался из верной могилы исключительно благодаря моим заботам. Я отнекивался, но за скромность был расцелован еще раз. Рассказывать сказки про бубен и полет к солнцу я не стал, а то не отправили бы в скорбный дом, где сумасшедших холодной водой поливают.

— ...Живи, Гера, с нами, — объявил Иноземцов. — По гроб я теперь твой должник. Походов пока что не пред-

видится. Турецкий флот совсем разбит, в море выходить не осмеливается. А вестовой мне и на берегу нужен. Подрастешь немного, подучишься, и отправлю тебя на доктора учиться, коли в тебе такой целительский талант.

На доктора учиться я, положим, не желал, мне уже было ясно, что я буду или моряком или никем, однако с Платоном Платоновичем не спорил. Все мои помыслы были заняты предстоящей охотой.

На Ушаковский спуск я заманил капитана хитростью. Там-де сдают дом, откуда хорошо видно Южную бухту, куда поставили «Беллону». Очень уж Иноземцов переживал, что из нынешней квартиры фрегата не видно. По десять раз в день на пристань бегал. А если б можно было корабль постоянно иметь в виду, прямо из окна, ради этого Платон Платонович и от казенного жилья бы отказался, платил бы из собственного кармана, втридорога. Одно слово — капитан.

...И вот мы идем вверх по узкой улице. В небе светит бледное солнце, но холодно — по календарю уже зима.

— А еще лучше, коли выучишься на судового механика, — говорит Платон Платонович, положив руку на мое плечо. — Самая, братец, главная будет на флоте специальность. Все корабли скоро будут только на дыме ходить.

И выпускает изо рта облако ароматного сизого дыма.

Я почти не слушаю. Я в напряжении. Сигнала пока нету. Рано!

— Ой!

Сделав вид, что подвернул ногу, я скривился и присел на корточки.

Наверху у строящегося дома — штабель из бревен. Не спуская с этого места глаз, я сказал Платону Платоновичу, что ничего, нога сейчас пройдет и я смогу идти дальше.

Анатолий Брусникин

Он не слушал, требовал снять башмак и показать ему ступню — не опухает ли, но над бревнами закачалась ветка можжевельника, и я сразу выздоровел.

— Благодарствуйте, всё в порядке. Видите, даже прыгать могу! Идемте, идемте.

Только мы тронулись, а навстречу, из-за угла показались они.

Сердце у меня так и зашло — не от охотничьего азарта, от страха.

Агриппина Львовна несла большой бело-желтый букет, у Дианы в руке была корзина.

За минувшие дни я всё, что можно, про них обеих выяснил.

Госпожа Ипсиланти, одинокая вдова, из морской семьи. Ее родитель был капитаном корабля, покойный супруг — флотский офицер. В пансионе она преподает отечественную словесность, а еще дает на дому уроки музыки.

Диана Короленко тоже офицерская дочь, отца-матери не имеет, содержится за казенный счет. Три дня назад переехала жить к Агриппине Львовне, которая взяла ее в воспитанницы — должно быть, очень привязалась. Да и как такую не полюбить?

Также установлено, что каждый день в пятом часу полудни Агриппина ходит на Верхний рынок, где торговля фруктами и цветами.

Оттуда-то они ныне и возвращались к себе на Сиреневую.

...Расстояние между нами сокращается. Вот бревна уже остались у них за спиной. Я вижу, что белые и желтые цветы в руках у госпожи Ипсиланти — это хризантемы. А у Дианы в корзине белый и синий виноград...

Смотрели они не на нас, а друг на дружку, чему-то смеялись. Капитан на даму с барышней тоже не глядел, он раскуривал на ходу потухшую сигару. Я же опустил голову и натянул пониже козырек. Сегодня на мне была не морская форма, а куртка и картуз, которыми Платон Платонович обмундировал меня на зиму.

Шагов пятнадцать оставалось между нами и ими. Слева — каменная стена дома, справа — глухой забор. Всё, как рассчитано.

Только я, внутренне сжавшись, подумал: пора, пора, не то поздно будет — тут оно всё и началось.

Штабель вдруг качнулся и со страшным шумом рассыпался. А чего, бывает. Допустим, веревкой гнилой связали. Или узел развязался — мало ли. Круглые бревна загрохотали вниз по крутому спуску, разгоняясь. Мгновение-другое — и сшибут, раздавят.

Агриппина с Дианой обернулись. Закричали, конечно. Первая уронила букет, вторая — корзину. Сочные грозди винограда шмякнулись в пыль, рассыпались разноцветные груши-яблоки.

Настало время действовать.

По плану я должен был ринуться вперед, подхватить на руки Диану и четко сманеврировать вправо — там в заборе была утопленная в землю калитка, отличное укрытие. Иноземцову доставалась госпожа Ипсиланти и левый галс, где имелось убежище еще более удобное: отличная подворотня.

Конечно, я не сразу согласился участвовать в этой рискованной затее. За себя-то я не тревожился. Заранее зная, как оно всё произойдет, я не растеряюсь. Но как бы не промедлил Платон Платонович — он-то будет застигнут врасплох. Вдруг оплошает, и Агриппину сшибет бревнами? Я высказал Джанко свои опасения, а он лишь снисходительно постучал меня костяшками пальцев по

лбу. «О себе беспокойся, не о капитане» — вот что это значило. Я уже, как Иноземцов, понемногу научился понимать индейца без слов.

Всё равно, конечно, волновался я сильно. Но Джанко знал Платона Платоновича лучше, чем я. Привычный к неожиданностям капитан моментально составил диспозицию и приступил к действиям — раньше, чем я тронулся с места.

Иноземцов ринулся вперед, крикнув:

— Юнга, девица — калитка!

Сам же в несколько прыжков оказался перед Агриппиной, молча подхватил ее, развернулся и заскочил в подворотню. Я отстал от капитана всего на шаг или два — и все равно опоздал. Диана взвизгнула, подобрала юбку и резво, как истинная косуля, метнулась к калитке. Я хватанул руками пустоту, где еще секунду назад стояла моя мечта. Спасать ее мне не пришлось. Наоборот — это она дернула меня за руку, подтаскивая к себе.

— Сюда!

Случилось то, о чем я не смел и грезить: я прижался к моей Деве. И оглох, ослеп, окоченел от ее запаха, от горячей и мягкой упругости тела.

— Ближе!

Она — о Боже! — еще и крепко обняла меня, мы вдавились в дощатую калитку как можно глубже.

Скача и подпрыгивая, бревна прокатились мимо. Стало тихо.

Тогда Диана расцепила объятия и сквозь облако пыли крикнула:

— Агриппина Львовна, вы целы?

Не дождавшись ответа, бросилась к подворотне. Я следом. Что мне еще оставалось?

Госпожу Ипсиланти держал на руках Платон Платонович. Она обнимала его за шею (а иначе было нельзя —

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

упадешь). Молча смотрели они друг на друга. То есть Иноземцов, судя по движению рта, и пытался что-то сказать, однако с дымящейся сигарой в зубах это трудно.

На сюртук просыпался пепел.

— Профу ифвинифь фа фигару. Не уфпел... — промямлил капитан.

Она молвила:

— Сударь, вы меня спасли. Я вам очень благодарна... — Улыбнулась. — Можете теперь поставить меня на землю.

Спohватившись, капитан расцепил руки.

— Дианочка, тебя не задело?

Госпожа Ипсиланти поправила съехавшую набок шляпку.

— Нет, я спряталась. — Диана обернулась ко мне. — Чего это вас прямо под бревна понесло? — И узнала. — Ой, снова ты!

Не сказать, до чего мне было обидно. Какой случай я упустил! Мог ведь тоже заслужить признательность, а вместо этого «чего понесло под бревна»...

— Я тебя спасал! — буркнул я.

Она скорчила гримаску:

— Не выдумывай. Это я тебя спасла!

— Но кто вы? Как ваше имя? — говорила в это время Агриппина Львовна капитану.

Он сдернул фуражку, поклонился, представился. Назвалась и госпожа Ипсиланти. А моя непойманная лань сообщила мне:

— Мой папа тоже плавал на фрегате. А зовут меня Диана.

«Знаю», чуть было не ляпнул я.

— У тебя имя есть, юнга-гризли?

— Герка... Герасим. Илюхин.

А Платон Платонович поцеловал даме руку, и Агриппина ласково сказала ему:

Анатолий Брусникин

— Мне очень хочется вас отблагодарить, Платон Платонович. Могу ли я завтра пригласить вас на чашку чаю? Буду очень рада. И вашего храброго юнгу тоже приводите.

— Приходи-приходи, расскажешь про американских медведей.

Чего это она глядит на меня с такой насмешкой, надуся я. Но Диана протянула мне руку, я осторожно пожал ее нежные пальцы и обижаться сразу прекратил.

Охота прошла не совсем гладко, но в целом, можно сказать, удалась. План индейца сработал.

А дальше в моей памяти одна за другою мелькают несколько картин, и каждая окрашена в свой цвет, согласно времени года.

ЗИМА

Последовавший за «охотой» визит в дом Агриппины Львовны Ипсиланти случился в день, когда осень вдруг устала сопротивляться зиме, сдала свои позиции. Ночью прошумела буря, сдула с ветвей остатки желтых листьев, а рассветный заморозок прихватил лужи ледком, побелил крыши, разрисовал инеем кору старого дуба, с которого я впервые увидел ту комнату — ах, сколько счастливых часов доведется мне в ней провести...

Цвет этой картины — белый. Как поздние хризантемы, что были расставлены по всей гостиной. Агриппина Львовна очень любила эти печальные цветы.

В тот день мое мечтание окончательно превратилось в быль. Пригрезившаяся в волшебном подземелье сказка стала почти повседневностью. Вскоре я начну забывать, что моя Диана — посланница таинственного и неизъяснимого Чуда.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Но на первую законную встречу я шел с суеверным трепетом. Мне всё мерещилось, что вот приду на Сиреневую улицу, а там нет никакого дома, или дом есть, но в нем живут какие-то другие люди, никогда не слыжавшие про золотоволосую деву с черными глазами.

Платон Платонович тоже пребывал в волнении. Я и не подозревал, что мой хладнокровный капитан способен так нервничать.

Он долго советовался со мною, что будет прилично принести в дом. Мы даже повздорили. Иноземцов решительно выступал за «тонный, но ни в коем случае не пышный букетец»; я столь же яростно бился за коробку конфект или печений. Мнение Платона Платоновича основывалось на туманной идее о том, что в гости к возвышенной особе нельзя приносить ничего матерьяльного. Моя же настойчивость зиждилась на твердом знании. Подглядывая за обитательницами заветного чертога, я не раз наблюдал, как обе они, музицируя, берут сладости из вазочки, что стояла на пианино. Однако рассказать об источнике своей осведомленности я не мог, и в конце концов Иноземцов поступил по-своему, еще и сказав с обидной снисходительностью, что не юнгам учить капитанов, как ухаживать за дамами. Ну и кто оказался прав? Приперлись, как дураки, с букетом хризантем, потратили на чепуху три с полтиной в самой дорогой цветочной лавке, а у Агриппины этого добра по всей гостинной понаставлено.

Выглядели мы торжественно. Платон Платонович намадил свои коротко стриженные волосы, побрызгался одеколоном; я расчесался на прямой пробор и смазался маслом. Ну и оделись, конечно, во всё самое лучшее.

Надобно сказать, что и хозяйки в тот вечер принарядились. Агриппина была в чем-то жемчужно-переливчатом и красивом, да я толком не рассмотрел, потому как совершенно обомлел от Дианы. Она повязала свои чудесные во-

лосы широкой голубой лентой, а платье на ней было в продольную серебряно-малиновую полоску; и кружевной воротничок, и перламутровые пуговицы. Притом смотреть на мою принцессу я мог сколько угодно, безо всякой утайки или украдки. От такого пиршества я будто опьянел.

Хорошо, они что-то долго играли в четыре руки. Я немного оттаял, да и Платон Платонович, вначале совсем деревянный, чуть помягчел.

...Картина, которая сейчас предстает предо мною, из второй половины вечера. Музицирование окончилось. Мы сидим за столом, готовимся пить чай. Стол прямоугольный, довольно длинный. Расположились мы так: Агриппина и Иноземцов на противоположных торцах, далеко друг от дружки. Мы с Дианой рядом. Прямо напротив меня стена и на ней портрет с траурной лентой — кажется, что юный мичман (не брат, как я было подумал, а покойный супруг) нарочно расположился между своею вдовой и ее гостем...

Когда Агриппина послала Диану принести кекс, а сама отошла к шкафу за ликером, за окном дважды крикнула чайка — громко, требовательно. Она орала уже не в первый раз, но раньше я ничего не мог поделать, а тут появилась такая возможность.

Я отошел к окну и сделал вид, что любуюсь сумерками (из нескольких прочитанных к тому времени романов я знал, что настоящий кавалер обязан восхищаться природой).

На крыше соседнего дома из-за трубы высунулась голова с торчащим пером. Джанко повернул кулак с оттопыренным вниз большим пальцем.

«Накапал?»

Я слегка покачал головой. «Нет еще».

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

«Так подгони его!» — качнул кистью индеец, и я вернулся к столу.

Строго, со значением поглядел на Платона Платоновича. Тот замигал, суетливо полез в карман.

Перед выходом из дому у нас состоялся род военного совета. Основным докладчиком был Джанко — если можно назвать докладом все те жесты, гримасы и даже прыжки. Мы с Иноземцовым, впрочем, всё понимали.

В переводе с немного индейского речь Джанко сводилась к следующему: Агриппина и есть та самая скво, которая является второй половиной капитана; в том нет ни малейших сомнений; капитан будет глупее дохлой вороны, если эту скво упустит; и вообще Джанко состарился и устал заботиться о капитане — пускай теперь с ним нянчится скво с гордо посаженной головой и лучистым взором.

Платон Платонович все эти тезисы не оспаривал и даже кивал. Что-то такое с ним произошло за несколько секунд, в течение которых он держал госпожу Ипсиланти на весу, а она обнимала его за шею. Мне пришлось в голову, что давешняя охота получилась не столько на косуль, сколько на быка — иль, выражаясь на американский манер, на бизона. Уж бизон-то точно был сражен наповал.

Сегодня Иноземцов был не тот, что вчера, когда не раздумывая кинулся спасать даму. Капитан мямлил и трусил.

— На что я ей сдался? — уныло отвечал он индейцу. — Она молода и красива... нет, не красива, а прекрасна. Теперь изволь посмотреть на меня. Я старый, на пятом десятке, ни кола, ни двора, чурбан чурбаном. В гости она позвала из благодарности, хоть за такой пустяк и не стоило. Я, конечно, наведуясь, раз обещал, но после мы, конечно, расстанемся навсегда. Никогда мне не добиться взаимности у столь великолепной особы, нечего и думать.

Презрительно усмехнувшись на сей жалкий лепет, Джанко достал из сумки свой основной аргумент — приворотное зелье — и торжественно водрузил пузырек на стол. Изобразил, будто потихоньку капает оттуда, а потом скво с гордою посадкой головы и лучистым взором хватается за высокую грудь и начинает пожирать Платона Платоновича жадным взглядом, да еще облизываться.

Я ждал, что матерьялист Иноземцов от пузырька отмахнется. Однако нет, не отмахнулся. Видно, не только у меня был случай убедиться, что индейское колдовство — не пустяк. А может, капитану очень уж хотелось добиться взаимности, и он готов был хвататься за соломинку.

— Ладно, — покраснев молвил Платон Платонович и спрятал зелье в карман. — Я попробую, хотя это, конечно, нечестно... — Да вдруг испугался. — А живот у ней не болит?

Джанко покачал головой, браво хлопнул себя по брюху, потом прижал ладонь к сердцу и сделал жалобное лицо.

«Живот — нет, сердце — да».

Когда я, подстегнутый индейцем, сделал Иноземцову страшные глаза, тот вынул из кармана пузырек и даже потянулся было к самовару, под которым стояли четыре наполненных чашки, но быстро отдернул руку. Агриппина Львовна, стоя подле буфета, спросила:

— Так что вы говорили о войне, Платон Платонович?

«Капайте, капайте, она не смотрит!» — беззвучно произнес я. Не бледневший под вражескими ядрами и пулями Иноземцов лишь жалобно вжал голову в плечи.

— Что-с? А, я позволил себе выразить суждение, что выступление Англии с Францией на стороне турок практически неизбежно. Европа не может допустить даль-

нейшего усиления России. Очень уж все боятся крутого нрава нашего государя. А ежели мы будем принуждены в одиночку воевать против сильнейших держав, то это затае обреченная-с...

«Сейчас! Не то поздно будет!» — прошептал я. Пускай хоть у Платона Платоновича с его избранницей сладится. У меня самого дела обстояли безнадежно. Я сидел бок о бок с девой моих грез, а не мог вымолвить ни одного толкового слова. Что она ни спросит, я лишь бурчал «да» или «нет». И голову отворачивал, не смел смотреть в глаза. Диана в конце концов обращаться ко мне вовсе перестала. Наверно решила, что я тупой или малахольный.

Хозяйка вернулась к столу с хрустальным графином.

— Не угодно ли бенедиктину? А Европы нам страшился нечего. Не в первый раз она на нас пойдет. В двенадцатом году дали от ворот заворот и сейчас не оплошаем.

Капитан поспешно спрятал пузырек в карман.

— С заворотом может у нас осечка выйти, да-с. Потому у нас гладкоствольные ружья, а у них нарезные винтовки с коническими пулями...

— Вот и кекс. Дианочка его с черносливом печет, с абрикосами. Отведайте, прошу вас, — перебила Агрипина Львовна. — Попотчуй гостей, Диана.

— Извольте отведать... — На тарелку Платона Платоновича лег изящный ломтик. — А это вам.

Мне достался точно такой же.

— Благодарствуйте, — буркнул я под нос.

За столом Диана разговаривала не так, как на улице — всё на «вы», да с церемониями. Я еще и от этого робел.

Платон Платонович подарил мне давеча полдюжины батистовых носовых платков. Я достал свеженький, развернул и стал в него сморкаться — может, у меня насморк, по зимнему-то времени.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Диана нагнулась ко мне и шепнула, чтоб взрослые не слышали:

— Чего ты, как сын? Кекс ужас какой вкусный, честное слово. Его вот как надо.

На ломтик она положила джема, взбитых сливок, да еще капнула из графина тягучей желто-зеленой жидкости — того самого бенедиктина.

Я бы и съел, но слева от тарелки лежали две вилочки разной формы, справа — три ложечки, да еще ножик. Как со всем этим управляться, я понятия не имел. Надо было подглядеть за Дианой, но, пока я сморкался, она свою порцию уже изничтожила.

Капитан с хозяйкой были заняты делом: он рисовал на салфетке конические пули и ствол нарезного ружья, а госпожа Ипсиланти внимательно смотрела, приговаривая: «Надо же, как интересно». К кексу ни он, ни она не притронулись.

— Да съешь ты что-нибудь! Сидишь, как пень. — Диана толкнула меня под столом. — Агриппина скажет, что я за тобой плохо ухаживала!

Я наконец придумал, как мне не опозориться.

— Чайку вот выпью...

Налил в блюдечко, откусил сахарку и громко, чтоб уважить хозяек, всосал подостывшего чаю. Диана отчего-то прыснула.

Тут обернулся Платон Платонович, сказал фальшиво ласковым, не своим голосом:

— Гера, чай из блюдца вприкуску пьют матросы в кубрике. И хлюпать так громко совершенно необязательно. Я вот займусь твоими манерами.

И понял я: ему неудобно, что я опростоволосился.

Всё, больше меня сюда не позовут и не пустят, в отчаянии подумал я. И, раз такое дело, взял первую попавшуюся ложку и стал лопать кекс.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

На душе у меня было горько, а кекс был сладкий. И золотисто отражалась лампа в серебряном боку самовара. Всюду белели хризантемы. От Дианы пахло неземным, головокружительным.

ВЕСНА

Но неделю спустя мы с капитаном вновь сидели в той же гостиной и с тех пор, как по часам, бывали там каждый четверг.

Платон Платонович исполнил свое обещание — занялся моими манерами. Объяснил, как должно вести себя за столом в благородных домах, а чего ни в коем случае делать не следует. Капитан вообще много чем со мной занимался: географией, астрономией, навигацией, математикой, даже стихи мы с ним разучивали. Если я превратился из полудикого обитателя Корабельной слободки в того, кем стал, то это благодаря нескольким месяцам блаженного ничегонеделанья.

«Беллона» давно уж была починена, вычищена от налипших ракушек, покрашена и переведена со своей зимней стоянки к остальным кораблям, на Большой рейд. Но плавания все отменили, и капитан, по его выражению, «забичевал», то есть надолго осел на берегу. Очень важное место в его жизни (а в моей — самое главное) заняли наши Четверги.

Я долго не мог взять в толк, почему госпожа Ипсиланти привечает моего Платона Платоновича. Добро б еще он ей любовного зелья накапал. Так нет же — каждый раз ему что-то мешало, а если и выдавался удобный момент, Иноземцов непростительно мешкал. Я даже предлагал выполнить за него эту нетрудную операцию, но капитан отказался, опасаясь, что в этом случае Агриппина

Львовна может влюбиться в меня, и что тогда мы все будем делать? Я сразу заткнулся — в мои намерения подобный оборот событий тоже не входил.

Нет, в самом деле, было странно, отчего Агриппина нас терпит. Собеседник из Платона Платоновича, по правде говоря, был так себе, рассказчик и подавно неважнецкий. Капитан оживлялся, только когда беседа касалась морских или военных тем. Несколько раз я примечал, что в самый разгар его прочувствованной речи о какой-нибудь смене пассатных сезонов в Западной Атлантике госпожа Ипсиланти, заинтересованно кивая, чуть подрагивает крыльями точеного носа — подавляет зевоту.

Загадку эту мне со временем разъяснила Диана. А до того, всякий четверг, возвращаясь с Сиреновой улицы, Платон Платонович сокрушался, что опять вел себя как последний дурак, замучил прекраснейшую из женщин нудной болтовней и больше нас, теперь уж можно не сомневаться, в дом не пригласят. Однако в следующую среду с городской почтой приходил розовый узкий конверт, мы с капитаном оба тоже розовели и начинали готовиться к завтрашнему событию.

Даже не знаю, почему именно этот весенний вечер сам собою выныривает из моей памяти. Он мало чем отличался от других.

Ах нет! Я знаю, почему.

...Мы за столом, пьем чай. Теперь Агриппина и Платон Платонович сидят не на дальних концах, а рядом, напротив нас с Дианой. И — замечу — спиной к траурному портрету.

У Иноземцова расстегнут ворот. Капитан приходит в гости уже не в сюртуке, а запросто, в кителе, и позволяет себе некоторые вольности. В руке у него дымится сигара. Госпожа Ипсиланти сказала, ей нравится запах та-

бака. Думаю, она просто сжалилась над моряком, видя, как он целый вечер мучается без курения.

— Так что вы говорили о британской эскадре, Платон Платонович? — слышу я нежный голос Агриппины. — Простите, я заваривала чай и недослушала...

Это май месяц. Война с Европой уже два месяца как началась.

Поскольку стол широкий, капитан с хозяйкой сидят как бы отдельно от нас с Дианой. Иногда мы слушаем, о чем они беседуют, а бывает, что и тихонько толкуем между собой. Дичиться я давно перестал, однако бывает, что ни с того ни с сего накатит робость — и не могу произнести ни слова.

Это обычно случалось, когда Диана в оживлении коснется моей руки или поправит мне прядь, свесившуюся на лоб. Моих внезапных приступов немоты она не понимала, говорила: «Опять Геру подвесили к небу». Платон Платонович мне объяснил: Гера — это жена древнего бога Зевса — моя, выходит, тезка. Забыл, что она там натворила, как-то нагадила мужу, и за это он подвесил ее к небу. Между прочим, очень точное описание моего состояния в такие минуты.

Цвет картинки под стать названию улицы дымчато-сиреневый. Потому что за окном легкие сиреневые сумерки и в гостиной повсюду ветки душистых бело-лиловых цветов.

А где Джанко? Кажется, к тому времени таскаться за нами на Сиреневую он уже перестал. Бывало сидит на крыше и требовательно кричит чайкой либо спит за трубой, укутавшись от холода в одеяло. Пес Цербер к индейцу быстро привык. Вылезать вылезал и сидел, задрав башку, смотрел вверх, но не рычал, не лаял, только вилял хвостом.

Но потом Джанко это дело бросил и по четвергам оставался дома. Надоело ему попусту мерзнуть. Вечером,

когда мы возвращались, он выходил из своего «вигвама» (так капитан называл его комнату с навесом на шестах). Сурово посмотрит на Иноземцова, сразу поймет: опять не вышло — плюнет, да уплывет обратно, всей своей спиной выражая презрение.

— Про британскую эскадру, Агриппина Львовна, я говорил, что это из-за нее «Беллону» адмирал в крейсерское плавание не пустил-с. — Платон Платонович помахал рукой, разгоняя облако дыма. — Было Черное море наше, да увы-с.

— Отчего же адмирал не прогонит англичан? — удивилась хозяйка.

Иноземцов, в свою очередь, удивился вопросу.

— Как же их прогонишь, коли у нас паруса, а у них, изволите ли видеть, винтовые пароходы?

— Экскюзе-муа? — то ли не расслышала, то ли не поняла Агриппина Львовна, хоть на моей памяти капитан уже раза три объяснял, чем винтовые корабли лучше колесных, не говоря уж о парусных.

— Я говорю, пароходы... Винтовые...

Они посмотрели друг дружке в глаза. Повисло молчание. Это у них приключалось нередко, от темы разговора не зависело. Иногда и разговора-то никакого не было. Что в эту минуту происходило с Платоном Платоновичем, я догадывался — тоже, видно, подвешивался к небу. А вот отчего менялась в лице госпожа Ипсиланти, мне было невдогад. Кто их знает, женщин, какое у них устройство.

Кончались такие паузы всегда одинаково. Агриппина, будто спохватившись, оглядывалась на портрет, по ее лицу пробегала тень — и хозяйка уходила на кухню по какой-нибудь неотложной надобности. Горничной-то в доме не было, с чаем Агриппина Львовна и Диана управлялись сами.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Но в этот раз она и капитан умолкли что-то уж очень надолго. Я покосился на Диану. Та опустила длинные ресницы, но из-под них нет-нет да посверкивали искорки: моя соседка исподтишка наблюдала за Платоном Платоновичем и своей опекушкой.

— Гера, вы просили, чтоб я показала вам свой альбом. Пойдемте, покажу, — сказала Диана и поднялась.

Она, когда обращалась ко мне громко и «по-взрослому» — всегда называла меня на «вы».

— Ничего я ее не просил, — удивился я.

— Иди же ты... — шикнула она и ударила ногой по щиколотке.

По-моему, Иноземцов с Агриппиной даже не заметили, что нас в гостиной нет.

Отошли мы, правда, недалеко. В коридоре Диана приложила палец к губам, сама осторожно выглянула из-за угла. Я, конечно, тоже стал подглядывать поверх ее затылка. Ее волосы щекотали мой подбородок, я немедленно «повис».

Госпожа Ипсиланти, наконец, вспомнила про портрет. Поглядела на него, построжела лицом. На кухню не убежала, но отодвинулась от Платона Платоновича и поправила локон.

— Что ж вы яблочного пирога? — немножко странным голосом спросила она.

Капитан, покраснев, ответил тоном, каким обычно читал мне Пушкина и Лермонтова:

— Ваш яблочный пирог — лучшее, что я видал на свете. Слово чести, да-с.

— В самом деле? — взволновалась Агриппина. — Я так польщена...

И опять умолкли.

Диана дышала часто, а пальцы держала у губ.

— «Лучшее, что видал на свете», а сам не ест, — шепнул я.



Она в ответ:

— Дурак ты. Разве о пироге речь?

Я удивился:

— А о чем еще? Знамо о пироге.

— Эх ты, «знамо». — Диана мечтательно покачала головой. — Это он ей на самом деле говорит: «Люблю вас — не могу». А она ему: «Вы, сударь, мне милы, не стану скрывать. Но сердце мое разбито, и склеить его никак невозможно».

— Чего это оно разбито? Из-за него что ли? — Я кивнул на портрет. — Когда он помер, супруг-то? Давно хочу спросить, да неловко.

— Восемь лет прошло. Они побыли мужем и женой всего один только день. Потом он ушел в море и не вернулся. За Гибралтаром во время шторма его смыло волной. Красиво, да?

— Чего тут красивого? — Я передернулся. — Меня раз ночью тоже чуть с палубы не смыло. Шквал налетел, окатило волнищей. Она холодная, тащит... Бр-р-р!

— Я не про волну! — Диана тихонько всхлипнула. — Как подумаю: один-единственный день — и в нем всё счастье жизни! Как лучик солнца между черных туч!

Не понравилась мне этакая красота.

— Вообще-то, если она пробыла замужем только один день, через восемь-то лет можно бы уже оттаять, не мучить зря хорошего человека.

Она на меня оглянулась, посмотрела, хоть и снизу, но все равно будто свысока.

— Мы, женщины, если полюбим, то навсегда. Мужчинам этого не понять.

И опять отвернулась.

В это время капитан, глухо кашлянув, сказал — получилось как-то очень жалобно:

— С другой стороны, в прошлый четверг имбирное печенье тоже было чрезвычайное-с. Невозможно забыть.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— В самом деле? — всплеснула руками Агриппина. — Нет, в самом деле? Мне очень, очень приятно это слышать...

Тут уж и мне показалось, что для имбирного печенья, еще и прошлонедельного, как-то оно слишком у них чувствительно получилось.

— А это они про чего? — шепнул я.

— Он ей про сердечную муку, — перевела мне Диана. — А она ему: «Душа моя разрывается меж ним и вами. Но не отчаивайтесь, надежда есть».

Я совсем запутался.

— погоди. То «навсегда», а то — «надежда есть»? Так есть надежда или нету?

Диана вздохнула, смахнула слезинку.

— Если кто-нибудь очень сильно, прямо ужасно сильно полюбит, то всякие чудеса случаются. Вдребезги разбитое сердце может взять и склеиться...

Все-таки вскочила Агриппина, кинулась поправлять черную ленту на портрете, хотя она ничуть не перекосилась.

Порывисто обернулась — и вдруг спрашивает:

— Что это за пузырек вы всё в руке вертите? Я не раз примечала.

— Ничего-с... — пролепетал Иноземцов. — Капли от сенной лихорадки. У меня бывает-с.

Даже издали было видно, как он побелел.

А я несколько не испугался, хотя в этот миг капитан чуть не налетел на рифы.

Слова Дианы опьянили меня и вознесли высоко над бременной землей.

Вот почему мне увиделся сейчас именно этот весенний вечер. Он подарил мне надежду.

Если кто-то очень сильно полюбит, то может случиться и чудо. Она сама это сказала!

А разве мало в моей жизни было чудес?

ЛЕТО

Само собой, в тот же вечер я пересказал Платону Платоновичу то, что поведала мне Диана — и про разбитое сердце, и про надежду. Капитан было просветлел, но вскоре погас. Откуда-де зеленой девчонке понимать про подобные вещи. «Не знаю откуда, а только она знает, уж можете быть уверены!», — воскликнул я, обиженный подобным отзывом о моей Диане. Иноземцов тяжело задумался на несколько дней. Потом объявил: «Если так, надобно подождать. Время излечивает раны. С зельем я пока что соваться не стану. Преждевременно. Вот когда увижу, что встал по ветру и пора идти на abordаж, тогда и накапаю. Несильно я надеюсь на индейское колдовство, а все ж в серьезном сражении любая мелочь — подспорье».

Следующая картина — это три месяца спустя. День, когда Платон Платонович наконец «пошел на abordаж».

...Гостиная залита вечерним августовским солнцем, густым и золотистым, как абрикосовый сироп.

Я слышу дивное пение. Четыре девичьих голоса выводят слова, от которых у меня слезы на глазах.

Госпожа Ипсиланти играет на пианино, Диана и три ее пансионские подружки — красотка Крестовская, басистая Божко и вертлявая Спицына — исполняют песню, сочиненную в память Синопского боя.

Не будем голову ломать,
Кому сегодня умирать.
Гадать не станем в суете:
Кто со щитом, кто на щите.
Мы моряки, нам меж собой
Негоже меряться судьбой.

Вот и сейчас услышал я ту музыку, и замерло сердце...

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Назавтра, 30 августа, в Дворянском собрании следовало состояться празднику в честь тезоименитства цесаревича Александра Николаевича (кстати и верховного начальника Крыма светлейшего князя Меншикова тоже звали Александром). Московская труппа давала новейшую пьесу господина Кукольника «Синопский бой», с громким успехом шедшую по всей России, а затем воспитанницы Морского пансиона должны были сделать небольшой концерт.

Накануне вечером нас с Иноземцовым позвали оценить номер, подготовленный Агриппиной Львовной и ее ученицами, так что это было не обычное четверговое чаепитие, а генеральная репетиция.

Слушали мы очень внимательно, и сердце замирало не только у меня. Платон Платонович сидел напряженный, с решительной складкой у рта. Он нынче пришел в белом мундире и шляпе, очень нарядный. И вовсе не из-за генеральной репетиции.

Сегодня Платон Платонович решил сделать Агриппине Львовне предложение. А подбил его я, нашел-таки довод, подхлестнувший капитана к действию. Аргумент этот я вычитал в романе.

«Не совестно ли вам, Платон Платонович, так компрометировать даму? — сказал я. — Почти девять месяцев ходите в дом и никак не афишируете своих намерений. Этак в приличном обществе не поступают. Вот как я научился разговаривать благодаря беспрестанному чтению.

Он переполошился. «Я полагал, что это распространяется лишь на визит к барышням, а для вдовы никакой компрометации не произойдет! Но ты прав, Герасим, тысячу раз прав! Она молода, прекрасна, и холостяк не может столько времени посещать ее безо всякого разъяснения своих видов! Спасибо тебе, что открыл мне глаза».

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Ночь он не спал, всё ходил по кабинету. А к завтраку вышел строгий, собранный. «Что ж, — говорит, — на abordаж так на abordаж. Разработаем диспозицию».

По плану, в составлении которого участвовал и Джанко, мне отводилась роль прикрытия.

Роковой час пробил, когда пансионерки спели про Синоп в последний, третий раз (первые два раза Агриппина осталась недовольна и попросила нас те исполнения не засчитывать).

Мы громко захлопали и даже вскочили, как бы не в силах сдержать восторга. Далее, действуя будто два выходящих на линию корабля, двинулись в обход стола: я справа, капитан слева.

Мой маневр заключался в том, чтоб заслонить собою Платона Платоновича, который задержится возле Агриппининой чашки.

Путем многомесячных наблюдений было установлено, что горячий чай госпожа Ипсиланти пить не любит, обязательно дает ему остыть. Зато потом непременно выпивает до донышка.

Я достиг назначенной точки, бросил якорь и как можно шире расправил плечи. Мог бы так сильно не стараться — Агриппина в нашу сторону не смотрела.

— Умницы девочки! — говорила она. — Если так же споете завтра, успех обеспечен. Ну, на сегодня довольно.

— Агриппина Львовна, я так волнуюсь — ужас! — писнула Спицына.

Божко прогудела:

— Агриппина Львовна, а нижнее «фа» у меня хорошо вышло?

Я воровато оглянулся. Капитан, бледнее смерти, капал из пузырька в чашку.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Платон Платонович! — позвала вдруг Агриппина. Переполошившись, Иноземцов спрятал пузырек, еще наполовину полный, в карман. — Могу ли я перемолвиться с вами по одному важному предмету?

— Конечно. — Он был решителен и хмур. — Я и сам тоже желал бы с вами кое о чем поговорить...

Ничего, что он вылил только половину? — подумал я. Джанко объяснял, что для такой небольшой скво, как госпожа Ипсианти, целого пузырька, пожалуй, многовато. Так втрескается (он зажмуривал глаза и страстно обнимал перед собой воздух), что может задушить своей любовью.

Коли так — дело сделано.

— Девочки, Гера, — сказала нам Агриппина, — подите в сад, нарвите груш и яблок.

Сейчас у Платона Платоновича всё свершится. А что же я? Неужто струшу, как в проклятый день Синопа?

Спускаясь по лестнице, я придержал Диану за локоть.

— Что? — спросила она, приятенно улыбаясь.

Эта улыбка придавала мне смелости. Мы были уже так давно знакомы, Диана успела ко мне привыкнуть. Я знал, чувствовал, что стал ей своим. Бывало — в последнее время нередко, — что мы понимали друг друга без слов. А несколько дней назад она задумчиво сказала: «Чудно. С тобой можно сидеть молча — и ничего, не скучно».

Я уже придумал, как признаюсь в любви. Верней, не как, а где. Я ведь не речист, даже Платон Платонович по сравнению со мной златоуст. А там можно будет вообще ничего не говорить. Она осмотрится — и сама всё поймет.

— Пойдешь со мной в одно место? Не сейчас. Завтра, после концерта.

— В какое место?

— На Лысую гору.

Она, конечно, удивилась.

— Зачем? Там же нет ничего. Кусты да камни.

— Увидишь... Я тебе такое покажу...

Диана больше не улыбалась, прочла что-то по моему лицу.

— Хорошо. Ты меня заинтриговал.

Но тут ее снизу позвала Крестинская, и я остался на лестнице один. От волнения было трудно дышать.

Сверху было видно через окно, что Диана с Крестинской остановились во дворе и о чем-то шепчутся.

Влюбленные мнительны. Я вспомнил насмешливую гримаску, с которой поглядела на меня Золотая Кудряшка, и заподозрил, что чертова кукла обо всем догадалась и хочет настроить Диану против меня.

Спустился на первый этаж, подкрался к окну, тихонько раскрыл раму пошире.

Нет, разговор был не обо мне.

— Значит, хорошо тебе живется у Агриппины?

— Как в сказке.

Я чуть высунулся. Крестинская разглядывала Диану со странным выражением.

— Никогда не понимала, что она в тебе нашла. Одно время жутко тебе завидовала, честное слово. Только знаешь, Короленко, я из пансиона тоже ухожу. — Крестинская заулыбалась, и я понял: она смотрит на Диану с торжеством и, пожалуй, превосходством. — Помнишь того молодого адъютанта, князя Ливена? Который был у нас на весеннем балу?

— Еще бы!

Крестинская скромно потупила взор.

— Он сделал мне предложение.

Диана всплеснула руками.

— Правда?!

— Его родители, конечно, были против. Кто он и кто я? Но у Жоржа очень твердый характер. — Крестинская перестала изображать скромность, ее глаза засверкали. — Только представь, Короленко! Уеду отсюда в Пе-

тербур! А закончится эта дурацкая война, мы поедем в Париж. Я взялась за французский как следует. Без этого мне теперь нельзя...

Я потерял интерес к разговору: девчачья болтовня и меня не касается. А наверху в это самое время Иноземцов делал госпоже Ипсиланти предложение. Может быть, всё уже закончилось. Но чем?

Стараясь не скрипеть ступенями, я поспешил вернуться наверх.

Из коридора, с того самого места, где Диана некогда «переводила» мне беседу Платона Платоновича с Агриппиной, было и видно, и слышно, что происходит в гостиной.

Кажется, я не опоздал. До объяснения еще не дошло. Очевидно, вначале капитану пришлось выслушать хозяйку.

— Вашу просьбу я, разумеется, исполню-с, — говорил он, когда я выглянул из-за угла. — Приведу всех своих офицеров — разумеется, молодых и холостых — в пансион на ваш осенний бал. Им это полезно-с, с барышнями полюбозничать.

— Очень признательна, для бедняжек два наших бала, весенний и осенний, такое большое событие! Ну что ж, решено. А о чем со мною желали побеседовать вы?

Капитан откашлялся, заерзал на стуле. Они сидели у стола совсем близко друг от друга. Сидели и молчали. Агриппина вдруг порозовела, коснулась воротничка.

— В горле пересохло... Чай, должно быть, уже остыл. И взяла чашку. Как кстати!

Вдруг — не знаю, что на него нашло — Иноземцов дернулся, задел локоть госпожи Ипсиланти, и чашка упала на стол. У ней отлетела ручка, а чай с волшебным снадобьем разлился!

— Боже, что с вами?! — вскричала Агриппина Львовна. Платон Платонович схватился за висок.

— Виноват-с... Оса укусила. Тысяча извинений!

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

— Дайте посмотрю! Нужно вынуть жало!

Она вскочила, наклонилась, однако капитан поспешно отодвинулся.

— Пустое-с... Агриппина Львовна, я должен вам сказать... нечто... То есть, если, конечно, вам будет угодно меня выслушать...

Здесь Иноземцов закашлялся и осип, как это случилось с ним в минуты крайнего напряжения. Он заговорил так тихо, что даже я с моим острым слухом не мог разобрать ни слова. Видел лишь, что капитан ужасно волнуется, запинаясь и помогает себе жестикуляцией. Агриппина слушала, опустив глаза. Щеки у нее были уже не розовые, а пунцовые. Платон Платонович же, напротив, всё больше бледнел.

Он размахивал руками сильнее и сильнее, голос понемногу креп.

— ...Я недостоин, тут нечего говорить. Какая из меня пара? Ни имения, ни состояния, бирюк бирюком. Вы, конечно, меня сейчас выставите за дверь, и правильно делаете. Но я решил, в бурю лучше обрубить якоря, а дальше, как ветер вынесет... Нету больше моих сил говорить вам одно, а думать про другое. Прошу вас, велите мне идти прочь! И я на всех парусах...

Господи, как же он мямлил! Я понял, что главных слов капитан так и не произнес, всё ходит вокруг да около! Чего, казалось бы, проще: «Люблю, жить без вас не могу, предлагаю твердую руку и пылкое сердце». А он плетет невесть что — пойдй пойми, чего хочет.

Но Агриппина, оказывается, всё отлично поняла. И выжимать из капитана главных слов не стала.

— Погодите, погодите... — Она остановила его движением руки. — Оставьте эти ваши морские метафоры. Платон Платонович, милый... Вы мне очень дороги. За эти месяцы я к вам привязалась. Чтó привязалась — я вас... —

Недоговорила, затрясла головой. — Нет, нет! Вы знаете мою историю! — Госпожа Ипсиланти повернулась к портрету, в ее глазах заблестели слезы. — Я плачу о нем, о моем Саше, каждую ночь! Восемь лет — каждую ночь! Он так мало жил! Он лежит там, на темном океанском дне, совсем один, никому не нужный, всеми забытый! Если и я его предам, что ж это будет? Можно ль так поступить?

В сильнейшем волнении Иноземцов перебил ее:

— Конечно... Да-да, я понимаю. предавать никак нельзя-с. Еще и в канун Александровых именин... То есть, виноват, не в именинах дело, а дело в том, что я подлец. Как это я осмелился вообразить, будто... Да еще сунуться с предложением! Простите меня! Если только это возможно.

Он вскочил, опрокинув стул. Лицо у бедного Платона Платоновича было такое, что у меня просто сердце обрывалось.

Забыв обо всем на свете, я кинулся в гостиную из своего укрытия. Мне показалось, что он сейчас упадет.

— А, Гера, — пролепетал Иноземцов. — Очень кстати. Пойдем, брат. Нам пора... восвояси.

— Погодите, Платон Платонович, мы не договорили! — Никогда еще Агриппина не смотрела на меня так сердито. Я и не подозревал, что она умеет так ожечь взглядом. — Я еще не все вам сказала!

— Нет-нет, нам в самом деле пора-с... — Капитан пятился к двери, неловко кланяясь. Она шла следом. — На фрегат нужно-с. У нас очередь подходит на ночные стрельбы... Надобно подготовиться.

Хозяйка остановилась, поняв, что его не удержишь.

— Но мы ведь завтра увидимся? Смотрите. Вы обещались быть. Слово моряка?

— Конечно. Обещал — исполню-с.

Госпожа Ипсиланти печально сказала:

— Так до встречи на театре!

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

На улице, надевая шляпу, Платон Платонович проговорил с горькой усмешкой:

— Вот именно: театр да и только... Нужно закурить.

Он сунул руку в карман, но вместо сигары достал полупустой пузырек. Поглядел на него — да в сердцах отшвырнул. Маленькая бутылочка покатилась по земле.

Я малость отстал от капитана.

ЗЕЛЬЕ В ДЕЙСТВИИ

...А вот большая и яркая картина, вся наполненная красками и светом, однако по краям обрамленная густой черной тенью.

Это тридцатое августа одна тыща восемьсот пятьдесят четвертого года. День памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Я в Дворянском собрании. Попал сюда я лишь благодаря тому, что состою при капитане «Беллоны». Простолюдину в столь возвышенном месте находиться не положено. Но я в матроске тонкого сукна, брюках со штрипками, сверкающих штиблетах — барчук и только. Платон Платонович позаботился нарядить меня так, чтобы никто не распознал юнгу, нижайшего из нижних чинов.

И всё ж я отчаянно робею. Во-первых, я ослеплен великолепием зала с его белоснежными колоннами, золотой лепниной, хрустальными люстрами, пурпурными портьерами и бархатными креслами; повсюду эполеты, позументы, муаровые орденские ленты, высокие дамские прически, сверкающие ожерелья, алмазные венцы (по иностранному — диадемы). Во-вторых, я трепещу из-за предстоящего объяснения с Дианой. Вчерашнее капитаново фиаско (это как поражение, только еще хуже) не прибавило мне храбрости.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Но я не благородный Платон Платонович, я твердо решил, что от помощи зелья не откажусь. Часто я сую руку в карман и стискиваю потными пальцами бутылочку, которую вчера украдкой подобрал в дорожной пыли. Еще больше я надеюсь на другое мощное оружие — чудесное подземелье с мозаикой, увидев которую Диана сама поймет, как крепко и неразрушимо связала нас с нею судьба.

В креслах места для меня, конечно, не предусмотрено. Там и лейтенантов с поручиками почти не видно, все больше штаб-офицеры с плечами, украшенными золотой канителью. Даже Иноземцова, даром что командир боевого корабля, усадили в десятый ряд...

Но мне в зал было и не нужно. Я сразу юркнул за сцену, специально сооруженную ради спектакля. Там висели занавесы в три ряда: первый — с вензелями Черноморского флота, два остальных с намалеванными декорациями. Было где побродить и где спрятаться. А заодно и к Диане поближе.

Пансионерки и госпожа Ипсиланти заперлись в примыкающей к залу комнате. Я постоял у двери, послушал тихое пение — там репетировали.

Однако когда начался спектакль, я не утерпел и пошел смотреть. Очень уж много диковинного рассказывали у нас в Севастополе про это представление. Будто благодаря всяким хитрым машинам и невиданным трюкам морское сражение в театре совсем как настоящее. Можно ль было пропустить такое диво?

Смотрел я из-за кулисы, то есть сбоку и очень близко. Должно быть поэтому представление мне не шибко понравилось. Актеры были чересчур размалеванные, все время размахивали руками и ужасно орали — даже Лёночка, дочка благородного старика-адмирала, голосила, словно ее режут. И пот по ней лил прямо ручьями.

Единственное, растрогал меня адмирал, когда раскричался про пасынков отечества, опьяненных французщиной и обезьянством. Я сразу вспомнил противную задаваку Крестинскую и даже не удержался, захолопал, когда адмирал гаркнул: «К нам не может пристать западная зараза потому только, что кровь у нас слишком благородная!» В этом месте, правда, весь зал заплодировал, а кто-то даже прогудел командным басом: «Истинно так!»

Однако вскоре я заскучал. Актеры лишь болтали про войну, а сражения всё не было. Я отправился посмотреть, как у них тут устроена всякая машинерия. И правильно сделал. За третьей кулисой, среди каких-то зубчатых колес, натянутых тросов, больших и малых гонгов, я повстречал Диану.

Она была в белом платье, стояла в закутке и часто крестилась. Увидев меня, сказала:

— Не мешай молиться. Господи, Господи, только бы голос не сорвался! Боже миленький, только бы не опозориться! Только бы не подвести Агриппину. — И пожаловалась. — Сухо в горле!

— Я тебе сейчас воды! — обрадовался я, сообразив: вот она, моя удача — сама в руки идет!

Слетал в примерную, цапнул пустую чашку, но около графина с водой замешкался. Нельзя зелье капать в воду — она замутится, будет видно. Что делать?

Вдруг вижу: актриса, что играла Леночку, несет куда-то миску с молоком. И приговаривает: «Мусенькая, Мусенька, кис-кис-кис, где ты мое золотце?»

Чудно, конечно. Только что, пару минут назад эта Леночка убивалась, рыдала, руки ломала — жених у нее на войну отправлялся, а теперь как ни в чем не бывало «кис-кис». Но я не на Леночку, а на молоко воззрился. Пошел тихонько за актрисой.

Кошка нашлась немедленно — наверное, молоко учу-
яла. Выкатилась из-под картонной пушки этакая рас-
кормленная, холеная животиная размером мало не с по-
росенка, на шее шелковый бант.

— Уй ты моя, Мусенька, а вот тебе молочка. Кушай,
солнышко. Кушай, лапушка.

Тут актрису позвали, и я, конечно, миску из-под носа
у толстой Муси выхватил. Отлил сколько надо к себе в
чашку, туда же опорожнил бутылочку.

Сделано!

И скорей назад в закуток, к Диане.

Только Муся, скарденная тварюга, с шипением кину-
лась за мной, хотя у нее молока оставалось больше, чем
полмиски. В жизни не видывал столь злобной и вредной
твари. Кстати я и людей таких встречал: вроде всё у не-
го есть, даже с избытком, а попробуй взять хоть самую
малость, для насущнейшей необходимости — вцепится
зубами и когтями.

Поганая эта Муся у меня прямо на штанине повисла.
Кое-как я ее отшвырнул, подбегаю к Диане:

— Вот... Молока достал... Для горла оно еще лучше.

Кошка тут как тут, снова начала мне брючину когтить,
даже сквозь ткань продирает. Но я терпел, даже почти
не замечал.

Сейчас выпьет, сейчас!

Диана поднесла ко рту стакан, только пригубила —
вдруг страшный грохот. Это мужик в грязном халате уда-
рил колотушкой по железному щиту.

— Огоны! Огоны! — закричали на сцене. — За царя и
отечество! Не подведи, братцы!

Теперь уже трое принялись лупить по железякам. Ди-
ана отставила стакан и зажала уши. Всего разочек глот-
нула. Эх, мало!

Сквозь занавес что-то сверкало, откуда-то потянуло ды-
мом. В зале взвизгнули женские голоса — дамы напугались.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

— Ты пей, пей.

Она не расслышала:

— Что?

Наконец мужики перестали мучить железо, лязг стих.

Диана стояла так близко от меня, ее глаза в полумраке блестели. И я не сдержался.

— ...Знаешь, я ведь тебя в первый раз давно увидал. Раньше, чем встретил...

— Как это может быть? — спросила она, но рассеянно.

Не до меня и моих откровений ей сейчас было. Нет уж, решил я. Лучше заранее ничего не рассказывать. Пусть своими глазами увидит.

— Скоро сама поймешь... Только мы двое будем знать, ты и я...

Но этого она, по-моему, уже не слышала. Смотрела куда-то поверх моего плеча, и выражение сделалось странное.

Я обернулся.

В закоулке вроде нашего стояла Крестинская с молодым и красивым адъютантом. Я догадался: это и есть ее князь. Наверное, как и я, отправился за кулисы искать свою суженую.

— Диана! Короленко! — Золотая Кудряшка помахала рукой. — Вот, познакомься. Мой Жорж. Шери, это Диана Короленко — ну, я тебе рассказывала.

Офицер подошел. Изящно склонившись, поцеловал — то есть, сделал вид, что поцеловал — Диане руку. На меня он поглядел вопросительно. Не понял, видно, что за переросток в матроске. Приятно улыбнулся, протянул руку.

— Георгий Ливен.

Вот князь стервозной Мусе понравился. Она наконец оставила мою штанину в покое, подошла к красавцу-адъютанту и потерлась ему о сапог.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Илюхин... — с трудом выдавил я. — Герасим...

Крестинская скривила носик:

— Ты всё со своим юнгой? Оригинально. Послушай-ка моего совета...

Она взяла Диану под локоть, отвела в сторону. А князь спрятал ладонь.

— Юнга?

Я вытянулся, согласно уставу.

— Так точно, ваше благородие. Вестовой капитана Иноземцова.

— В самом деле оригинально, — сам себе сказал Ливен. — Кыш отсюда!

Я вздрогнул, но это адресовалось не мне — кошке...

Она обиженно запрыгнула на обрезанную картонную колонну, оттуда сиганула еще куда-то.

Мы с князем стояли рядом и смотрели в одну сторону, на шепчущихся барышень. Но можно было подумать, что меж ним и мною тысяча верст. Или что меня вообще нету. Он поглядел с улыбкой на невесту, слегка зевнул. Обратился к ней на французском и пошел себе.

— Ан моман, шери! — прогнусавила Крестинская.

Она шепнула Диане еще что-то, чмокнула ее в щеку. Прошуршала платьем мимо меня, тоже не удостоив взглядом.

Не больно-то мне это было и надо. Вот что Диана стояла расстроенная, с опущенной головой — это меня беспокоило.

— Чего тебе коза эта наговорила?

— Так... ничего особенного. Не в том дело.

На ее ресницах блеснули слезы.

— А в чем?

— ...Крестинская будет княгиня. А что ждет меня? Вечная бедность, убожество!

Всхлипнув и махнув рукой, Диана пошла прочь.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

У меня в груди сделалось холодно и пусто. Я еще не понял, почему. Хотел кинуться за Дианой, чтоб утешить.

— Гера! Как хорошо, что ты здесь! — из-за фанерного бушприта выглянула госпожа Ипсиланти. — Платон Платонович пришел?

— Да.

— Подойди, пожалуйста.

Вот некстати! Мне нужно было бежать за Дианой.

— Покажи, где он сидит.

Пришлось идти с ней к краю переднего занавеса.

Мрачный Иноземцов смотрел не на сцену, а куда-то вниз — а все вокруг жадно и восхищенно наблюдали за картиной только что окончившегося морского побоища. Мне сбоку было видно, как «тонет» сколоченный из досок турецкий корабль. Видно было и рабочих, которые тянули канаты. Погромыхивали последние раскаты грома, над сценой еще не рассеялся дым, а по ту сторону задника, изображавшего восточный город, кто-то жег промасленные тряпки.

Из публики моряки кричали:

— Браво! Всё так и было!

— В точности так! Ура, Россия! Ура, Нахимов!

Я слышал, как Агриппина вздохнула.

— Скажи Платону Платоновичу... После концерта пусть не уходит. Я буду ждать его за кулисами. Мне нужно с ним поговорить. Обязательно передай, слышишь?

— Ага.

Я нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

С силой, которой я от нее никак не ждал, госпожа Ипсиланти тряхнула меня за плечо.

— Не «ага», а непременно передай! Это очень важно! Я всю ночь не спала...

Она еще что-то говорила, но я не мог разобрать — на сцене очень уж раскричался актер с лихо закрученными

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

усами, в морском мундире. Показывая рукой на задник, герой все громче и громче декламировал:

...Воистину была то казнь, не битва!
Как будто фейерверк с огнем и гулом,
Летали ядра, бомбы и гранаты...
Синоп пылал! На рейде три фрегата,
Как свечи пред покойником, горели...
Нахимов прекратил пальбу. Довольно!
Теперь и сами догореть сумеют.
И пушки русския, как львы, замолкли,
И лежа смирно на пожар глядели.

Как только Агриппина Львовна ослабила хватку, я выскользнул из-под ее руки. Боялся, что не найду Диану, но она, оказывается, ушла недалеко. Я обнаружил ее в двух шагах от закутка, где осталась чашка с любовным зельем.

Отвернувшись к занавесу, Диана плакала.

Я дотронулся до ее локтя — она повернулась, ткнулась лицом мне в грудь.

— Кем я стану? Гувернанткой? Домашней учительницей в купеческом доме? Приживалкой? Ах, почему на свете всё так несправедливо!

Каждый слезный взглас будто вколачивал меня в землю. Моя несбыточная надежда, моя невозможная мечта разбилась, рассыпалась вдребезги. Чудо чудом и сказки сказками, а жизнь жизнью. В какой любви собирался я Диане признаваться? Что мог я ей дать? Матросский сын, неуч, голодранец.

— Ладно, чего ты? — сказал я, осторожно глядя по голове ту, которая — ясно — никогда не станет моей. — Всё у тебя будет. Какой захочешь жених. Князь или богач какой. Получше, чем у Крестинской. Она против тебя — тьфу.

Анатолий Брусникин

Диана вытерла слезы платком, потом в него же высморкалась.

— Ой, нельзя мне плакать... Голос сядет... Мы на Лысую гору после концерта пойдем? Только я переоденусь, а то платье жалко.

— Сегодня не получится. Потом как-нибудь...

Раз она больше не плакала, то и гладить стало незначем. Я отодвинулся.

— Диана, скоро наш выход. Идем! — позвала откуда-то Агриппина Львовна.

Я пожелал Диане хорошего выступления. Остался один.

Вблизи раздавалось тихое бульканье. Это Муся вспрыгнула на столик и лакала из чашки молоко. Вот кому достались волшебные капли. Туда им и дорога — в кошачью утробу.

Мне было грустно, пусто, зябко. Будто я на десять лет повзрослел иль вовсе состарился.

А потом раздались звуки рояля, и я пошел на голос Дианы, поющий про моряков, которые собираются в бой, не зная, кому из них суждено погибнуть, а кому вернуться.

Хоть я подобрался к самой кулисе, но Дианы не увидел — ее заслоняли три подпевальщицы. Смотреть на них было неинтересно, и я стал глядеть в зал.

Ангельский хор выводил припев:

Спите, герои, во холодной могиле,
Знайте, герои, мы вас не забыли!

...Я будто въявь вижу перед собою ту публику. Оказывается, моя память сохранила и нарядный зал, и лица. На них одинаковое выражение тревоги и скорби. Я теперешний вдруг догадываюсь: сами того не зная, слушатели и слушательницы предчувствуют свою будущую

судьбу. Из своего нынешнего времени я знаю, что вот этого краснолицего полковника скоро убьют, и рыжего лейтенанта тоже, а майора с нервным тиком тяжело ранят, а вон тот штабс-капитан, растроганно утирающий глаза, сгинет без вести. И дамы с барышнями вскоре одни овдовеют, иные осиротеют...

Кто-то толкнул меня в лодыжку, отвлек от чудесной музыки. Это была Муся. Ни с того ни с сего она сменила гнев на милость — и терлась об меня, и выгибала спину, и мурлыкала. А увидев, что я на нее смотрю, с урчанием легла на спину и растопырила пушистые лапы. В желтых глазах читалось обожание.

Боже ты мой, это ведь она индейского зелья налаклась! А если б молоко выпила Диана, может быть, тогда...

Ничего бы не изменилось, сказал себе я. Всё одно остался бы я несчастным и никчемным нищеводом. Что ж ей, горе со мной мыкать?

В зале что-то треснуло или хлопнуло. Пение скомкалось, оборвалось.

Это с шумом распахнулась дверь. По проходу, звякая шпорами, шел запыленный офицер, выискивая кого-то глазами.

— В чем дело, капитан?

В центральной ложе поднялся тощий, длинный старик с раззолоченной грудью — не иначе сам светлейший.

Офицер побежал к нему рысцой. Все молча провожали гонца взглядом. Хорошую весть таким манером не доставляют — это было ясно даже мне, юнге.

Многие военные догадались, в чем дело, и стали подниматься с кресел. Прямую спину Платона Платоновича я увидел уже у самого выхода. Что б ни стряслось, первая забота капитана — оказаться на своем корабле, с экипажем.

НАШЕСТВИЕ

Все последующие окна, что светятся в сумраке моего прошлого, задымлены и подрагивают от багровых сполохов. Там сплошь война, война, война...

Первый из этих мрачных образов беззвучен и кругл. Отлично помню, что ему предшествовало.

К северу от Севастополя на горе несколько месяцев назад был установлен мощный телескоп для наблюдения за морем — город ожидал вражеского нападения. Как только стало известно, что гонец доставил весть о приближении к нашим берегам союзной эскадры, к телескопу началось паломничество старших офицеров. Пускали далеко не всякого, из флотских рангом не меньше, чем капитан корабля.

Я сопровождал Иноземцова, лишь потому и получил возможность на полминутки заглянуть в круглый зрак магической трубы.

Пока мы ехали с Городской стороны через бухту, а потом на извозчике, Платон Платонович рассказал, что всего в одном переходе от нас, близ Евпатории, появилась невиданная в мировой истории армада из английских, французских, турецких кораблей. Триста шестьдесят вымпелов. По примерной оценке наблюдателей, в десанте не менее шестидесяти тысяч солдат — в полтора раза больше, чем всё население Севастополя. От фланга до фланга развернутой эскадры расстояние верст в пятнадцать.

Вот мы доехали до места, капитан показал караульному начальнику записку от коменданта порта. Стали подниматься по крутой тропинке на смотровую площадку.

Я нес за капитаном его собственный телескоп, тяжелый, английской работы. Платон Платонович сказал,

что пункт для наблюдения хорош, но к казенному аппарату навряд ли пробьешься. И оказался прав.

Подле громадной трубы, нацеленной вдаль, стояли несколько адмиралов и штаб-офицеров, в том числе сам Корнилов, моложавый и стройный, с красиво подстриженными усами.

— Мы сторонкой пройдем, — шепнул Иноземцов. — Никто нас и не увидит. А то представляйся, потом отпрашивайся...

Мы сделали крюк и вышли к краю утеса, над самым обрывом. Отсюда начальству нас было не видно.

— Ага. — Капитан, хмурясь, смотрел на горизонт. — Ишь, надымили. Поставь-ка мне, Гера, трубу вон на тот камень.

Не без труда разглядел я нечто вроде темной низкой тучи, какие бывают перед штормом. Однако день был солнечный и ясный, а барометр никакой бури не сулил.

Водрузив телескоп на треногу и поколдовав над колесиками, Платон Платонович повернул фуражку козырьком к затылку и надолго припал к окуляру. Я даже заскучал.

Вдруг смотрю — вся группа начальников отдалается от огромного, с добрую пушку, телескопа. Идет к поставленному поодаль столу, и адмирал Корнилов что-то втолковывает, а остальные внимательно слушают. Около трубы же совсем пусто, и никто в ту сторону не оборачивается.

Ну и не удержался я. Пригнулся, прошмыгнул к чудесному инструменту.

Не знаю, какое у него было приближение, но когда я заглянул в круглую дырку, то ахнул. Там, где только что не было совсем ничего, один пустой горизонт, чуть окутанный темной дымкой, шли нескончаемой шеренгой корабли. Краев было не видно, а за первой шеренгой виднелась вторая, третья, четвертая — и без конца. Голые мачты торчали сухостойным лесом.

Я не раз видел во всей гордой красе строй нашей Черноморской эскадры, когда она выходила в открытое море на адмиральский смотр и трехпалубные линейные корабли, каждый — снежная гора из парусов, шли под ветром длинною колонной или делали поворот «все вдруг». Однако то, что я увидел в телескопе, не было похоже на развернувшийся флот. С чем бы это сравнить? Вот у нас на Корабельной стороне были судоремонтные мастерские, над которыми беспрестанно дымили трубы кузнечно-ковочного цеха. Союзный десант выглядел так, словно по морю плыл невиданных размеров завод, коптя бессчетными печами.

Был штиль, поэтому приземистые пароходы тянули за собой черно-белые, костлявые громады парусных судов. Это медленно ползущее скопище по размеру было в несколько раз больше всего нашего Севастополя!

Долго пялиться в телескоп я не осмелился. Если б кто-то заметил, было б мне на орехи. И убрался я подобру-поздорову назад к Иноземцову, который всё глядел в свою персональную трубу. Была она раз в сто меньше адмиралтейской, а все же, видно, недурна. Время от времени Платон Платонович отодвигался от нее и записывал названия отдельных кораблей. Уж не знаю, как он их опознавал. Должно быть, по силуэту.

Я оглянулся вниз, на рейд, где стояла наша эскадра. Из-за того, что вражеский флот вновь сжался до размеров дальней тучки, а наши красавцы-корабли стояли близко и грозно щерились оскаленными зубами пушечных портов, я немного ободрился.

— Платон Платоныч, чего мы ждем-то? Вышли бы в море, да ка-ак вдарили бы со всех бортов! То-то б они заволошились!

Не отрываясь от телескопа, капитан ответил — шепеляво, потому что держал в зубах карандаш:

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Как же мы выйдем? Видишь: штиль. У нас пароходов кот наплакал.

Я задумался.

— Платон Платоныч, почему у них пароходов вон сколько, а у нас кот наплакал?

Тут он обернулся, вынул карандаш и процедил, зло:

— Это ты спроси у... — Но не сказал, у кого. Сдержался. — Испокон веку одна и та же беда. Всё на печи сидим, запрягаем долго. Профукали море! Как бы Севастополь теперь не профукать... Эх, брат, один теперь выход...

Когда он, всегда такой спокойный, ни с того ни с сего окрысился, я испугался. Не за себя — ясно было, что я тут не при чем. За Севастополь испугался. Но последняя фраза меня обнадежила.

— Значит, есть выход? Какой?

У Иноземцова сделалось несчастное лицо. Он мне не ответил.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Ответ на свой вопрос я получил десять суток спустя.

День был ясный, сентябрьский, на небе ни тучки, а запомнился он мне — и, думаю, всем, кто там был, — черным, будто затмилось солнце и на землю спустилась темная ночь.

...Я стою на стрелке, в густой толпе, под стенами Александровского форта. По всей кромке берега люди. Большинство в морской форме. Вокруг меня сплошь наши матросы, с «Беллоны». Сам фрегат в двух кабельтовых от берега, он повернут в нашу сторону бушпритом. Золотой шлем богини ослепительно сверкает, а если приложить ладонь ко лбу и прищуриться, можно разглядеть ее лицо.

От солнечных бликов оно будто гримасничает. В резных чертах ни страха, ни горя, ни сожаления. Лишь довольство, презрение, холодное торжество. И кажется, что все мы, тысячи севастопольцев, собрались здесь поклониться богине. Корабли, стоящие шеренгой напротив горла Большого рейда, тоже выстроились в ее честь.

«Беллона» и остальные суда покачиваются на волнах с голыми ряями. Паруса сняты. Орудийные порты распахнуты, но пушек нет. Всю артиллерию свезли на берег. На палубах пусто.

Между кораблями и набережной прыгает средь барашков адмиральский катер. На фоне деревянных громад он словно щепка. Но все взгляды устремлены на маленькое суденышко. Верней, на узкую темную фигуру, стоящую на баке. Она неподвижна, качка ей нипочем. Это Корнилов.

Одной рукой он сдергивает двухуголку. Другая поднимается. В ней белый платок.

Взмах...

На Карантинном равелине ударил выстрел. Густым плевком из бойницы вылетело облачко дыма.

Вокруг меня, и дальше, по всей береговой линии, прокатился единый стон.

Ничего не произошло. Только раздался частый глухой стук, будто сотня невидимых дровосеков взялась валить лес.

Это и в самом деле стучали топоры, но рубили они не деревья, а днища кораблей.

Тому два дня князь Меншиков дал сражение на реке Альме, всего в 25 верстах от города, и не смог остановить неприятеля. Побило невесть сколько народу. На подводах и фурах всё везли и везли раненых. Завтра иль послезавтра враг мог выйти на Мекензиевы горы, и весь рейд был бы перед ним, как на блюде.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Поэтому начальство приняло страшное, не укладывающееся в голову решение: затопить половину эскадры у входа в бухту, потому что в сражении с вражеской армадой у Черноморского флота нет шансов на победу. Слишком неравны силы.

Вчера Иноземцов зачитал ужасный приказ своим офицерам, и в кают-компании чуть не случился бунт.

«Сдаваться без боя — позор! Нужно выйти в море и погибнуть с честью! Надо телеграфировать государю, это измена!» — кричали лейтенанты и мичманы. Даже старый штурман Никодим Иванович сказал: «Не подчиняться, и точка».

Платон Платонович, дав всем отбушеваться, заговорил печально, но твердо.

— Господа, на войне погибают с честью только в одном случае. Когда нет возможности с честью победить. А нам с вами сдаваться рано-с. Командование приняло единственно возможное решение. Иного выхода нет. Если эскадра выйдет из бухты, то вся погибнет в неравном бою безо всякой пользы. И тогда враг легко захватит порт. Не будет Севастополя — не будет Черноморского флота. А сохраним город — построим и новый флот. Паровой, бронированный. Не хуже ихнего. Пушки и матросы нужны на суше, отражать десант. А корабли, в том числе наша «Беллона»... — Только в одну эту секунду его голос дрогнул. — ...Тоже будут защищать Севастополь — своими телами, перегородив фарватер. Не то англичане с французами, подавив наши форты поодиночке концентрированным огнем, войдут на рейд и расстреляют город в упор.

И все офицеры умолкли.

...Платон Платонович стоит впереди всех, у самой воды. Я вижу его прямую спину и сцепленные сзади руки в белых перчатках.

Возле меня отец Варнава, он всё бормочет молитвы о явлении чуда и всхлипывает, всхлипывает. Кто-то давится рыданиями. «Что ж это, братцы вы мои», — причитает по-бабьи тонкий голос.

Непонятный народ матросы, думаю я. Вроде служба у них — неволя, корабль — плавучая тюрьма. Вся жизнь — тяготы, мучения да опасности. А вот ведь — плачут.

И сам я такой же. До чего ненавидел я фрегат, когда попал на него против своей воли; какой враждебной и жуткой стервой казалась мне эта Беллона с ее надменным лицом, отполированным ветрами.

Но частят топоры — то не дровосеки, а гробовщики — и корабль подрагивает, словно от боли, начинает понемногу крениться влево, а я смотрю и не могу вздохнуть, и слезы катятся по щекам, и я их даже не вытираю.

Адмирал, словно истукан, всё торчит в катере, только надел шляпу и поднес к ней согнутую в локте руку с прямой ладонью.

Несколько раз по берегу пробегает стон — это когда очередное судно начинает уходить под воду. Над мелкими волнами торчат верхушки мачт, словно кресты на могилах. А наша «Беллона», даром что мельче стопушечных линейных кораблей, всё держится. Раскачиваться раскачивается, да не тонет.

И вот она осталась совсем одна. Шлем военной богини сверкает на солнце.

Вокруг меня уже не плач — ропот.

— Не желает топнуть, матушка... Может, помилуют?.. Ваше высокоблагородие! Господин капитан! Попросите адмирала!

Растолкав передних, вперед пошел отец Варнава.

— Оннако чудо явное! — взывает он к капитановой спине. — Явлено прилюнно! О том и молитву возносил —

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

все слышали. Платон Платонович, и в Евангелии о милосердии изречено!

Иноземцов оборачивается — впервые за всё время. Лицо неподвижное, будто сведенное судорогой. По-моему, он не слышал обращенных к нему голосов. И на отца Варнаву глядит, как сквозь стекло.

А вот адмирал — тот гомон экипажа будто услышал. Или догадался, что здесь сейчас происходит.

Он резко оборачивается к берегу. Я вижу острыми своими глазами, что скуластое лицо блестит от слез, но при этом очень сердито.

Главный начальник грозит команде фрегата кулаком...

Поднимает руку. В ней не белый платок — черный.

Взмахнул — с Карантинного бастиона снова выпалили, теперь дважды. Это, должно быть, сигнал.

Стук топоров, несшийся из трюма, прекращается. На палубу бегом поднимается дюжина матросов во главе с боцманом, у каждого в руке топор или кирка.

Они быстро спускаются в шлюпку, плывут к берегу.

— Отменил приказ! — проносится в матросской гуще. — Поплавает еще «Беллона»-то наша!

Но черный платок делает круговое движение. С бастиона бьет целый залп. У борта нашего корабля вскидывается вода, прямо над ватерлинией чернеют дыры.

Судорожно дергаясь, фрегат черпает воду и уходит вниз. Быстрее, быстрее, еще быстрее.

Я не могу на это смотреть. Я отворачиваюсь.

Вокруг рыдают почти все. Визгливо лает корабельный пёс Ялик. Мартышка, дрожа, прижалась к моему залятому врагу Соловейке. Этот не плачет, но морда такая зверская, что лучше бы уж плакал.

Зажмурившись, я представляю, как «Беллона» медленно опускается на дно.

Вот она покачнулась и встала, увязнув в иле медным килем. Выпрямилась. В зелено-голубой воде тускло мерцает шлем Беллоны. Богиня смотрит своими слепыми глазами на рыб и медуз, на колышущиеся водоросли. Деревянные губы раздвигаются в довольной улыбке. Беллона знает, что главное ее празднество впереди. Отсюда, со дна бухты, в царственном изумрудном чертоге, она будет принимать от своих подданных обильные жертвоприношения...

БАСТИОН «БЕЛЛОНА»

Вспомнил, как это было — и сразу будто заскрипело на зубях. Всюду пыль: колышется в воздухе, застит солнце... Она в складках одежды, во рту, в носу. Отовсюду несутся «тьфу!» да «ап-чхи!», потому что вокруг беспрестанно отплеваются и чихают, а еще слезятся глаза. Скрежет железа о камень, хруст топоров, визг пил. И крики: «Навались! И-и-и, ррраз! Пошла, милая!» — это взвод матросов волочет на тросах корабельную двадцатичетырехфунтовую пушку.

Когда через разведчиков стало известно, что враг идет не напрямик к незащищенному Севастополю, а зачем-то обходит нас по длинной дуге, держась на отдалении, Иноземцов вначале не хотел верить. Отправился проверить, правда ли. Джанко его одного не отпустил. Ну и я увязался. Вестовой я или кто?

Конный ездок из капитана был неважнецкий. Известно, как моряки на лошадях сидят: будто кошка на заборе. Я верхами и вовсе никогда в жизни не ездил, поэтому дали мне не коня, а старенького смиренного мула — и то я держался обеими руками за луку. Боялся, выва-

люсь. Зато Джанко красовался орлом-соколом, безо всякого седла. Одна рука на боку, в другой — дымящаяся трубка. Уздечки у него не было, конь слушался индейца и так. Наверное, Джанко, когда надо, давил гнедому на бока коленями, но со стороны это выглядело, будто они одно целое — как люди-лошади, которых я видел в своей пещере, еще не зная, что они называются «кентавры». Индеец то уносился по горной дороге вперед, то так же лихо возвращался. Нас с Иноземцовым не подгонял, но поглядывал презрительно.

Наконец мы поднялись на вершину, откуда открывался вид на вражеское войско, растянувшееся многоверстной колонной по шоссе. Будто огромная, серая от пыли змея обползала наш город и не шибко спешила, чтоб задушить наверняка. Платон Платонович дал мне бинокль посмотреть на длинные тысяченожки стрелковых батальонов, гусеницы эскадронов, гирлянды батарейных упряжек, бесконечные ленты обозов. Всё это скопище двигалось с севера на юг, в обхват Севастополя, по направлению к Балаклаве.

Сильно Иноземцов обрадовался, когда убедился: всё правда. Французы, англичане и турки с разбегу атаковать не собираются. А поскольку собеседников рядом не было (Джанко без интереса поглядел вниз да улегся спать), свои мысли Платон Платонович излагал мне.

— Это они с жиру бесятся, — довольно приговаривал капитан, ведя вдоль колонны биноклем. — На всякого мудреца довольно простоты. Очень уж в себе уверены, да-с. Ну и солдат своих жалеют. Оно, конечно, похвально, только скупой платит десятикратно... Ну теперь поглядим-с...

На обратном пути мы сделали крюк, поднялись к телеграфной вышке. Линия таких семафоров была протянута от Севастополя на сотни верст, до Николаева, где

находился штаб Черноморского флота. Днем сигналили шарами и флажками, ночью — огнями. Сообщение доходило часов за двенадцать. Иноземцов рассказывал, что в Европе таких телеграфов осталось мало, там теперь шлют депеши по электрическому кабелю, раз в сто быстрее. Но зато с нашей телеграфной вышки открывался вид на город и рейд.

И я увидел, что по всему семиверстному полукружью от Восточно-Инкерманского маяка до Херсонесской бухты будто проложена растрепанная веревка — это шли земляные работы. Севастополь срочно подпоясывался укреплениями. Они едва наметились, но мне показалось, что город будто отрезал себя от остальной суши, приподнялся над нею и завис в воздухе. Отрезанный ломоть. И жесткий. Захочешь откусить — обломаешь зубы.

— Вон тот участок отведен нам, — показал Платон Платонович куда-то за окаем Городской стороны. — Наш корабль теперь будет там.

И мы построили новый корабль, земляной. Иноземцова назначили командиром бастиона, прикрывающего город с зюйда. Туда перевезли снятые с фрегата орудия, экипаж переименовали в гарнизон. В считанные дни на покато́м склоне холма — аккуратно напротив моей Лысой горы, оказавшейся за линией обороны, вырос насыпной зигзаг, обрамленный рвом. Поверху — амбразуры, обложенные плетеными фашинами, и бойницы для стрелков, укрепленные мешками с песком.

Рыли не только мы, рыл весь город. Солдаты, матросы, мастеровые, арестанты в халатах, даже бабы. Я видел на картинке, как строили Вавилонскую башню: муравьишки копошатся, а громада растет. Так было и у нас. Одни махали лопатами, другие таскали носилки с камнями, третьи волокли пушки, четвертые рыли блиндажи. Даже маль-

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

чишки и девчонки с Корабельной помогали — плели здоровенные корзины, наполняли мешки. И над всей этой возней — так мне казалось — с каждым днем всё выше поднимался Заколдованный Град, крепкий не своими скороспелыми укреплениями, а упрямой и сосредоточенной волей людей, которые не собираются сдаваться.

Союзники наши приготовления, похоже, всерьез не принимали. Прошла неделя, потянулась вторая, но никто на нас не нападал. Британский флот встал в Балаклавской бухте, французский — в Камышевой. Неторопливо рассредоточились по долинам и окрестным холмам красные английские войска и синие французские. Куда подевались турки, из-за которых заварилась вся каша, не знаю. За всё время я не видал близ нашей позиции ни одного турецкого солдата.

Мы рыли днем и ночью, без перерыва, а с той стороны за нами в трубы и бинокли глядели наблюдатели. Однажды утром, когда поднялся рассветный туман, мы увидели, что за ночь напротив нашей линии вырос длинный вал. Он был невысок, но стал быстро подниматься. Лишь теперь сделалось окончательно ясно: штурм с ходу можно не ждать, будет осада. И все вздохнули с облегчением.

Я торчал неподалеку от капитана, когда он говорил офицерам:

— Это они нарочно нас не трогают-с. Дают сосредоточить все силы на отдалении от городских кварталов. Рассчитывают задавить силой огня, обескровить и понудить к сдаче, не доводя дело до уличных боев с неизбежными потерями. Что ж, тем для нас лучше-с...

Бастион наш получил название потопленного фрегата. Со стороны города матросы крупно — чтоб было видно издалека — выложили на земле из белых камешков: **ФРЕГАТЪ «БЕЛЛОНА».**

И внутри все обозначения были привычные, корабельные.

Землянки у нас назывались «кубриками». Орудийные амбразуры — «портами». Столб с флагом — «грот-мачтой». Левая сторона — «ютом», правая — «баком». Пороховой погреб — «крюйт-камерой».

Обзавелся наш фрегат и «кают-компанией».

В центре позиции, прикрытый брустверами, торчал небольшой холм. Тыловую его половину начисто срыли, так что образовался трехсаженный обрыв, и под ним — мертвое пространство, куда не могли долететь вражеские ядра. На этом пятачке Иноземцов приказал вырыть канаву в виде замкнутого квадрата. Посередке сделали настил из гладких досок. Во время совещания или трапезы офицеры садились по краям, свесив ноги в канаву, — получалось, будто вокруг стола.

А уцелевшая половинка холма называлась у нас «квартирдеком», и венчал ее «мостик» — деревянная вышка с лесенкой. Оттуда Платон Платонович наблюдал за вражескими работами. Оттуда же он собирался руководить боем.

...Вот идет Джанко со странною ношей — тащит на спине огромный тюк из парусины, в несколько раз больше индейца размером, но, кажется, нетяжелый. При этом на голове у Джанко еще торчит вверх ножками красивый стул — я узнал его, он из кабинета Платона Платоновича.

Матросы провожают это диво любопытными взглядами. Угол развязался, и на землю вываливается неожиданный предмет — подушка в цветастой наволочке. Теперь видно, что вся ноша состоит из подушек, тюфяков и прочих постельных принадлежностей.

Соловейко, назначенный старшиной плотницкой команды (она настилает вдоль бруствера дощатую «палубу», чтоб ноги после дождя не вязли в грязи), кричит:

— Ребята, гляди! Индей ночевать собрался. Ты еще бабу прихвати!

Под всеобщий хохот Джанко невозмутимо подбирает подушку и топает себе дальше, будто та самая гора, что решила идти к Магомету.

Мне любопытно. Вообще-то дело вестового постоянно находится при начальнике: то пошлют передать приказ, то, наоборот, что-нибудь выяснить, или же понадобится принести из блиндажа нужную вещь. Но Платон Платонович, жуя сигару, уже минут десять разговаривает со штурманом Никодимом Ивановичем, который за отсутствием навигационных забот стал при нем вроде заместителя. Они сосредоточенно чертят что-то щепками на земле.

Кажется, можно отлучиться.

Я отправляюсь за индейцем. Он зачем-то волочет свою ношу на «квартирдек».

Вдруг свист.

С вражеских позиций пушки постреливают уже второй день, хоть и не сказать, чтоб часто. Платон Платонович сказал: начинают пристреливать квадраты.

Я обнаружил, что, если прищурюсь, могу видеть полет ядра (по-артиллерийскому — «траекторию выстрела»). Оно летит несколько секунд, и при известном навыке заранее понятно, куда примерно упадет снаряд.

Но такого свиста, как этот, я еще не слыхивал. И ядра что-то не видно.

Снаряд я замечаю в последний момент. Он падает не так, как прежние, а почти отвесно — сверху вниз.

Ударившись о землю, черная круглая штуковина заветелась, зашипела, заплевалась искрами.

Это не ядро, это бомба!

Я сразу вспомнил, как запыхал факелом Степаныч, когда ему под ноги попала турецкая зажигательная. Но осколочная ничуть не лучше.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Я упал ничком, закрыл затылок руками — и тут же лопнуло, грохнуло, завизжало.

Не сразу я соображаю, что можно было и не падать. Бомба разорвалась, во-первых, на пустом месте, а во-вторых, в доброй полусотне шагов.

Быстренько поднимаюсь, гляжу на Иноземцова — видел мой нырок или нет?

Платон Платонович смотрит не на меня, а в небо. Лицо у него задумчивое. Почесал кончик носа.

— Эй, плотники!

Подбежавшему Соловейке капитан говорит:

— Ты вот что, братец. «Палубу» настилать не нужно. От бомб она щепками разлетится, людей поранит. Лучше поплотнее землю утрамбуйте.

Пока они там обсуждают, чем лучше трамбовать, я иду вглубь укрепления. Там что-то посверкивает чудесным переливчатым сиянием.

Это отец Варнава, в одной тельняшке, обивает золотой тканью внутренность маленькой деревянной будки вроде тех, которые ставят для часовых.

— Часовенка будет, для Николы угонника, — охотно объясняет мне поп. — И риза старая сгодилась. Красота? После еще лампадку повешу.

Потом я, задрав голову, наблюдаю за странными действиями Джанко. Он влез на «мостик», поставил стул, а всю переднюю часть, где перила, прикрывает матрасами, тюфяками и подушками.

Вон оно что! Хочет защитить капитанское место от пуль.

Пули над бастионом тоже посвистывают. Вражеские нарезные винтовки легко достают до нас. Во время боя — штурма или артиллерийской дуэли — Платон Платонович, конечно, будет на виду у ихних стрелков. Как во время Синопа. От ядра или бомбы пух-перо не уберегут,

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

а вот пущенная с пятисот шагов пуля в них застрянет. Молодец, Джанко!

Бастион мы строим уже девятый или десятый день, и если я столь явственно вижу именно это утро, на то имеется своя причина.

— Гера! Куда ты запропастился? — слышу я голос Иноземцова.

Бегу со всех ног...

— Беги... сам знаешь куда, — тихо сказал Платон Платонович. — Три часа назад Агриппина Львовна прислала записку, попросила доктора, если он сейчас не занят. Осип Карлович перевязочный пункт обустроил, раненых пока нету. Я отпустил. А он ушел и не возвращается. Тревожно мне. Вдруг что с нею или с Дианой? Госпожа Ипсиланти попусту не попросила бы...

Я уж хотел бежать, но капитан меня остановил:

— Погоди... Это еще не всё. Пусть они возьмут самое необходимое и отправляются на северную сторону. В городе скоро будет опасно. Вот, держи. Это записка для баркаса. Это — квартирмейстеру, чтоб выделил коляску. А это... — Он вздохнул. — Скажи, покорнейше прошу взять у меня денег в долг. На бастионе они мне не нужны. И уж уговори как-нибудь, постарайся.. Если не возьмет, будешь за всё платить сам. Ты позаботься, чтоб они там, в Симферополе, хорошо устроились.

— Как в Симферополе? — вскинулся я. — Платон Платоныч, ваше высокоблагородие, за что отсылаете? Мое место здесь, при вас!

— Нет. Твое место при них. Всё, юнга, беги.

Я побежал, конечно.

Но до того мне стало обидно — слов нет. Опять капитан решил меня с фрегата списать. Не забыл Синопа, значит...

А только не выйдет у вас, Платон Платонович.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

На углу Сиреновой улицы я обогнал еле плетущуюся арбу, в которой лежали и сидели, свесив ноги, несколько раненых. Это были не наши — сухопутные. Некоторые сидели, болтали меж собой и покуривали, но один из лежащих громко и жалостно стонал.

— Братцы, мочи нет! Братцы, мочи нет! — всё вскрикивал он.

Ему лениво отвечали:

— Нет мочи — помирай, а сердце не рви.

Я поскорей прошел мимо и отвернулся.

Дверь дома была приоткрыта. Тревога, передававшаяся мне от Платона Платоновича и усилившаяся при виде раненых, окрепла. Не постучавшись, я пошел вверх, на невнятный мужской голос.

Это был наш Осип Карлович.

Он говорил:

— ...Сие, сутарыня, открытый перелом. Накладываю шину. Вот так...

О, господи!

Я взлетел по ступеням и застыл на пороге гостиной.

Госпожа Ипсиланти и Диана сидели у стола, на котором возвышалась бронзовая голая дева с луком и стрелами. Это была древняя богиня охоты, а звали ее, как мою несбывшуюся мечту — Дианой.

Доктор Шрамм с засученными по локоть рукавами за чем-то прикручивал к руке богини две деревянные дощечки. Кроме того у статуи на голове была плотная повязка навроде шлема, а шея обмотана бинтом.

— Фот и фся хитрость, — сказал Осип Карлович. — Ясно?

Обе слушательницы кивнули, причем Агриппина записала что-то в тетрадку. Я не мог уразуметь, что всё это означает.

— Теперь ресаные раны. О, это самое легкое.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Лекарь подвинулся. Я увидел, что на столе лежит свежеошипанный гусь.

— Выклятит ресаная рана вот этак...

Шрамм взял нож и рассек тушку. Из-под пупырчатой кожи засочилась кровь. Диана страдальчески наморщила лоб, Агриппина снова кивнула.

— Преште фсего, Акриппина Льфофна, смачиваете спиртом корпию... Протираем рану. Фот так... — Руки врача ловко двигались. — Кусь не-орёт, но раненый пует орать — это ничефо. На это не нушно опращать фнимание. Перём иколку-нитку. Ну, это парышни хорошо умеют... Чик-чик-чик. Котово.

На месте разреза остался аккуратный шов.

Я громко кашлянул.

— Здравствуйте...

Смотрел я исключительно на хозяйку. С того самого дня, когда я понял, что чудес в моей жизни больше не будет, с Дианой мы ни разу не виделись. И сейчас встретиться с нею глазами я не осмелился.

Агриппина Львовна обернулась, всплеснула руками. А Диана — Диана вскочила и закричала:

— Гера! Гера! — да так радостно, что мое дурацкое сердце ёкнуло. Я представил себе, что сжимаю его в кулак. Вроде помогло.

— Что на бастионе? Как Платон Платонович? — быстро проговорила госпожа Ипсиланти, идя мне навстречу. — Мимо нас с самого утра везут раненых. Я так волнуюсь.

— Все целы пока, слава Богу. Платон Платонович велел кланяться.

Я говорил сдержанно, солидно.

— Раненых нет — корошо, — заметил доктор. — Токта я фыпью чаю. И потом мошно протолшить урок.

— Нет, Платон Платонович прислал меня с поручением. Скоро ихние батареи закончат пристрелку и вдарят по-

настоящему. Уезжать надо. Я вас, Агриппина Львовна, на тот берег перевезу. А оттуда поедете в Симферополь. Уж и коляска снаряжена. Собирайте вещи, я помогу.

Про деньги я говорить не стал. Чем уламывать Агриппину, лучше по-тихому сунуть Диане. Она в хозяйственном смысле потолковей своей опекунши будет.

А госпожа Ипсиланти возьми и скажи — спокойно так, будто о давно решенном:

— Никуда я не поеду. Где Платон Платонович, там и я. Видишь, я начала учиться медицинскому делу? Когда начнется бой, я найду себе место.

Далеко не сразу понял я, что именно означают ее слова. Взглянул на портрет мичмана — вот это дела: траурная лента исчезла!

— Так и передать? — переспросил я.

И посмотрел на Диану. «А я тебя предупреждала, что этим кончится» — говорило ее лицо.

Даже Осип Карлович, на что беспонятливый в тонких чувствах человек, и тот скорчил рожу: вон-де оно как.

Ладно.

Подошел я к Диане.

— Давай, собирайся. Я тебя на ту сторону переправлю и устрою, как надо. Ваших-то пансионских, поди, давно из города увезли.

— Да-да. Я тоже об этом думала. — Госпожа Ипсиланти обняла воспитанницу. — Видишь, всё и устроилось. Спасибо Платону Платоновичу. Поживешь с девочками. Собери вещи, а я пока напишу записку Эрнестине Николаевне.

Но Диана не тронулась с места. И глядела она не на Агриппину — на меня.

— Ты поедешь со мной до Симферополя?

— Нет, только доставлю на ту сторону и посажу в коляску. У меня же фрегат. В смысле, бастион.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

И тогда она сказала, в точности тем же тоном, что Агриппина Львовна.

— Никуда я не поеду. У тебя фрегат, а у меня ты.
Я, конечно, захлопал глазами.

Поди, разбери их, женщин. Помру — так и не разгадаю ихнего устройства.

ЖЕРТВА БЕЛЛОНЕ

...А это уже первый день октября. Я больше не вестовой при капитане. Или, правильной сказать, не только вестовой. С нынешнего утра я — сигнальщик, должность новая, прежде небывалая и, что называется, на виду. В самом прямом смысле.

Я наверху, надо всеми. После слов Дианы «а у меня ты» мой дух, как пишут в книжках, воспарил. Опять же и телесно я вознесен над людьми. Я нахожусь на «мостике», гордо возвышающемся над «Беллоной».

Бастион два дня как достроен, готов к сражению и теперь, по словам Платона Платоновича, «заканчивает прихорашиваться». К брустверам проложены утрамбованные песчаные дорожки, двери землянок и блиндажей свежепокрашены, к лесенкам, что ведут на брустверы, сделаны канатные поручни, под «грот-мачтой» — судовой колокол, отбивающий склянки, и повсюду — просто так, для красоты — развешаны спасательные круги с названием фрегата, хотя здесь они, конечно, никого спасти не смогут. Пес Ялик обзавелся личным жилищем, какого на корабле у него не было: будкой, покрашенной на манер тельняшки. Мартышка Смолка поселилась под лафетом пушки, при которой состоит фейерверкером ее покровитель Соловейко. Для определения силы и направления ветра (их необходимо учитывать при коррекции артил-

лерийского огня) у нас на мачте сделан небольшой парус, рея которого может поворачиваться в любую сторону. Издали бастион, должно быть, и вправду напоминает плывущий по волнам корабль.

Неприятель тоже почти готов к драке. Напротив нас, на не столь дальней, но теперь недоступной Лысой горе, в недрах которой таится одному мне ведомое сокровище, французы заканчивают строить свои батареи. Первая линия уже возведена, но им этого мало — выше по склону они затеяли второй ярус, чтоб, когда начнется канонада, задавить нас двойной мощностью огня. Нижний-то ярус пощипывает нас и теперь. То ядро швырнет, то бомбу подкинёт. Ядро просвистит над ничейной землей, бомба прогудит по небу — и жахнут, куда Бог пошлет. Или в бруствер, или внутрь бастиона, или дальше, где землянки резерва, перевязочный пункт доктора Шрамма, камбуз и прочее тыловое хозяйство. У нас ведь от передовой до глубокого тыла шагов сто. И повсюду копошатся люди. Комендоры — у пушек, подносчики — возле снарядных горок, стрелки сидят подле бойниц, землекопы копают, маляры красят, подметальщики метут. Одно слово — корабельная жизнь. Казалось бы, каждый вражеский выстрел кого-то обязательно достанет.

А между тем, хоть по фрегату, в смысле бастиону, с утра выпущено (я считал) сорок семь бомб и ядер, у нас никто не убит, не поранен.

Потому что капитан учредил полезную должность «сигнальщик» и определил на нее юнгу Герасима Илюхина, приметив его, в смысле мою, исключительную зоркость в сочетании со звонкостью голоса. И удостоился я повышения.

С самого утра, повышенный и вознесенный, сижу я на почетном месте, обустроенном для капитана его заботливым индейцем. Удобно развалился на стуле, подложив

под задницу подушку. Рядом на столике графин с лимонадом, коробка с сигарами. Сигару я разок курнул — гадость, а вот лимонная вода на солнышке вещь хорошая.

Вражеская позиция передо мною, как на ладони. Раз в пять минут то там, то сям ба-бах! — вылетает клуб дыма. Я сразу выпрямляюсь, ладонь ко лбу и слежу за полетом снаряда. Вначале не всегда угадывал, куда он приземлится, но довольно скоро насобачился.

К примеру, крикну:

— Баба! Кажись, на шкафут!

Это значит, француз кинул бомбу и ударит она в середину нашей брустверной линии. После моего крика народ кидается оттуда врассыпную — все наши держат ухо востро и сигнальщика слушаются. Бомба хрясь в землю. Вспышка, грохот. Во все стороны летят осколки, комья, камни. А люди целы, только рытвина осталась. Через десять секунд все снова работают, а землекопы лопатами засыпают вмятину. Прошла минутка — и будто не было попадания.

Если же я кричу:

— Яшка! Мимо! — то никто на пущенное в молоко ядро и головы не повернет.

Хорошо мне. Будто я бог с пещерной картины. Восседаю на облаке, повелеваю поднебесным миром, и на моих мозаичных устах сияет блаженная улыбка.

А и как мне не блаженствовать?

Она сказала: «Никуда я не поеду. У тебя фрегат, а у меня ты». Это во-первых и в-главных.

Во-вторых: съел, гад Соловейко? Хоть ты в мою сторону не глядишь и рожу свою конопатую воротишь, а когда я завопил: «На баке! Яшка!» — дунул оттуда, только подметки засверкали.

Вражьи стрелки меня уже с час как исчислили. Пуляют довольно кучно, от тюфяков с матрасами ключья ле-

тят. Но, спасибо предусмотрительному Джанко, ихняя пальба мне не страшной гороха. Слезать по лесенке, конечно, будет жутковато, но индеец и это предусмотрел.

Когда вокруг вышки начали визжать штуцерные пули, он притащил большую охапку сена, свалил вниз и показал: если что — не спускайся, а сигай. Так я и сделаю.

Ба-ах! Облачко дыма в левой части французской батареи. У них там на ярусе двадцать восемь пушек, и все они мне уже знакомы. Эта, нынешняя, плюется «яшками». Сорок восьмой выстрел.

Наши все застывают, на меня устремлены сотни глаз.

— Не наша! — ору. — Влево берет!

Все снова задвигались. А я достаю трубочку. Вы там внизу копайте-таскайте, а у сигнальщика жизнь малина.

И сызнова: ба-бах! Сорок девятый — это мортира.

Бьет не мимо.

— Баба! На юте!

На ют только доставили фуру с порохом и еще не успели разгрузить, отнести мешки в крыйт-камеру. Поэтому матросы не разбегаются, а хватают ведра. Рванет — все равно не убежишь.

Я не ошибся: бомба ударила с внутренней стороны, шагах в пятнадцати от повозки. Запрыгала по земле шипучая смерть — сейчас жахнет. Вскинулись на дыбы широкогрудые фураштатские лошади. Но с четырех сторон плеснули водой — и пшикнул фитиль, погас.

Уф, пронесло...

От того места, где еще клубится дым от выстрела французской мортиры, до входа в мою заветную пещеру, если подняться прямо вверх, не больше ста шагов. Вон они — кусты, за которыми, прикрытый дерном, затаился лаз...

Я загляделся на бурую поросль. Там, в таинственной тьме, обитает Дева, пробудившая меня от сна, который

скучные люди принимают за действительность. Доживу ли я до дня, когда вновь окажусь в моем подземелье? Покажу ли его моей Диане?

Предаваться мечтаниям на боевом посту и преступно, и глупо. Всего на секунду замешкался я, но черную точку в воздухе поймал взглядом поздно. И очень она мне не понравилась. Она летела не так, как другие. Не на ют, не на бак, не в молоко, а...

— А-а-а-а!!!

С отчаянным воплем, опрокинув и стул, и столик, я прыгнул вниз. Еще не приземлился, а надо мной с треском разлетелся мой насест.

Оглушенный и перепуганный, я сидел в сене, а на меня, подобно снегопаду, медленно опускались пух и перья.

Комендор от ближнего орудия сокрушенно сказал:

— Важно впечатал, гад. Пристрелялся. Ну-тко и я его...

Он приложился к прицелу, а я все сидел и мотал головой.

Подбежал Джанко. Пошупал меня, поставил на ноги, хлопнул по плечу — иди отсюда, нечего тебе теперь здесь делать.

На трясущихся ногах, еле-еле, поплелся я в тыл. Господи, ведь еще чуть-чуть — ядро разорвало бы меня на куски. И ничего бы больше не было: ни ясного дня, ни жизни с ее чудесами, ни Дианы...

А потом вдруг встряхнулся и не стал об этом думать. Мало ли что могло бы быть! Вот он я, вот она жизнь, и нечего трястись.

Тут как раз, будто желая меня укрепить и подбодрить, где-то ударил барабан. Я пошел навстречу дробному бою.

Из широкой траншеи, что вела от города к бастиону, вышла колонна пехоты. Над касками сверкали штыки, барабанщик с серебряным позументом на рукавах отмахивался.

Анатолий Брусникин

вал палочками, а впереди вышагивал высокий подтянутый офицер.

Я прищурился. Разглядел скуластое лицо с узкими глазами, тонкими черными усами.

Навстречу треску из «кают-компаний» выглянул Платон Платонович. Надел фуражку.

Пехотный начальник, вскинув к козырьку ладонь, звучно доложил — мне было слышно издалика:

— Штабс-капитан Аслан-Гирей! Прибыл в ваше распоряжение с ротой прикрытия.

Вот чего он ужоглазый-то, понял я. Из татар.

Сзади бабахнуло. Хоть я был уже не на мостике, но обернулся и сразу увидел черный шарик, описывавший в небе крутую дугу.

— На шканцах, ложись! — заорал я. — Баба!

«Шканцами» у нас называлась площадка за «кают-компанией» — как раз место, где выстроилась прибывшая рота.

— В стороны! Ложись! — крикнул Иноземцов своим незычным голосом.

Но солдаты глядели на него, разинув рты, и не двигались.

Бомба плюхнулась прямо перед строем. Завертелась, зафырчала. Пехотные шарахнулись от этой страсти, некоторые присели и зажмурились, но упасть никто не догадался.

Ихний начальник гаркнул:

— Гаси фитиль, болваны!

И побежал, срывая шинель. Но где там! Он был далеко, да и вряд ли получилось бы — сбить огонь шинелью.

Брызнуло пламя, качнулся воздух. Вот теперь несколько человек повалились.

Эх, беда!

На крики из своего укрытого тремя накатами блиндажа высунулся доктор Шрамм.

— Мясо? — деловито спросил он. — Сюта! Сюта неси! Это он раненых так называл — «мясо». Если не моряки, конечно. Моряков Осип Карлович называл «рыбой».

Я подбежал проверить, не задело ли Платона Платоновича. Он, слава богу, был цел. Только фуражку взрывной волной сорвало.

— ...Ничего, привыкнут, — спокойно говорил капитан татарину. — Ротой пускай займется ваш фельдфебель. Вахтенный начальник покажет, где расположиться. А вы, сударь, пожалуйста-с в кают-компанию. Очень вовремя прибыли. Обсуждаем положение дел.

Про положение наших дел и я был не прочь послушать. Хотя я и состоял в самом нижнем из флотских чинов, но все же числился при самом капитане. Заходить в кают-компанию я мог без позволения и даже без особой нужды. Если делал это тихо, не привлекая к себе внимания, никто из офицеров на меня и не оборачивался.

Так же было и теперь. Занятые важной беседой начальники слушали капитана и высказывались сами, ну я прошел себе в уголок, где стоял чан с питьевой водой, и скромненько наполнил кружечку.

Кают-компания была обустроена и украшена, насколько позволяли бастионные условия. Сидели все по-прежнему свесив ноги в канаву, однако сиденья стали удобными, с подушками, на столе белела скатерть, горели привезенные с «Беллоны» лампы, пыхтел самовар. Кроме крыши появились и стены из досок, обитые коврами. Не хватало только пианино, а то было б не хуже, чем на фрегате.

Иноземцов держал речь перед офицерами: половина была наших, половина сухопутных.

Он говорил, что штурма не будет, а будет бомбардировка, и хоть мы, как только возможно, подготовились, но виды скверные. Против нас французские укрепления,

которые и сейчас превосходят нас мощью огня в полтора раза, а когда враг завершит строительство второго яруса, на пять выстрелов с той стороны мы сможем отвечать только двумя. Притом ещё следует ожидать, что союзный флот огнем с моря подавит наши фланговые батареи, и тогда противник подвергнет нас еще и кинжальному обстрелу со стороны Рудольфовой горы. Через несколько часов такой канонады от «Беллоны» останется кучка рыхлой земли.

Капитана выслушали в тяжелом молчании. Потом штурман Никодим Иванович, старший по возрасту, спросил:

— Что говорят в штабе, Платон Платонович? Когда ждать генеральной бомбардировки?

— Дня два, много три-с, и ударят.

Заговорили все разом.

Артиллерийский капитан, командир одной из батарей, развел руками:

— Что же делать?

Саперный поручик воскликнул:

— Ждать, пока нас в распыл пустят?

Лейтенант Кисельников предложил:

— А если вылазку? Ночью, внезапно. Заклепаем сколько-то пушек, силы и подравняются.

— У них там зуавы, африканские стрелки. Лучшие солдаты в Европе. А у меня кто? Непривычные к пехотным действиям матросы и вот-с, штабс-капитан Аслан-Гирей необстрелянную роту привел.

— Что нам остается? — спросили тогда Платона Платоновича. — Только с честью умереть?

— Это не так мало-с...

Я вспомнил, как прежде, перед затоплением эскадры, он говорил, что умереть с честью — не штука, что надобно с честью победить. А теперь, стало быть, вот как?

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

И сделалось мне очень страшно. Если уж хладнокровный Иноземцов заговорил о смерти, видно, совсем беда.

А капитан подошел к схеме наших и вражеских позиций, что висела на особой доске.

— При подобном соотношении стволов спасти нас может едино лишь чудо, да-с. Вот если б, к примеру, попасть бомбой в ихний пороховой погреб... — Он вздохнул. — Но поди знай, где он. Это один шанс из миллиона... Будь против нас корабль, я бы знал, куда целить. Сосредоточили бы всю мощь огня меж гротом и бизанью. Глядишь, и поразили бы крюйт-камеру. А тут, изволите ли видеть, холм... — Платон Платонович сердито откусил кончик сигары, сплюнул приставшие к губе крошки. — Эх, кабы над той Лысой горой на крыльях пролететь...

Воцарилось мрачное молчание. Умеющих летать на крыльях среди присутствующих не было.

...Вот он — момент, которым мне памятен тот день. Сейчас это произойдет...

— Ваше высокоблагородие...

Мой голос тонок и срывается. Ко мне оборачиваются, многие сердито суются. Хоть известно, что я капитанов любимчик, но чтоб юнга прерывал военный совет — это неслыханно.

— Прощения прошу... — лепечу я. — На крыльях, конечно, никак невозможно, но...

И я рассказал про пещеру, что находится аккурат над французскими батареями. Если туда пробраться ночью и затаиться, то потом из кустов всё ихнее вражеское обустройство будет, как на ладошке.

Меня перебивали, задавали вопросы. Я отвечал. Наконец офицеры оставили меня в покое, стали толковать промеж собой.

А я стоял, опустив голову, и чувствовал себя выпотрошенной рыбой. Всю икру из меня вынули, и вишу я на солнце пустым брюхом нараспашку.

Была у Герки Илюхина сокровенная тайна, да пришлось ее выдать, принести в жертву. И вовсе не той, ради кого берег свой секрет и с кем его охотно бы разделил, а злой мачехе — богине войны Беллоне.

Я встрепенулся. На совете говорили про меня.

— ...Хорошо-с. Допустим, юнга доберется до тайника, но что проку? Для расчета прицельного мортирного огня необходим правильный крок неприятельской позиции. — По тону Платона Платоновича было слышно, что отпускать меня на ту сторону ему ужасно не хочется. — Здесь потребна чертежная точность...

— Господин капитан второго ранга, если позволите... — Руку поднял татарин, что привел роту. — Я окончил Михайловское артиллерийское училище. В пехоту определен временно, за отсутствием вакансии на батареях. Занести на схему координаты порохового погреба легко смогу и даже присовокуплю к ним расчеты углов возвышения. Однако я всё же не понимаю, как мы с юнгой попадем туда через вражеские линии.

Вдохнул Платон Платонович, посмотрел на меня виновато, будто извиняясь, что не сумел меня уберечь.

— Это-то как раз довольно просто-с...

Ночь. вспышки

...А это я смотрю через капитанов бинокль на вражескую позицию. Сначала в кружках черным-черно, потом нащупываю яркий огонек, кручу колесико.

Вижу: костер, около него тесно сидят люди в фесках, безрукавных куртках, шальварах. Курят изогнутые трубки.

— Это ж турки! — шепчу я. — Никакие не французы.

— Самые что ни на есть, — так же тихо отвечает Платон Платонович, отбирая бинокль. — Зуавы, африканские стрелки. Пехотное прикрытие ихних батарей. Их прозвали «анфан-пердю», по-нашему «сорви-головы».

— Правильно прозвали. — Это голос Соловейки. Он по другую сторону от капитана. — Щас мы этим «пердю» головы посрываем.

Мы лежим посреди ничейной земли, посередке меж нашей и вражьей линиями. Ночь безлунная и беззвездная, поэтому нам удалось прокрасться сюда незамеченными. Иноземцов взял в переднюю цепь только охотников, кто вызвался добровольно. Остальная масса матросов и солдат, назначенных для вылазки, засела во рву под бруствером. Им полагается бежать вперед не раньше, чем начнется шум.

Неприятельский вал от нас всего в двух сотнях шагов — едва чернеет во мраке. А бивак зуавов повыше, уже на склоне. Потому-то мы их так хорошо и видим.

— Отсюда расходимся, — говорит Платон Платонович мне и штабс-капитану. — Как условились. Тихонько прокрадетесь к правому краю, засядете под бруствером. Не спешите. Пока я не услышу вашего сигнала, не начну. Гера, ну-ка пострекочи...

Я прикладываю к губам сухую травинку, трещу цикадой. Ихнее время уже недели две как закончилось. Весь август и полсентября днем и ночью надрывались, а сейчас поумолкли, студёно им стало. Но французам обычаи крымских цикад знать неоткуда. А стрекотать я умею знатно, еще с глупых лет.

— Хорошо, — одобряет меня капитан. — В ночной тиши будет слышно. Стало быть, после сигнала мы ползем к левому флангу. Если удастся, снимем часового без шума, Джанко это умеет...

Позади Платона Платоновича лежит индеец. Во рту у него свирелька, из которой он так ловко плюется иглами.

— Потом на бруствере начнется суматоха. Французы решат, что мы перед бомбардировкой хотим заклепать орудия, а мы и вправду, коли успеем, пару-тройку пушек им попортим. Никодим Иванович с остальными побежит через поле под громкое «ура». В общем, Девлет Ахмадович, им будет не до вас. Думаю, минут десять, а то и все пятнадцать мы вам обеспечим.

— Этого совершенно достаточно, — нетерпеливо говорит татарин. — Однако всё уже неоднократно обговорено. Если позволите, мы с юнгой начнем выдвигаться.

— Да-да, еще минутку.

Я вижу, что Платон Платонович хочет мне что-то сказать. Но капитана трогает за рукав Соловейко. Никогда и ни за что нижний чин, даже такой отчаянный, не позволил бы себе подобной вольности при свете дня. Однако ночь, опасность, все лежат, уткнувшись носом в пыль, — по уставу и не обратишься.

Слух у меня и вообще-то преотличный, а Соловейко шепчет громко, не старается щадить мои чувства.

— Ваше высокоблагородие, прощения просим, а только зря вы это...

— Что «зря»?

— Зря сопливого посылаете. Хлипкий он. Помните, как в Синопе-то?

Меня будто вдавливают в землю. Я знаю: Соловейко мне враг, он не забыл моего позора, а сейчас еще и ревнует — как это на лихое дело посылают не его, известного храбреца. На совете ведь он не был, про пещеру не знает.

Затаив дыхание, я жду, что Платон Платонович за меня заступится.

Но он лишь вздыхает:

— У самого сердце не на месте. Но никого другого нельзя.

И поворачивается ко мне.

Я еще надеюсь, не скажет ли он что-нибудь ободряющее: мол, не слушай дураков, Герасим Илюхин, ты герой и орел, бесценный сигнальщик и вообще наш спаситель.

Но Иноземцов шепчет:

— Еще раз повтори. Ну повтори.

И понимаю я: всяк смертный, хоть бы даже капитан фрегата и лучший человек на белом свете, думает только о своих переживаниях. Главное, сколько можно? Раз двадцать уже я ему слова Агриппины Львовны пересказывал!

Но я прощаю капитана. Потому что — как знать — свидимся ли еще в этой жизни. И, чтоб сделать ему удовольствие, повторяю в двадцать первый раз — с выражением, да еще с прибавкой: «Без Платон Платоныча, говорит, не уеду. Где он, говорит, там и я. Одной ниточкой мы теперь повязаны».

Ужасно он заволновался.

— погоди, ты в прошлый раз про ниточку не говорил!

— Забыл. А теперь вспомнил.

— Эх ты! Разве можно такие вещи забывать?! — Иноземцов возмущен. Но прикрывает рукой глаза, мечтательно повторяет: «Одной ниточкой»...

А татарин, перегнувшись через меня, требовательно про свое:

— Господин капитан второго ранга, мы теряем время. Люди напряжены, у кого-нибудь не выдержат нервы, лязгнет чем-нибудь или стукнет, и нас обнаружат...

— С богом, — говорит тогда Иноземцов. — Вы уж, Девлет Ахмадович, поосторожней. Мальчика берегите.

На «мальчика» я, конечно, обиделся, но татарин тянет за руку: «Юнга, за мной!» — и мы ныряем в темноту вдвоем.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Первым, пригнувшись, крадется Аслан-Гирей. Он не в сапогах, а в чувяках — толстых кожаных чулках. Я, чтоб не шуметь, вовсе разулся. Поэтому мы семеним, мелко переступая, беззвучно, словно две тени.

Не видно ни зги. Через каждые десять или пятнадцать шагов Аслан-Гирей останавливается. Смотрит на компас, прикрыв его ладонью.

Я заглядываю через плечо с эполетом, вижу чуть колеблющуюся искорку — это светится покрашенная фосфором стрелка.

Мое сердце громко стучит, пахнет пылью и ковылем, саднит нога — я и не заметил, когда и обо что ее поцарапал.

Это ночь со второго на третье октября...

Мы со штабс-капитаном долго, целую вечность, добились до рва. Последние сто шагов ползли на четвереньках, а потом и на брюхе. Мне это показалось лишним. Кто нас увидит, в такую-то темень? Но Аслан-Гирей молча ткнул меня носом в землю: ползи. И оказался прав.

Когда до бруствера оставалось совсем недалеко, я разглядел над темной полосой вала черное, вытянутое кверху пятно: то был часовой в своей турецкой шапке.

— Ближе нельзя, — в самое ухо выдохнул татарин. От него пахло душистым и, видно, дорогим табаком. — Вдруг задумается: что за цикада у меня под носом? Подавай сигнал отсюда.

Я пошарил рукой, нашел подходящую травинку. Надорвал посередке, приложил к губам, застрекотал.

В тиши треск мне показался оглушительным. Но дозорный не шелохнулся. А если б и посмотрел в нашу сторону, то на расстоянии в двадцать шагов ничего бы не углядел.

— Хватит!

Мы поползли дальше, теперь совсем медленно. Я следил, куда ставлю локоть, чтоб ничего не хрустнуло, не треснуло. Где-то на поле, точно так же, сейчас ползли наши охотники.

Вот мы и во рву. Он был сухой и не шибко глубокий, мельче нашего. Оно и понятно: французы готовились к нападению, не к обороне.

Скат бруствера вблизи оказался не особенно крутой. Вскрабаться вполне можно — если, конечно, сверху не палят в упор и не колют штыками.

«Ждем», — показал жестом Аслан-Гирей.

Я прижался к земляной стенке, вслушиваясь в ночь.

Сам не знаю, почему мне не было страшно. То есть было, и даже очень сильно — но не за себя, а за наших. Это совсем другой страх, от него ноги не ватные, а наоборот: дергаешься, как на иголках. Я трясся от возбуждения и мысленно повторял: «Господи-Боже, пускай француз их еще минутку не замечает!»

Может, минуты две или три у Господа и выцыганил. Но потом Его терпение закончилось.

Где-то в ночи звякнул металл. Может, окованный приклад задел за камень.

И тут же вопль часового:

— Алярм! Озарм!

Аслан-Гирей с досадой шмякнул кулаком о землю.

— Ребята, вперед! — донесся слабый голос Иноземцова.

— Ура-а-а! — негусто подхватили охотники.

Во тьме понять было непросто, но, по-моему, до вала им оставалось еще порядком.

— Ура-а-а! — мощно закричали на отдалении. Это побежали догонять наши основные силы.

А близко — показалось, прямо по макушке — заколотил барабан. У французов ударили тревогу.

Я вскрикнул: мрак надо мной озарился вспышками, и захлопало, и запахло порохом. Это палили из пушек и ружей — вслепую, на русское «ура!».

Еще через минуту где-то слева от нас раздались крики, тупой стук, рычание. Будто сцепилась целая свора передравшихся бродячих собак.

Я догадался: рукопашная!

Не знаю, как он выглядел, этот рукопашный бой, но у меня от одних звуков на лбу выступила ледяная испарина.

— Пора! — не шепотом, а обычным голосом сказал мне штабс-капитан. — Наши побежали на вырубку.

Я не сразу понял, что «наши» — это французы, что палили над моей головой. Вспышек больше не было. Солдаты устремились с этой стороны вала на ту, помогать своим.

— За мной, юнга! Не отставать, но и вперед не лезть.

Аслан-Гирей ловко — я и не ожидал от офицера — стал карабкаться вверх по брустверу, хватаясь за камни и торчащие корни. Ножны его сабли болтались у меня перед носом. Я слышал, как Платон Платонович советовал татарину не брать саблю — будет только мешать, но штабс-капитан сказал: ежели ему судьба попасть в плен, то лучше уж при сабле и эполетах, а не ночным шпионом.

На верхушке бруствера мы вжались в землю. Справа были фашины, прикрывавшие орудийную амбразуру, слева тоже.

— Никого! Бежим! — сказал я.

Но из темноты вниз по склону катилась сплошная, брякающая сталью масса. В отблеске дальних костров блестели штыки.

Впереди толпы пятился начальник. Он был в расстегнутом мундире, размахивал саблём.

— Вит, ме гарсон, вит! — хрипло повторял офицер. — Он лёр ан кюира!

Вся орава протопала мимо бруствера, нас не заметив.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— А теперь быстро, юнга! Вон туда! — Аслан-Гирей показал куда-то. — Мое дело довести тебя до кустов. Потом поведешь ты. Понял?

У меня зуб на зуб не попадал.

— П-понял.

Ничего я, по правде сказать, не понял и понять сейчас был не в состоянии. Я бежал за татаринном и боялся лишь одного: что отстану.

Укрепления второй линии у французов были не сплошные, а с разрывом между батареями.

Как мы прошмыгнули по проходу и вскарабкались по склону, я не помню, но только штабс-капитан вдруг остановился, и я с разбегу налетел на его спину.

— Вроде прорвались... — Он тяжело дышал. — Обе линии позади. Твоя пещера должна быть недалеко. Куда теперь?

Я заметался среди кустов.

— Щас... щас... Туда! Нет, туда!

А сам ничегошеньки не видел, не соображал.

Аслан-Гирей взял меня в охапку, швырнул наземь, упал сверху.

— Тссс!

С холма опять бежали солдаты — уже не зуавы, а обычные стрелки. И много, целая колонна.

Офицеры покрикивали на них, подгоняли.

— Целый батальон, — сказал штабс-капитан. — Через минуту будут на месте и вышибут наших. Давай, юнга, ищи свой лаз!

Я никогда не бывал на Лысой Горе в темноте. Когда днем разглядывал склон в бинокль, всё казалось просто: один куст повыше, другой пониже, меж ними кучка камней.

Черт его знает, где это.

Внизу почти не стреляли, а только ревели, рычали, вопили в тысячу глоток.

Отчаянно взывала труба.

— Отход играют. Поторопись, юнга!

Я понял, что ничего в этом мраке не найду.

— Ваше благородие, дождать надо. Затаимся пока тут. А чуть засветлеет, я вмиг найду...

— Кой черт «засветлеет»?!

Татарин зашипел, грозя кулаком. Я шарахнулся, споткнулся и с размаху приложился задницей о твердое.

Это был холмик из камней, которым я когда-то поместил нору..

ГЕРАКЛ И ДЕЙАНИРА

...Багровый свет пламени, треск горящего дерева, блики на зернистой многоцветной поверхности стен, где Двенадцать Братьев живут своей чудной сказочной жизнью.

Я топчусь за спиной у штабс-капитана. Не думал, не гадал, что покажу свою тайну не моей Диане, а совсем чужому человеку. И все равно волнуюсь.

В глубине души я все-таки сомневался: вдруг чары действуют только на меня, а загляни в мое подземелье кто другой — увидит лишь пыль да камни. И еще боялся вот чего: что если эти картины кажутся прекрасными мне одному? Может, люди, у кого мозги не скособолены от вечных фантазий, поглядят да пожмут плечами?

Но я вижу по Аслан-Гирею, что он поражен и восхищен. С губ татарина срываются невнятные восклицания, факел в его руке дрожит.

А ведь главного сокровища штабс-капитан еще не видел. Я нарочно повел его в обвод стен так, чтоб мою Деву он узрел последней.

— Вот оно что! — говорит офицер, хлопнув себя по лбу. — Я понял! Вспомнил! При Марке Аврелии в Херсонесе стоял Первый италийский легион!

Чего это он понял, когда тут всё волшебное и непонятное? Какой еще аврелий? Какой легион?

— Чего-чего? — ревниво переспрашиваю я.

— При римском императоре Марке Аврелии где-то здесь находился лагерь Первого легиона, а его священным покровителем считался Геракл. Это подземное святилище Геракла!

— Кого?

— Храмы часто устраивали в пещерах. Должно быть, вход завалило еще в дохристианскую эпоху. Вероятно, землетрясение... Воистину, много чудес у Аллаха! Мои предки, крымские ханы, владели этими землями триста лет и даже не догадывались...

Потом он бормочет что-то на неизвестном мне наречии, а дальше опять по-русски:

— Превосходный образец позднеимперской мозаики! Изображены все двенадцать подвигов Геракла. Вот он побеждает Немейского льва... Отсекает головы Лернейской гидры. Ловит Киренейскую лань. — Палец татарского принца любовно погладил по золотым рожкам козу, которую волок куда-то кудрявый бородач. — А это Геракл чистит Авгиевы конюшни...

Я вспомнил, что Платон Платонович еще на «Беллоне» давал мне читать древние греческие сказки и там, в самом деле, был рассказ про могучего героя, совершившего много великих деяний.

Оказывается, тут не двенадцать братьев, как я думал. Это всё один и тот же богатырь, просто в разных возрастах и в разных местах!

Но вот Аслан-Гирей дошел до моей Дианы и надолго застыл. Замер и я. Что он скажет?

— Прелесть какая, — покачал головой штабс-капитан. — Это, конечно, Дианира.

(Так мне, во всяком случае, послышалось.)

— Вы знаете Диану?! — потрясенно лепечу я.

— Не Диана, а Дейанира. Жена Геракла. Он сразился из-за нее с речным богом Ахелоем и победил, отломав ему рог. Дейанира очень любила мужа и, когда Геракл погиб, наложила на себя руки. Клянусь Аллахом, эта пещера — настоящая жемчужина, подлинный праздник для археологической науки!

Я стою, осмысливаю услышанное.

Думаю: «Нет, ваше благородие, тут не наука, тут совсем другое. Дейанира — это именно что моя Диана, а я, Герасим, — все равно что Геракл. Это наш с нею храм, храм нашей судьбы. Дейанира стала женой Геракла, а Диана будет моей женой. Кто захочет у меня ее отобрать, обломаю гаду рога! И любить мы с Дианой станем друг дружку так, что, случись с одним беда, другой тоже жить не захочет!»

Но почти сразу одергиваю себя.

Какой еще женой? Ну сказала она: «Никуда я не поеду. У тебя фрегат, а у меня ты». Так это ж пустое, девичье. Просто ей захотелось быть похожей на Агриппину Львовну, вот и повторила за нею почти слово в слово.

Ничего ведь не изменилось. Как была Диана дворянка, офицерская дочь, так ею и осталась. Мало ли что она бедная. Крестинская тоже бесприданница, а к ней вон настоящий князь посватался. И с Дианой будет то же самое. Найдется, обязательно найдется какой-нибудь граф или миллионщик, предложит руку и сердце. «Рога обломаю!» Мне ли, неучу и голодранцу, мешать Дианиному счастью...

Пока я жалею себя, Аслан-Гирей обходит с факелом дальние закоулки подземелья, светит на штабеля узкогорлых кувшинов, на расписные вазы.

— Ого! Здесь целый музей! Гляди-ка, и запечатанные есть! Что там? Масло? Вино? Благовония? Ты хоть представляешь себе, юнга, сколько денег всё это стоит?

Я хлопаю глазами.

— А?

— Это же открытие мирового значения! Настоящая сокровищница! А если разрыть осыпавшуюся часть пещеры, наверняка найдется еще немало всякого. После войны казна выплатит тому, кто нашел храм, огромную награду. Точно не помню, как написано в законе, но, думаю, четверть стоимости. Это десятки, а то и сотни тысяч. Будешь ты, юнга, и богат, и знаменит...

Здесь штабс-капитан вздыхает и поворачивается к кувшинам спиной.

— ...Если, конечно, доживешь... — Он смотрит на часы, разом позабыв про подземные сокровища. — Ладно, до рассвета спим. Нам понадобятся силы...

Потомок ханов укладывается на пол, подкладывает вместо подушки планшет, и через минуту я слышу ровное, сонное дыхание. Вот какой хладнокровный!

Остаюсь наедине с вихрем взбеленившихся мыслей...

Пробудился мой татарин так же мгновенно, как уснул. Не знаю, сколько времени прошло. Наверно, несколько часов. В мечтаньях время летит незаметно.

Я как раз ехал в роскошной карете по столичному проспекту с Дианой, и повстречалась нам Крестинская со своим фертом, а только ихний экипаж был попроще нашего, и князь этот мне уважительно поклонился, а я ему слегка кивнул, да небрежно отвернулся и говорю своей невесте...

Здесь Аслан-Гирей вдруг сел, щелкнул часами.

— Ого, половина десятого. Наверху давно светло, а мы всё почиваем. За работу, юнга, за работу!

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Я вскочил, готовый немедленно браться за дело, однако мой командир был человек обстоятельный.

Сначала он спросил, в какой стороне восток. Я не знал.

— Будем считать, что Мекка там. — Штабс-капитан сел на коленки напротив Дианы, то есть Дейаниры, и стал класть земные поклоны, приговаривая что-то певучее. Никогда я не видывал, чтоб офицеры молились по-басурмански. Удивительно!

Продолжалось это, однако, недолго.

— Теперь походный завтрак.

Он достал из планшета бумажный сверток. Там — два куска хлеба, между ними говядина.

Надо же, а мне и в голову не пришло запастись провизией. Я только сейчас почувствовал, до чего подвело живот. Аж слюнки закапали.

— Весь сендвич есть не станем, нам тут дотемна сидеть.

С этими словами Аслан-Гирей аккуратно переломил хлеб с иностранным названием и честно разделил половинку еще надвое.

Флягу поставил посередине.

— Воды — по четыре глотка.

Я свою долю слопал в пару укусов, татарин же отщипывал ровными белыми зубами по чуть-чуть и жевал долго.

Наконец вытер губы платочком.

— Э бьен. С помощью Аллаха, приступим.

Крышку лаза я приподнял сам, потому что лучше знал, как нужно браться за скобу. Прежде всего следовало зажмуриться, не то ослепнешь от яркого света после сумрака.

Из щели потянуло сухой травой, прогретым воздухом, свежестью погожего осеннего дня.

Вроде тихо. Можно вылезать.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

На четвереньках дополз я до кромки кустов, выглянул. Всё вражеское расположение было, как на ладони.

— Отменная точка обзора, — шепотом сказал Аслан-Гирей, устраиваясь рядом. — Ну те-с, поглядим, что тут у нас...

На верхней батарее еще шли работы по отделке амбразур, нижняя была полностью закончена.

Флотской красоты, как на бастионе «Беллона», у французов не было, но чем дольше я приглядывался, тем лучше понимал, как основательно и по уму всё здесь устроено.

На нижнем укреплении как раз происходило артиллерийское учение. Пушки у них откатывали по особым рельсам, встроенным в помост, притом не руками, как у нас, а при помощи каких-то хитрых рычагов и шкивов. Здоровенную тушу орудия без большого труда двигали всего два человека.

Блиндажи у французов были прикрыты одинаковыми железными щитами, а не бревнами под земляным накатом. Воду хранили в огромных подземных котлах с заворачивающимися крышками. Больше всего мне понравилась красная пожарная машина с насосом и несколькими брезентовыми кишками, растянутыми в разные стороны. А у нас только бочки и ведра...

— Это что за конструкция? И как замаскирована! — услышал я бормотание Аслан-Гирея.

Он разглядывал какую-то непонятную, горбатую штуковину под чехлом. Размером с хорошего вола, она стояла на особой, плотно утоптанной площадке и спереди, со стороны города, была прикрыта воткнутыми в землю свежесрубленными кустами. Вокруг расхаживал часовой.

— А самое главное: где ж у них тут пороховой погреб? Не вижу!

На планшете у офицера белел листок бумаги, где уже была нанесена вся вражеская позиция: и укрепления,

и орудия, и блиндажи, притом с разметкой дистанций и градусов. Это и называлось «кроки», схема для расчета артиллерийских стрельб.

— Ваше благородие! Полундра!

Я услышал шаги раньше, чем понял, с какой они доносятся стороны.

Через несколько мгновений мы были уже в норе, и я быстро, но осторожно, чтоб не сполз дёрн, прикрыл крышку.

Маленький зазор все-таки оставил — чтоб было слышно.

Два человека прошли совсем рядом. Остановились. Один что-то сказал, другой ответил.

— Черт бы их драл, — шепнул невидимый в темноте Аслан-Гирей. — Они тут распивать приладились... Нет, передумали. Решили перебраться на вершину, подальше от батареи.

Я подождал, пока стихнет звук удаляющихся шагов.

— Можно!

Мы вернулись на то же место, но теперь я смотрел не только вниз, но и по сторонам — чтоб никто не застал нас врасплох.

Штабс-капитан глядел на бастион — и в бинокль, и так. Но понять, где у французов склад боеприпасов, не мог и очень из-за этого злился. Ведь всё это — и вылазка, и наше тутовое сидение — было затеяно с одной-единственной целью: определить местонахождение порохового погреба.

— Воздухом они, что ли, стрелять собираются? — всё повторял татарин и начал присовокуплять всякие разные словечки, которых я от культурного человека, знающего про римский легион и про всё на свете, никак не ожидал.

Загадка разъяснилась, когда солнце уже всползло на самый полдень.

— Ваше благородие, глядите! — показал я.

По хорошей, сыпанной щебнем дороге подъехала большая крепкая повозка, которую еле тянула четверка невиданных коней: здоровенных, мохнатых, с широкой грудью и могучими ножищами. На полотняном боку фуры написано иностранными буквами (я не так давно научился их читать): "DANGER! POUDRE".

— Это порох! — Аслан-Гирей сел на колени и припал к биноклю.

Остановилась повозка около стальной крышки, вделанной прямо в землю. Я-то думал, это цистерна с водой — такие у французов имелись на каждой батарее, и я видал, как в них опускают ведра на веревках.

Но эта крышка была не круглая, а квадратная. Притом тяжеленная. Двое солдат, неотлучно торчавших подле нее, нажали какой-то рычаг — и железная дверца откинулась. Она оказалась толстой, понизу заклепчатой. В дыре виднелась дощатая платформа или, может, помост.

— Ага, — пробормотал штабс-капитан, — это у них стеллаж на механическом подъемнике. Толково!

Солдаты и возчик начали вынимать из кузова и укладывать на площадку одинаковые бумажные мешки. На них тоже что-то было написано, но мелко, не разглядеть, однако на каждом красовался череп с костями.

— Стандартные заряды, — сам себе кивнул татарин. — Для восемнадцатифунтовых, потому и «18» напечатано. — Ему-то в бинокль было видно. — Так-так, теперь мортирные пошли...

Пороховой начальник, не участвовавший в погрузке, повернул колесо навроде штурвала, и заряды уехали вниз, а вместо них из дыры выползла другая площадка, и солдаты начали накладывать пакеты другого цвета.

— Квот эрат демонстрандум, — очень довольным голосом сказал мой командир — опять по-своему, по-татарски. Правда, перевел для меня. — Сие, юнга, означает:

«Что и требовалось доказать». Погреб французы обустроили славно, молодцы. Достать его можно только из бомбового орудия, притом по самой крутой, почти отвесной траектории... Это у нас, стало быть, получается...

Он уютно забормотал что-то, чертя карандашиком по листку. На разгрузку пороха больше не смотрел — штабс-капитану теперь и так всё было ясно.

Поколдовал он так минуточек с пять, сладко потянулся, убрал схему в планшет.

— Дело сделано, Герасим. — А я думал, он меня по имени не знает. Всё «юнга» да «юнга». — Осталось дожидаться ночи — и возвращаемся. Предлагаю остаться на свежем воздухе, внизу душновато. Ты поглядывай по сторонам.

Улегся на спину, сдвинул на глаза козырек. И остаток дня мы, можно сказать, били баклуши. Никто к нам в кусты больше не лез, солнышко палило почти что полетнему — я снял рубаху, погрел спину. Доели хлеб с мясом, допили воду. Потом штабс-капитан задремал. Я же думал про свое. Воображал, как стану богатым и прославлюсь на всю археологическую науку.

Вниз, на французов, я почти не смотрел. Часа два пропятился, как у них там жизнь устроена, а потом надоело. Не особенно интересно. То унтер проведет куда-то отделение солдат, то все возле ротного котла соберутся, то из пушки в нашу сторону пальнут. Большой разницы с нашими не было. Правда, у них тут — чудное дело — за просто расхаживали несколько теток, обмундированных по-военному. Штабс-капитан сказал, что это кантиньерки, есть у французов в штате такая должность, на которую обычно берут сержантских жен. Они и состряпают, и воды во время боя поднесут, могут и раненого перевязать. По французской военной науке-де установлено, что присутствие в армии некоторого числа женщин для сол-

дат полезно. Я попытался себе представить, как по нашему бастиону вот так расхаживают Диана с Агриппиной Львовной, и что-то засомневался. Наши матросы, если Платон Платонович далеко, могут и жеребьячим словом запустить, а некоторые, когда исподнее стирают, вчистую растелешаются. Ну и вообще — не дай бог ядро или бомба. Помыслить страшно.

Одна французская тетка мне понравилась, я от скуки долго за ней биноклем водил. Больно славное лицо — круглое, в ямочках. И видно было, что молодых солдат жалеет. Одному яблоко дала, с другим о чем-то душевно поговорила, третьему воротник подшила. Конечно, иметь на батарее такую мамку — оно бы и неплохо. Но потом она надолго уселась битую птицу ощипывать, и я стал глядеть в небо. По нему ползли облака, с одного боку поджаренные солнцем.

Вдруг, в очередной раз лениво поглядев вниз, я увидел кое-что новенькое: возле непонятной штуковины, около которой расхаживал часовой, собрались люди.

Пожалуй, стоило разбудить начальника.

— Ваше благородие, чехол сымают!

— Какой чехол?

Аслан-Гирей сел.

Под брезентом оказалось невиданное сооружение, навряд ли саранчи: четыре железные ноги и длинный хобот с утяжеленной задней частью. Офицер в круглой шапке с серебряным кантом приладил сверху какую-то трубку, надолго приложился к ней и всё подкручивал, подвинчивал.

— Ух ты! Чего это?

— Ракетный станок. — Штабс-капитан отобрал у меня бинокль, голос звучал озабоченно. — Никогда не видел такого. Какой длинный ствол! А главное — какой прицел! Должно быть, он позволяет вести стрель-

бу изрядной точности, чего от ракет обычно не добьешься... Это они, Герасим, нам сюрприз приготовили, потому и секретность. Обстрел города зажигательными снарядами такого калибра непременно вызовет пожар. Бомбами подобного эффекта добиться трудно, а ракетами — запросто. Если во время генеральной бомбардировки они запалят у нас за спиной Севастополь, будет беда. Ни боеприпасы подвезти, ни подкрепления перекинуть...

Я посмотрел на железную саранчу с уважением. Чего только не придумают!

— Доложим Платону Платоновичу? И на схему занесем, да?

Аслан-Гирей тер лоб, будто хотел убрать с него тревожную складку, но она не убиралась.

— Тут докладывай не докладывай... Я читал во французском военном журнале статью про новые ракеты. В снаряд заливается особая смесь, от нее даже стены домов горят. Дальность стрельбы больше, чем у пушек. Одна проблема — точность огня. Но, судя по прицелу, французы эту задачу решили.

Видя, как он обеспокоен, заволновался и я.

— Значит, если они сразу из десяти или двадцати таких хреновин по городу жажнут, Севастополю конец? Сгорит?

— Думаю, станок у французов пока единственный. — Аслан-Гирей всё не отрывался от бинокля. — Опытный образец. Иначе не стали бы они его так прятать. И наводчик — инженер в майорском чине... Но и одной установкой можно больших дел натворить. Два-три удачных выстрела — и вспыхнет целый квартал.

Потом он повернулся ко мне, и лицо у него сделалось странное. Будто размышляет человек о чем-то очень неприятном, о чем и думать не хочется.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Ошибся я, юнга. — Мой татарин сощурил свои узкие глаза, закручинился. — Дело наше еще не всё сделано... Ты есть хочешь?

— Ага. И пить тоже. Ничего, теперь недолго осталось. Темноты дождемся, а там к своим махнем. Нынче щи с солонинкой.

Я сглотнул слюну, а штабс-капитан запечалился еще пуще. Э, думаю, ему солонины ведь нельзя, магометанский закон воспрещает.

Но татарин хмурил брови не из-за этого.

— Ужин переносится на завтрак. Затяни пояс, юнга. Ракетницу эту мы так оставить не можем.

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ

Это рассвет, который по всему должен был стать для меня последним. Мне полагалось окончить свою жизнь в серой дымке на росистом поле, и коль этого не произошло, коль я поныне еще жив, — это подарок судьбы, за который следует быть благодарным. Ведь столько всякого не случилось бы, останься я лежать в росе, на осеннем поле.

Рассвет этот совсем близко, я погружаюсь в него без малейшего усилия.

...Мы с Аслан-Гиреем вжимаемся в землю на самом краю французской позиции. Прятаться легко — к подножию горы лепится туман. Но он быстро редет, сползает всё ниже.

— Готов? — шепчет командир. — Еще минута, и пора...

Одежда вымокла от росы. Я весь дрожу. Мне холодно. Вторую ночь подряд я не спал. В голове крутится мысль: «Ничего, скоро отоспишься во веки веков». Я поганую мысль от себя гоню.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Дымка опускается, сквозь нее проступают очертания бесформенной массы — это ракетный станок, укрытый брезентом.

А вот и часовой. Нахохлившись в своей шинели, он мерно шагает: пять шагов в одну сторону, пять шагов обратно.

— Первое: снимаем часового. — Татарин погибает у меня перед носом пальцы, будто сомневается, запомнил ли я. — Второе: Сдираем брезент. Третье: Разбиваем прицел. Четвертое: улепetyваем со всех ног. — Вдыхает. — В сущности, ерунда...

Я рад, что ему это представляется ерундой.

— Вот. — Сую ухватистый камень с ребристой поверхностью. По дороге подобрал. — Ваше благородие, вы этой каменюкой сначала француза ткнете, а потом прицел раздербаните...

Но Аслан-Гирей отодвигается.

— «Ткнете»... Я в жизни никого не убивал. Особенно «каменюкой»... — Он заглядывает мне в лицо, с надеждой. — Может, ты?

Я трясую головой.

— Господь с вами, сударь!

Обреченно вздохнув, он нахлобучивает фуражку пониже и поднимается на ноги.

— Ладно. Ждать больше нельзя, светает. Да свершится воля Аллаха...

Я перекрестился, потому что больше надеялся на Ису-са Христа, и пошел за штабс-капитаном, сжимая в руке камень.

Одного не мог понять: чего это мой татарин не укрывается, не крадется? Ведь часовой заметит!

Тот и заметил.

— Ки эс?

Но окликнул без опаски. Чего пугаться человека, который идет по лагерю в открытую?

Вот когда Аслан-Гирей не ответил, постовой насторожился.

— Альт! Ки ва ля?! — И ружье с плеча.

Наверно он разглядел фуражку — французы таких не носят. У них сужающиеся кверху высокие кепи, а если зуав — феска или чалма.

— Аслан-Гирей, капитэн деларме рюс! — закричал тогда мой начальник хоть и по-французски, но понятно. И побежал прямо на солдата, вытягивая из ножен саблю.

Сомневаюсь, что вражеских дозорных снимают таким образом — особенно, если хотят без шума.

И пожалел я, что мы не взяли с собой на гору Джанко. У индейца француз лег бы и не пикнул. А только что теперь жалеть?

— Осекур! — заорал часовой. — Ленеми!!!

Подставил под удар дуло, сталь зазвенела о сталь.

— Брезент! — крикнул мне штабс-капитан, наскакивая на неприятеля и норовя ткнуть его клинком.

Француз не давался, пятился и всё хотел навести ружье на татарина — тот уворачивался, не вставал под пулю.

Я уронил каменюку, стал рвать брезент. Понизу он был обтянут веревкой. Я раскрыл складной нож, и хоть он был острый, никак не попадал куда надо — тряслись руки.

Штабс-капитан с солдатом хрипели, лязгал металл, по сторонам и внизу кричали люди, какие-то тени метались в жидком тумане.

Наконец я стянул на землю скрипучий чехол.

Кто-то сзади схватил меня за плечо.

Это был Аслан-Гирей. Расцарапанное лицо сочилося кровью, на грудь свешивался полуоторванный эполет. Часовой — убитый ли, оглушенный — лежал на земле.

— На! — Командир совал мне свой планшет. — Умри, но доставь! Беги, беги!!!

А сам подобрал мой камень и начал с размаху колотить по трубке ракетного прицела.

Я кинулся вниз по склону, прижимая плоскую сумку к груди. Чем ниже я спускался, тем гуще становилась рас-светная дымка. Навстречу бежали люди, но я их видел смутно, и они меня тоже. Все орали, кто-то выпалил в воздух.

Еще чуть-чуть — и я проскочил бы между валами верхних батарей в нижнюю часть укрепления, где туман был совсем хороший.

Но по проходу накатывала целая толпа — я едва успел упасть, прижаться к земле.

Пришлось принять назад и в сторону. Оставаться на виду было совсем нельзя. Кто-нибудь поглазастей заметил бы меня если не сейчас, то через секунду.

Ударил барабан. Снизу бежали еще люди.

Не уйти, окончательно понял я.

Завертелся на месте. Вдруг вижу — лежат фашинные корзины, еще не наполненные землей. Пал на четвереньки, влез в одну, затаился.

Задул ветер и вмиг развеял со склона остатки тумана. Сразу сделалось светло, прозрачно.

В щель между прутьями я видел ракетную площадку, видел штабс-капитана, яростно лупящего камнем. Заме-тили его и французы. Бросились со всех сторон. Через мгновение подле станка образовалась давка. Слышались крики, удары.

Я сжался в своей плетенке, зажмурился и снова открыл глаза, когда услышал нечто странное: звук рыданий.

Это был ракетный инженер — я узнал его по шапке с позументом. Он держал в руках изуродованный прицел и что-то выкрикивал плачущим голосом. А штабс-капи-тана я не увидел. Что-то лежало под опорами станка — будто накидали кучу ветоши.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Какой-то начальник размахивал руками, посылал людей туда и сюда. Часть французов, растянувшись цепью, двинулась вверх, в сторону кустов. Ищут, нет ли других русских, догадался я.

Вот синие мундиры поднялись до заветного места, не задержались там, пошли дальше.

Лаз, слава богу, остался незамеченным.

Мои же дела обстояли паршивей некуда.

Я лежал в корзине, весь скрюченный, и вылезти отсюда не смел. Вокруг ходили французы, их гнусавый говор неся отовсюду. Скоро они начнут саперные работы, кто-нибудь придет насыпать фашины, тут-то мне и конец.

Но погубили меня не саперы.

Ко-ко-ко-ко! — донеслось кудахтанье.

По траве ходко бежал молоденький петушок.

За ним, растопырив руки, гналась баба в красном колпаке и переднике.

— Аррет! Аррет!

Я узнал добродушную тетку, за которой давеча подсматривал в бинокль.

Птица будто игралась с нею: то подпустит, то отбежит. Солдаты кричали что-то — судя по гоготу похабное. Кантиньерка (я вспомнил трудное слово) весело отбредивалась.

И вдруг чертов петушок шмыгнул в соседнюю корзину — наверно, она показалась ему надежным убежищем.

Я замер, боясь пошевелиться.

— Жё тэ тыен! — пропела тетка, присев на корточки.

Потянулась за птицей, да застыла. Ее круглые глаза палились на меня, полногубый рот раскрылся.

Я умоляюще сложил ладони: тетенька, родненькая, не выдавай!

Не знаю, сколько времени мы глядели друг на друга. Мне показалось, очень долго.

Наконец она покосилась по сторонам и кивнула. Не выдаст! Все-таки женское сердце милосердней мужского. Увидела, что я совсем пацан, что трясусь от страха — и пожалела. Вдруг поможет и с бастиона выбраться?

Я ткнул себя в грудь, потом показал пальцами, будто убегаю прочь.

Поняла, нет?

Кантиньерка опять кивнула. Молча вытащила петушка, прижала к груди. Отошла на несколько шагов, то и дело оглядываясь. И вдруг как заверещит:

— Иль э ля, лёрюс! Дан ля корбей!

Гадина!

Я выкатился из корзины и дунул вниз, в проход между брустверами.

Кто-то встречный удивленно вскрикнул, кто-то посторонился, кто-то попробовал схватить за руку.

Нижнюю батарею я пролетел — и сам не заметил как. Вспрыгнул на большую пушку, пробежал по ней, как по рее, и сиганул через ров.

С разбегу да перепугу прыжок получился отменный. Я перемахнул трехсаженную ямину, приземлился на той стороне, покатился, вскочил, встряхнулся.

Планшет не выпал, он был у меня за пазухой.

Оглянувшись, я увидел на бруствере несколько солдат, а сзади карабкались еще. Некоторые были при ружьях, а один уже начал целиться.

— Мама-а-а! — завопил я, хоть матери своей не помнил, не знал.

Втянул голову, понесся через поле. Здесь, внизу, туман еще стелился по мокрой траве, и мне казалось, будто я бегу через бурлящий кипяток.

Бах! Бах! Бах! — загрохотало сзади.

Возле уха вжикнуло. Я припустил быстрей.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

«Беллона» плыла над молочной землей недостижимо далекая. Я бежал к ней, не сводил с нее глаз. Она одна могла меня спасти.

Что-то случилось с моим хваленым зрением. Раньше на бастионе была одна вышка, и ту-то сбило ядром, а теперь мне мерещилось, что над «Беллоной» парят пять одинаковых вышек. Они покачивались и распылялись, озаренные розовым солнцем.

Вокруг меня воздух звенел и лопался. Я начинал задыхаться.

Но бег мой внезапно прервался. Из-за того, что смотрел только на «Беллону» с ее призрачными мачтами-вышками, я не заметил выбоины — и грохнулся с размаху, ударился о землю подбородком и грудью.

Выстрелы прекратились. Я понял, что застоявшийся в ямке туман делает меня невидимым для стрелков. Но он прорежался прямо на глазах. Минута-другая — и совсем истает.

Я приподнялся, оглянулся.

Из рва лезли люди в турецких безрукавках и шапках. Зуавы! Вот почему французы не стреляют — решили взять живьем.

Преследователей было трое. Я уставился на них, оцепенев.

Что делать?!

Остаться на месте — схватят. Побегать — снова откроют огонь.

Вдруг прямо перед зуавами вздыбилась земля. Меткий выстрел орудия с «Беллоны» швырнул одного наземь. Другой, повернувшись, спрятался во рву. Но третий не испугался. Он несясь огромными прыжками прямо на меня. Я увидел пегую бороду, черную дыру разинутого рта, сверкающий в руке кривой кинжал.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Я должен быть благодарен бородатому зуаву. Если б я так сильно его не испугался, то не набрался бы духу вылезти из ямы и рано или поздно меня подстрелили бы.

Но ужас вытолкнул меня из укрытия.

Больше я не оглядывался.

По мне снова стреляли, и трещал воздух, и земля под ногами взметалась фонтанчиками. Но я бежал, бежал, бежал — воистину чудо Господне, что ни одна из пуль в меня не попала.

Наконец я скатился в ров перед нашим бруствером. Сил карабкаться по крутому скосу уже не было. Я сидел, разевал рот и не мог даже крикнуть.

Кто-то мягко, как кот, приземлился рядом.

Джанко.

Он деловито ощупал меня: цел ли.

Потом крепко взял за пояс и приподнял. Поставил себе на плечо мою ногу.

Сверху перегнулся Соловейко.

— Тяни руки, мать твою!

Вцепился в запястья, рванул.

Я оказался на валу.

— Стаскивай его вниз! — услышал я голос Платона Платоновича. — Не дай бог в последнюю минуту подстрелят!

Меня сволокли за бруствер.

Всхлипывая, икая, я совал в чьи-то руки планшет.

— Вот... Вот... Всё там... Там...

Соловейко стоял надо мной, уперевшись кулаками в бока, кривил веснушчатый нос.

— Жив и в портки не наложил? — подмигнул он. — Зря, я б постирал.

Он достал из-за пазухи что-то длинное, полосатое. Сдернул с меня бескозырку, чудом не слетевшую, пока я драпал через поле.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Это была георгиевская ленточка. Соловейко бережно обмотал ее вокруг околыша, чувствительно шлепнул меня по затылку и нахлобучил хвостатую шапку на мою голову.

— На-ко вот. Твоя...

Два раза посвящали меня в моряки: сначала капитан щелчком по носу, потом мой враг Соловейко — подзатыльником.

Третьего раза не будет, поклялся я себе тогда, под бруствером.

И клятву свою не нарушил. Теперь, в это мгновение, могу сказать это наверняка.

ЛУЧШАЯ НОЧЬ МОЕЙ ЖИЗНИ

...Сладкий запах ладана и свечного воска. Мирное сияние икон, подсвеченных огоньками. Мерцание золотых риз и эполет. И, как два бесценных сокровища, узорчатые короны, вознесенные над головами жениха и невесты.

В Петропавловском храме венчается раб Божий Платон рабе Божьей Агриппине. Четвертое октября, вечер...

Когда, отоспавшись после всех потрясений, я вылез из блиндажа, на меня обрушились две новости: одна страшная, другая удивительная.

Оказалось, что на третий бастион перебежал ирландец, рассказал: завтра утром сразу после рассвета назначена генеральная бомбардировка.

Ждали-ждали и дождались.

Вторую весть сообщил взволнованный Платон Платонович. Ему было письмо от госпожи Ипсиланти. Узнав о завтрашнем сражении, она выразила желание нынче же вступить в законный брак. Капитан и не подумал усом-

ниться в резонности этой просьбы. Раз Агриппина Львовна этого хочет, значит, так тому и быть.

Устроить всё в несколько часов было непросто. Я сбился с ног, исполняя поручения Иноземцова. Сначала — к коменданту порта за разрешением, потом к отцу настоятелю. Того на месте не оказалось. Как и многие горожане, он перебрался на Северную сторону, подальше от грядущей канонады. Однако решили и эту трудность: архиерей дозволил произвести обряд нашему корабельному священнику. Певчих, конечно, взять было негде, и букет я сумел добыть только один. Но зато пышный, из любимых Агриппиной белых хризантем.

Платон Платонович собирался сразу из церкви вернуться на фрегат — насилиу его отговорили. Порядок на «Беллоне» идеальный, к бою всё готово, люди в ободрении не нуждаются. После венчания офицеры вернутся на бастион, а командиру до утра отпуск.

...И вот я стою за спиной у Иноземцова, держу над его головой венец — такое мне вышло отличие за доставленный планшет. Дороже любой медали.

Над молодой корону держит Диана — вытягивает руки как можно выше, чтоб не помять высокую прическу с апельсиновым цветком.

Вообще-то это не по правилам. Держать венцы должны люди почтенные иль хотя бы совершеннолетние, но тут ведь всё не по канону. Невеста не в белом платье, жених не в парадном мундире, гости — серые от вьевшейся бастионной пыли.

Отец Варнава читает свадебный псалом по книге, с запинкой: «Дщери царей в чести твоей; предста царица одесную тебе, в ризах позлащенных одеяна, преиспешрена...» Ему обряд не в привычку, с морской-то службой.

Позади полукругом офицеры с «Беллоны» — не все, а кто свободен от вахты. В дверях маячит Джанко. В церковь отец Варнава ему как язычнику войти не дозволил, да и сейчас зорко поглядывает — не переступил ли индеец святой порог. Всякий раз, ловя на себе строгий поповский взгляд, Джанко старательно крестится. Он вдел в волосы три белых пера, весь сияет и выглядит именинником. Не то что Иноземцов.

Платон Платонович ссутулился, нервно поводит шеей, на вопрос, имеет ли благое желание, он отвечает жидковато и с дрожью:

— Имею, да-с...

Зато у Агриппины голос сильный и звонкий:

— Имею, честной отче!

Когда капитан надевает ей кольцо и никак не может попасть, Диана привстает на цыпочки и жадно заглядывает своей попечительнице через плечо.

— Вот счастье-то! Это и есть счастье, да? — шепчет мне Диана, в ее глазах слезы восторга.

Я киваю.

Мне очень хочется сказать, что у нас тоже так будет. У нас теперь всё будет. Она не пожалеет, что меня выбрала. Но я ничего не говорю. В церкви, да еще в такой час, болтать о постороннем не полагается. Опять же, я не вполне уверен, выбрала меня Диана или нет...

Когда молодые поцеловались, явилось предо мной чудесное видение.

Будто венчаемся мы с Дианой, но не в полутемной, пустой церкви, а в некоем пышном соборе, где звенят колокола и поют певчие, и вокруг моряки при полном парадном обмундировании. Я тоже в белом, морском, с золотыми якорьками. В военные офицеры меня, безродного, понятно, не возьмут, но можно ведь выучиться на торгового шкипера. Вон Платон Платонович в Россий-

ско-Американской компании возил из дальних океанов чай и пушнину. Это лучше, чем палить из пушек по кораблям с живыми людьми.

И плывем мы в украшенной гирляндами шлюпке через Артиллерийскую бухту на мой корабль. Он весь белый, на реях матросы машут шапками, а у борта с обнаженными саблями два офицера — почетный караул.

Носовая пушка салютует капитановой супруге. Все кричат «ура!», и мы с Дианой поднимаемся по трапу. Корабль-то мой, куда захотим — туда и поплывет. Хоть в Венецию, хоть в Индию, хоть в Калифорнию, в гости к Джанко...

С этими мечтаниями я пропустил весь конец церемонии. Очнулся, когда уже поздравляли новобрачных.

Иноземцову офицеры крепко жали руку, капитаншу осторожно целовали в кисейную перчатку. И один за другим шли к выходу. Сделает офицер несколько шагов, и походка меняется, будто затвердевает. Распахнется дверь — за ней ночная тьма. Выйдет человек, и будто никогда его не было.

И остались только мы четверо — дожждаться, пока переоблачится отец Варнава.

Он наконец вышел в своей всегдашней, запачканной землей рясе, под мышкой сверток с парадной ризой. Выслушал благодарности, потом не по-пастырски, а попросту облобызался с Платоном Платоновичем. И поманил пальцем меня.

— Знаешь, Герасим, отчего ты днешь, — (у него получилось «ннешь»), — через огонь прошел и живой остался? Это пока ты зайцем через поле бежал, я на валу икону святую понял и молил за тебя Бога, вдохновенно. Тако молил: «Боже всеблагий, всемогущий, спаси сего отрока... Господь милосердный, ну что Тебе стоит? Мно-

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

гих призовешь к Себе, а этого пожалей. На что он Тебе, Боже? Пусть поживет еще». И для верности еще пятый псалом пел, псалом этот исключительной надежности. — Отец Варнава вывел тягучим тенорком: — «Глаголы моя внуши, Господи, разумеи звание мое. Вонми гласу моления моего, Царю мой и Боже мой, яко к тебе помолюся, Господи!»...

— Благодарствуйте, — чинно поклонился я. — О том же попрошу вас и завтра. Очень мне ваше молитвенное заступничество понадобится.

— Оннако обойдешься, — неожиданно ответил мне поп, хитро подмигнул и пошел себе, оставив меня в недоумении.

Никакого свадебного пира, понятное дело, не было. Какие уж пиры, какое гостевание?

Я должен был донести до Сиреневой улицы подарок от офицеров «Беллоны»: они вскладчину купили в одной из немногих оставшихся лавок гипсового морского бога Посейдона, и каждый на постаменте написал чернилами свое имя.

Статую приволокли прямо в церковь, но отец Варнава «поганое изваяние» в божий храм не допустил. Покашло венчание, Посейдон томился снаружи, в темноте. Я, честно сказать, надеялся, может, сопрут. Однако не сперли, кому он по нынешнему времени нужен?

И пришлось мне тащить двухаршинного дядьку на себе. Был он тяжелый и к переноске нескладный, но я бы пёр его так хоть до скончания времен, потому что Диана шла со мною рядом и вытирала мне со лба пот.

Мы сильно отстали от Иноземцова с Агриппиной. Супруги шли под руку, назад не оборачивались и, кажется, не замечали ничего вокруг. По городу с вражеских позиций постреливали — проверяли углы элевации перед за-

встрашим делом. Ядер-то во мраке было не видно, зато бомбы, рассыпая искры, описывали красивую дугу — будто небо затеяло в честь свадьбы фейерверк.

Когда мы с Дианой подошли к дому, он был темен, но изнутри доносились тихие, нежные звуки, какие бывают, когда легкая рука медленно трогает фортепианные клавиши.

— Не будем входить, подождем, — прошептала Диана. — Боже, как это прекрасно... Он, она, оба молчат, и вместо них говорит музыка... Ты слышишь, она говорит о любви, какой никогда еще не бывало?

Ничего такого я не слышал, очень уж тяжело было держать на весу морского бога, а поставить некуда.

Наконец пианино смолкло.

— Ты же устал, бедненький! — Диана всплеснула руками. — И ведь не скажет! Я тоже хороша! Давай помогу, на лестнице не развернешься...

В гостиной мы никого не застали, только на черной лаковой крышке инструмента горела свеча.

Посейдона я пристроил по соседству с охотничьей богиней. Она была бронзовая и вдвое меньше, но рядом они смотрелись неплохо. А когда Диана по бокам поставила канделябры, вообще получилась красота. Я вдруг заметил, что, кабы не борода, Посейдон был бы вылитый Платон Платонович. Может, потому офицеры эту статую и купили.

— Ну чего, я пойду?

Я поднялся со стула.

Она удивилась:

— Куда это?

— Как куда, на фрегат.

Уходить мне не хотелось. Никогда еще мы так с ней не сидели — вдвоем в гостиной, и чтоб ее лицо было освещено только с одной стороны, так что левый глаз

наполнен светом, а правый тонет в тени. Поразительное у Дианы лицо — с какого галса ни посмотри, залюбуешься.

— Никуда ты не пойдешь. Платон Платонович велел тебе здесь оставаться. Если хочешь спать, я постелю на диване.

— Не хочу...

Мне капитан ничего такого не говорил. Поэтому я удивился, но еще больше обрадовался.

— Тогда давай чай пить. И разговаривать.

Она перенесла один из канделябров на стол, и я увидел, что там четыре прибора — как в прежние, доосадные времена, когда мы с Иноземцовым приходили сюда каждый четверг. Чашки Платона Платоновича и Агриппины Львовны стояли нетронутые.

Мы с Дианой тоже ни к чему не прикоснулись, хоть в вазе лежали фрукты, и печенье тоже было, и шоколад, и даже пирожные.

— О чем разговаривать? — спросил я, потому что мы сидели-сидели, а делать ничего не делали, и разговору никакого не было.

Она сказала:

— О будущем.

И тут же замахала рукой, будто лягнула ужасное.

— Нет... Не надо о будущем! Нельзя. Сглазим...

Сглазить боялся и я. Мы, моряки, суеверны. Поэтому мы просто сидели и молчали. Диана глядела на огонек свечи, я глядел на Диану и всё не мог наглядеться.

Было очень тихо — если не считать выстрелов, но к ним я привык и почти не замечал.

Один раз мы только заговорили, и то коротко.

Диана сказала:

— Знаешь, я в церкви их разговор подслушала.

Я не спросил, чей — по тону было понятно.

— Он говорит: «Вам, Агриппина Львовна, надобно перебраться на ту сторону. Завтра город окажется под огнем». Она ему: «Не «вам», а «тебе». И потом, мы ведь договорились. Ты в Севастополе — значит, и я в Севастополе. Я буду завтра о тебе молиться». Он говорит: «За нас за всех надо молиться». Агриппина вздохнула. «На всех меня не хватит. У каждого ведь кто-нибудь есть, кто за него молится. А у кого совсем никого нету, за тех молятся монахи и монахини. Нет, милый, я буду молиться только за тебя. Я буду так молиться, что ты останешься жив. Ты мне веришь?» И Платон Платонович так улыбнулся, руку ей поцеловал. «Как же я могу вам... тебе не верить?» Вот что я подслушала. Красиво, правда?

Я вспомнил, что мне говорил про молитвенное спасение отец Варнава. Хотел спросить у Дианы: «А ты завтра будешь за меня молиться?» — да не решился. Будто выпрашиваю. Она же посмотрела на меня и улыбнулась. Непонятная какая-то была улыбка — довольная. С чего бы?

— Если такая женщина, как Агриппина Львовна, за кого-то очень сильно молится, с ним ничего плохого случиться не может, — все-таки сказал я, не без намека. Пускай Диана сама сообразит, чего мне хочется.

Но она только кивнула:

— Само собой. — Встала. — Давай я тебе грибоедовский вальс сыграю. Тихонько, чтоб им не мешать.

И я понял: нет, не желает она ни про что такое со мной разговаривать.

А и не надо было. Правду Диана давеча заметила: лучше музыки про такие вещи все равно никто не скажет.

Она то играла, то просто сидела, наклонив голову и держа пальцы на клавишах. Иногда вдруг быстро обернется — словно хочет проверить, смотрю я на нее или нет.

Конечно, смотрел. Ни разу глаз не отвел. А думал я в это время вот что. Если это последняя ночь в моей жизни, то спасибо за нее Богу.

За окном еще не засветлело, а лишь слегка поголубело, когда в гостиную вошел Платон Платонович, застегивая китель. Следом вышла и Агриппина Львовна. Она была в том же платье, в каком венчалась. А в лицо ее я не вглядывался, потому что у меня кольнуло в груди: всё, пора?

Если так, то каждое оставшееся мгновение я желал смотреть только на Диану.

— Ну это... прощай, — сказал я, приблизившись.

Она всё с той же довольной улыбкой, которую я давеча не понял, ответила:

— Ничего не «прощай».

— Гера! — Иноземцов сзади взял меня за плечо. — Ты остаешься здесь. Если неприятель в самом деле начнет обстреливать городские кварталы, уводи отсюда Агриппину Львовну и Диану. Перевези их на Северную и не оставляй.

Лишь теперь я всё понял. И почему отец Варнава за меня молиться не обещал, и отчего Диана улыбалась. Тут был заговор! Все стакнулись против меня!

— За что, Платон Платоныч? — вскричал я. — За тог-дашнее, да? За Синоп?! Соловейко — и тот меня простил! Я же полноправный матрос теперь! У меня лента на бескозырке! Я на фрегат хочу!

— Нечего тебе там делать, — отрезал он. — Я поделил людей на три смены. Всех, кто не нужен у орудий, отвожу в резерв. Чем в тылу без толку сидеть, лучше о дамах позаботься.

— Как это нечего делать? Я сигнальщик! Кто будет за бомбами следить?

— Завтра сигнальщик не понадобится. Пальба будет такая, что за всеми снарядами не уследишь.

— А вышки тогда зачем?!

Пять вышек над бастيوном, которые я видел, когда бежал через поле, мне не примерещились: наши возвели их вместо сбитой, и я уж заранее присмотрел, на которой буду нести службу.

— Чтоб я мог корректировать стрельбу поверх зоны задымления. Одну сшибут — перемещусь на другую.

Капитан говорил со мной, а смотрел на супругу. И видно было: не до меня ему.

Я схватил его за рукав, взмолился:

— Платон Платонович! Зачем обижаете? Грех вам!

Тогда он наклонился, обнял за шею и совсем тихо шепнул:

— Дурак ты! Это тебе не Синоп, победы ждать не приходится. Всех нас, кто с утра встанет на переднюю линию, поубивает. Вторую смену тоже. Слава Богу, если из третьей смены хоть кто уцелеет...

— Коли вы так уверены, — сказал я, и злые слезы выступили у меня на глазах, — зачем же было на Агриппине Львовне жениться, на вдовью долю ее обрекать? Воля ваша, а только неправду вы мне говорите! Избавиться хотите!

Вот до чего я обиделся — капитана во лжи обвинил.

Но он не оскорбился. Шепчет:

— Ты видал, как бедно она живет? Еще и воспитанница у нее. А я капитан второго ранга и командир корабля. После меня пенсия останется.

Мне никогда не приходило в голову, что госпожа Ипсиланти бедная. Прислуги у ней не было, это верно, и разносолов на стол никогда не подавали, однако ж одевалась она чисто, на мой взгляд даже красиво. Правда, платье нарядное у нее было только одно, в нём и венчалась.

— Пойми! — шепнул еще Платон Платонович. — Я тебе доверяю единственное, что у меня есть и что после

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

меня останется. Будь с Агриппиной всё время. Не оставляй ее, когда...

Он не договорил. Распрямился и сказал уже громче:
— Это мой приказ. И просьба...

Он уходил вверх по Сиреневой улице твердой военной походкой: правой рукой отмахивал, левой придерживал саблю.

Мы смотрели вслед с крыльца. Рука Агриппины лежала на моем плече, а Диана крепко стискивала мои пальцы.

Так ни разу и не обернувшись, Иноземцов скрылся за поворотом.

— Господь сохранит мне его, я знаю, — твердо молвила Агриппина.

Я выскользнул из ее полуобъятия, выдернул свою руку из Дианиной.

Сказал:

— Ты все-таки за меня помолись.

И побежал в ту же сторону.

— Гера, немедленно вернись! Капитан приказал!

— Гера-а-а! А как же я?! — неслось сзади.

Я, конечно, не вернулся. Но на углу оборотился. Я же не Платон Платонович, воля у меня не каменная.

На крыльце, показавшемся мне ужасно далеким, стояли две маленькие фигуры.

В тот миг я думал, что больше никогда их не увижу.

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ

До самого бастиона я следовал за капитаном, держа изрядное расстояние. На «Беллоне»-то можно было не опасаться, что я попадусь ему на глаза. Там народу много, есть где спрятаться, и не до меня будет Иноземцову.

Хоть едва рассвело, на «фрегате» никто не спал.

Прислуга хлопотала у орудий, офицеры стояли кому где предписано. Внутри расположения было почти пусто, только дежурили у вкопанных в землю бочек пожарные команды. Бастион порастил меня непривычным малолюдством, но потом я вспомнил, что говорил Платон Платонович про три смены.

Всех, кто не был нужен возле пушек, включая пехотное прикрытие, должно быть, отвели в ближний овраг. То-то я их по дороге не приметил. Зато видел Шрамма. Он сидел на складном стульчике перед баракom перевязочного пункта, пил кофе из большой фаянсовой кружки, да покрикивал на санитаров. Они все были из гарнизонных арестантов — с полуобритыми головами, в серых халатах. Кто-то раскладывал в длинный ряд носилки, кто-то таскал в барак ведра с песком.

— Пыстрой пегай, пыстрой! — подгонял их лекарь. — На пол зыпать куще! Кровь скользкая, мощно упасть!

Я вспомнил, как он орудовал пилой во время Синопа.

Бр-р-р!

«Боженька, милый, если нельзя мне от бомбы-пули уберечься, убей меня лучше сразу, наповал». Я перекрестился, отвернулся — и поскорей мимо.

На бастионе-то было хорошо. Чистота, порядок, все заняты делом — как на настоящей «Беллоне».

Капитан Иноземцов стоял у амбразуры. Покуривал сигару, прикладывался к биноклю. По небу ползли низкие тучи, начинал моросить дождик, но тумана нынче не было, и вражеские позиции уже хорошо просматривались.

Пригнувшись, я перебежал к мортире, расположенной на правом фланге третьей батареи. Во-первых, от нее было дальше всего до Платона Платоновича, а во-вторых, фейерверкером, то есть командиром расчета, там состоял Соловейко, и я надеялся, что он меня не выдаст.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Так оно и вышло.

— Чего приперся? Вали отседова в овраг, тут без тебя дураков много, — не шибко любезно встретил меня рыжий, но голос был веселый, можно даже сказать, приветливый.

— У меня глаз сам знаешь какой. И орудие наводить я умею.

— Глазом своим можешь... — Соловейко объяснил, куда именно я могу заглянуть моим зорким глазом. — Наводить седни незачем. Приказ всем мортирам палить в одно и то же место. Лейтенант сам прицел ставил. Милое дело: знай, сыпь порох, пуляй в небо, да следи, чтоб планка не сбилась. Я вот ухи пенькой заткну и спать лягу. Пушай «сухари» без меня заряжают.

Прогонять меня, однако, Соловейко не стал. По-моему, он был даже рад моему приходу. Расчет у него был весь из «сухарей», то есть сухопутных артиллеристов, и разговаривать с ними Соловейко почитал ниже своего достоинства.

— Вон туда все бомбы полетят, видишь? — Я показал на верхний ярус французского укрепления. — Квадрат дэ-двенадцать — он вон он где.

Но смотрел я не на квадрат, в котором по схеме артиллерийского огня находился пороховой погреб — все равно отсюда его было не углядеть. Я просто разглядывал Лысую Гору и диву давался. Всего сутки назад я находился там. Прятался в кустах, лежал на траве, вдыхал запах земли. А будто тыща лет прошло.

Еще я подумал, что поганые эти французы, со своими анфан-пердю, подлыми кантиньерками и шустрыми петушками, обсели мою заветную тайну, будто туча мух. И покуда мы с Платоном Платоновичем не освободим Лысую Гору от этой нечисти, ничего у меня не будет — ни Дианы, ни белого корабля. Первый раз с начала вой-

ны — а длилась она, считай, уже целый год — ощутил я злобу на врага. До сей поры это государь император с ними воевал, мое дело было служивое. Теперь же кулаки у меня сжались, зубы закрипели. Если б сейчас капитан Иноземцов приказал: «Ура! В атаку!» — я бы первый побежал, и нисколько бы не было мне страшно.

— Капитан, — ткнул меня Соловейко. — Прячься, сопливый.

Стало быть, понял, что я самовольно заявился.

Вдоль бруствера в нашу сторону неторопливо двигался Платон Платонович, переговариваясь с солдатами. За ним, отстав на пару шагов, следовал Джанко. Вот кого следовало опасаться. Иноземцов-то не особенно приметлив, а от индейца поди укройся. Всё видит, черт краснокожий.

Я присел за лафет, сжался. Если капитан меня застукает — как пить дать отправит в карцер, и сидеть мне там под замком до окончания боя.

Негромкий голос звучал всё ближе. Вот уже можно было разобрать слова.

— Заскучали, братцы, без дела? Перебежчик говорил, в половине седьмого начнется. Что-то господа союзники опазды...

ДЫ-ДЫ-ДЫ-ДЫ-ДЫ-ДЫ-!!! — загрохотало вдруг, и у меня заложило уши.

Забыв об осторожности, я вскочил на ноги.

Неприятельская линия — вся, сколько хватало взгляда, — будто вскипела белой пеной. Это ударил залп из сотен орудий. Словно невидимая страшная сила разодрала холмы и долину надвое, оставив на лице земли кипящий шов, — он змеился от самого Херсонеса.

Началось!

Соловейко что-то с ухмылкой сказал мне.

— А?

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Ну, говори, сигнальщик, когда тикать! — проорал он мне в ухо.

Я, сощурившись, впился глазами в небо.

Боже ты мой! Воздух рябил черными точками. Я не мог охватить взглядом их все, но мне показалось, что они летят прямо на меня.

— Сюда-а-а!!! Ложи-ись! — охнул я и присел за бруствер.

Вокруг загрохотало, вал дрогнул. Обернувшись, я увидел, как разлетаются куски глины, камни, обломки дерева. Нелепо раскорячась, перекувырнулся подкинутый взрывной волной человек. Вихляясь, катилось пушечное колесо. Отовсюду неслись крики, стоны.

Нас накрыло первым же залпом. Казалось, мало кто мог уцелеть после такого удара.

Но я высунулся из укрытия и увидел, что Иноземцов стоит на том же месте и даже не пригнулся.

Страхивая с фуражки мусор, он сказал командиру нашей батареи обычным голосом:

— Отменно они пристрелялись. Что ж, Иван Гаврилович, с Богом. Как условились: всем мортирам бить залпами по квадрату Д-12. Ну а корректировать огонь пушек, когда пропадет видимость, я буду сам.

Он не особенно торопясь направился к ближней вышке. А лейтенант (он был не наш, не с «Беллоны», только недавно к нам назначен) гулким басом приказал:

— Третья батарея, огоны!

И другие батарейные тоже закричали: «Огоны! Огоны!»

Я увидел, как Джанко хватает Платона Платоновича за локоть и показывает на другую вышку — вторую справа. Капитан пожал плечами, ему было все равно.

Мне еще днем объяснили, что вышек поставлено целых пять штук, чтоб вражеский огонь не был сосредоточен в одной точке. Опять же — если какую собьют, еще четыре останется.

Эти «мачты» для управления огнем стояли только у нас, на «Беллоне». Уж не знаю, как на других бастionaх без них обходились. Потому что, едва наши батареи дали залп, вся позиция сразу окуталась густым дымом. И потом, в протяжении всего времени, пока я оставался на валу, уже мало что можно было разглядеть. Я хорошо видел только нашу мортиру, да вспышки, когда палила соседняя.

Иногда в серо-белой мути образовывалась прореха, и в ней что-то проступало, но лишь кусками и ненадолго. Если неподалеку разрывалась вражеская бомба, туман как бы окрашивался багрянцем. Кто-то завопит от боли, засвистят над головой камни или, может, осколки, а видеть не видно.

Соловейко, брезговавший разговаривать с «сухарями», пока было тихо, теперь не умолкал, всё сыпал прибаутками.

— Бояться не бойсь! Смерть пугливых любит! — орал он. — Слушай сюда, я стих сочинил! «Отпиши мамаше: на том свете краше!» «Шевелись, черепахи! Не жалея рубахи!» Слыхали про Пушкина, деревня? Это я он самый Пушкин и есть! Вишь, и пушка при мне! А вот еще стих: «война в Крыму — всё в дыму!»

Щеки нашей амбразуры, выложенные мешками с землей, тлели и вспыхивали от частиц горящего пороха. Мне наконец нашлось дело: я сбивал пламя. Но скоро бросил. После нового выстрела огонь занимался опять. И пусть его.

Взрыв грянул совсем рядом, меня осыпало землей.

— Вестовой! — крикнул лейтенант. — Беги за резервным расчетом для второго орудия! По дороге пришли санитаров! Батарея, залп!

Может и хорошо, что ни черта не видно, подумалось мне. Если б люди посмотрели, что вокруг делается, половина, поди, разбежалась бы. Или окаменела бы, как я на той грот-мачте.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Не сказать, до чего мне было жутко. От злобы на неприятелей ничего не осталось, один ужас. Если б не Соловейко, я бы залез под лафет и нипочем оттуда не вылез.

Страшно мне было оттого, что все вокруг работали, один я бил баклуши. Прав, выходит, был Платон Платонович: нечего мне тут делать. Зачем только я его не послушал? Оно ведь и уставом строго-настрого запрещено, вплоть до строжайшей кары — приказ начальника нарушать!

Голос, усиленный рупором, время от времени взывал из невидимого поднебесья:

— Вторая батарея, на пункт левее, на два градуса ниже! Первая батарея, не долетаете! На градус выше! Мортирная, так держать, молодцы!

И пошел я туда, поближе к этому спокойному голосу. Чтoб вернуть утраченное мужество.

Встал под самой «мачтой», задрал голову.

Вот проредился пороховой туман, расползся ключьями, и увидал я капитана. Он сидел на табурете, спереди прикрытый мешками с землей. В одной руке рупор, в другой сигара. От одного только вида Иноземцова весь страх у меня пропал. Ну, может, не весь, но трястись я перестал.

Справа раздался грохот и треск — не такой, как от бомбовых разрывов. Я обернулся. Это падала сшибленная метким ядром крайняя из вышек — та самая, на которую капитан собирался подняться вначале.

Кто-то дернул меня за штанину.

Джанко! Я и не заметил, что он сидит тут же, под «мачтой». С гордым видом индеец показал в сторону разрушенной вышки, потом ткнул себя в грудь.

— Ты молодец, Джанко. Откуда ты только всё знаешь!

Он подмигнул, приложил палец к губам, потом дунул и закрыл глаза. Это у него означало: «Потому что во мне дух заколдованный, и, пока я молчу, он меня не покинет».

— Значит, пока ты молчишь, тебе помереть невозможно? — завистливо спросил я.

Индеец важно кивнул. После истории с вылезшими из ран пулями я ему верил. Эх, и я бы сейчас помолчал за такую цену. Хотя б до конца бомбардировки.

Не поднимаясь с земли, Джанко сильно толкнул меня в живот, махнул рукой. Уходи, мол, нечего тебе тут.

— А сам-то ты что тут делаешь?

Он показал вверх, постукал себя по башке:

— Я при капитане, а ты дурак и иди отсюда.

Может, из-за колдовской силы индейца, а может из-за того, что отступил страх, голова моя вдруг словно очистилась.

Действительно, чего я тут разгуливаю? Нашелся зевака. Здесь происходит дело страшное, необходимое, люди службу служат и жизнь свою отдают. А я что? Нечего зазря рисковать, даром Божиим разбрасываться. Грех это и даже преступление. Если нынче я на бастионе не нужен, так позже пригожусь. Вон какие у нас потери, скоро на батареях каждый человек понадобится.

Пристыженный, я побежал в тыл — со всех ног и пригнувшись, чтоб не задело осколком. Красоваться было ни к чему и не перед кем.

Там, где бомбы и ядра почти не падали, а дыма было мало, перед уходящей в сторону города траншеей, лежали в ряд тела — много. Каждое было прикрыто шинелью или мешковиной, и поэтому я не знал, кого из моих знакомцев убило.

Арестанты семена подносили на носилках еще и еще. Если мертвец — вываливали, если раненый — волокли дальше, к доктору Шрамму.

Над погибшими расхаживал один Варнава, его будка-часовенка была неподалеку. Поп наклонился над только что принесенным, поднял полу шинели.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Не остави, Господи, душу православного честного воина Даниила, в брани убиенного...

А рядом уже клали следующего, без обеих ног. Это раскосое лицо я знал — матрос с «Беллоны», из калмыков.

Отец Варнава замахал кадиллом и над ним:

— Не остави, Господи, иноверного честного воина Абдулку, в брани убиенного...

Завсигстел воздух. Я дернулся, хотел крикнуть «Ложись!» — да не поспел. Ядро ударило прямо в резной крест часовенки, и вся она сложилась на доски, разлетелась щепками. Кусок дерева ударил батюшку по голове — отец Варнава без вскрика упал ничком.

Я кинулся к нему, перевернул на спину. Глаза у священника закатились, зубы оскалены, но изо рта с хрипом вырывалось дыхание, и крови не было. Жив!

— Сюда, сюда! — позвал я плетущихся со стороны тыла санитаров. — Батюшку контузило! Несите к доктору!

Как они ко мне кинулись! Понятное дело: лучше нести раненого отсюда, чем тащиться на бастион, где снаряды сыплются что твой горох.

Вот опять попало по живому — на правом фланге, где третья батарея. Там закричали в несколько голосов.

— Вестовой! На шестую мортиру смену из резерва! Живо! — послышалось оттуда.

Шестая? Это же Соловейкина!

Позабыв обо всем, я ринулся обратно, в густой дым. Двум арестантам, только что притащившим покойника и собиравшимся перекурить, заорал:

— За мной! За мной!

Они, матерясь, пошли.

Возле самого вала я споткнулся о неподвижное тело. У воронки лежали еще и тоже не шевелились. Лишь у самой мортиры я увидел живых: одного подносчика, он

был целый, только из уха стекала красная струйка — и Соловейку. Рыжий сидел на земле, стягивал ремнем ногу выше колена. А ниже ничего не было, только красный обрубок.

Увидев меня, мой бывший враг осклабился. Губы у него были того же цвета, что зубы, — белые.

— Вишь, какая штука? Одна нога здесь, другая там...

Арестанты, которым не терпелось поскорей убраться из этой преисподни, не дали ему договорить — силком подхватили, кинули на носилки, унесли.

— Чего стоишь, малый? — сказал мне странно высоким голосом подносчик, немолодой мужик с вислыми губами. — А? Бабу, говорю, кати! И так залп пропустили.

Я побежал к пирамиде с бомбами. Схватил одну — ох, тяжелая. Кое-как дотащил до орудия, а поднести к дулу сил не хватает.

— Дядя, помогай!

Но «сухарь» тыкал банником в жерло и не поворачивался. Да он оглох, догадался я. Пнул его ногой.

— Притащил? Нутко!

Вдвоем мы запихнули снаряд в ствол.

Здесь как раз батарейный командовал:

— Батарея, огонь!

Из нашей короткорылой изверглось пламя. Я-то, как положено, успел заткнуть уши, а моему напарнику было все равно.

— Давай, давай! Не поспеем. Вишь, нас двое только! — громче нужного проорал он, прочищая дуло.

Я уж и так бежал.

Сам не знаю, как нам удавалось не отставать от основной батареи, но только наша мортира стреляла вовремя, по команде. Просто у других подносчиков и заряжающих оставалось время передохнуть, а у нас не было. Ничего, скоро должна была подойти смена из резерва.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Мне всё думалось: да что же это? Все бастионные мортиры — а это четырнадцать стволов — уже битый час лупят по квадрату, точно рассчитанному геройским Аслан-Гиреем — и никакого проку? Не такой человек был штабс-капитан, вечная ему память, чтоб обмишуриться. Однако французу хоть бы что. Лупит по нам и лупит, а взрываться даже не думает.

И вдруг до меня дошло, в чем заковыка!

Когда я скучал на Лысой Горе и пялился на французов, то видел некое загадочное учение. Ихний унтер, начальник над пороховым погребом, затеял странную забаву. Крикнет — из окопчика выскакивают два солдата, открывают бронированную крышку, вытягивают подъемник с зарядами. Унтер следит по часам. Сызнова крикнет — они крышку захлопнут, и стремглав в укрытие. Я еще от нечего делать попросил у Аслан-Гирея часы и замерил: ровно полторы минуты у французов вся эта петрушка занимала, а если дольше, то начальник на них ругался.

Теперь же меня осенило.

При батарейном залповом огне между выстрелами по нашему артиллерийскому уставу проходит аккурат полторы минуты. И французы про это знают. Унтер свою команду натаскивал, чтоб они успевали открыть погреб, вынуть нужное количество зарядов, опустить крышку и укрыться в окопе. Вот почему вся наша стрельба впустую! Если бомбы и попадают в нужное место, то отскакивают от запертой броневой дверцы! Даже если взорвутся свежевывнутые пакеты — урон невеликий.

Не так надобно стрелять, не так!

— Куда? — сигло крикнул мне в спину «сухарь». — Один я не управлюсь!

Но я спешил к лейтенанту.

— Ваше благородие! Ваше благородие!

Поскольку офицер был чужой, про мою вчерашнюю вылазку не знал и вообще видел меня впервые, он сначала не хотел и слушать.

— На место, матрос! Вернись на место!

Глаза очумелые, хрипит, от копоти всё лицо черное, только морщины белые. Но в конце концов внял. Гляжу — прищурился. Стал задавать вопросы.

— Молодец, говорит, матрос. Беги на вторую к лейтенанту Кисельникову, скажи, что я начинаю бить не залпами, а вразнобой. — И во всю глотку. — Расчеты! Прицел тот же! Огонь по готовности! Беглым, пли!

Я сбегал к Кисельникову. Он-то меня хорошо знал и вообще толковый, долго объяснять не пришлось. Правда, из-за того что орудия правофланговой батареи теперь бухали без перерыва, я чуть горло не надсадил, перекрикая канонаду.

Потом я побежал на дальнюю левую сторону бастиона, где первая батарея. Там у лейтенанта Белова было еще четыре мортиры. Вторая уже начала лупить россыпью.

Не успел я еще разыскать Белова, тоже нашего, фрегатского, как земля покачнулась, воздух толкнул меня, словно за что-то осерчав. Еще это было похоже на небывалой силы шквал, который налетел и сдул с «Беллоны» дымовую завесу.

Произошло это совершенно бесшумно.

Будто по волшебству открылся вид на поле и на Лысую Гору.

Только горы никакой не было. Вместо нее, совершенно беззвучно, быстро рос кверху невиданный черно-коричневый куст. Он поднялся высоко-высоко, саженой на сто иль еще выше, а потом начал пушиться, расширяться, из него посыпалась всякая труха.

Я сглотнул, и слух ко мне вернулся.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

— Ура-а-а-а!!! Ура-а-а!!! — кричали вокруг, в воздух летели бескозырки и фуражки.

А капитан Иноземцов, которого было отлично видно на слегка покосившейся, но целой «мачте», прогудел в рупор:

— Молодцом, «Беллона»! Виват!

Большие обломки до нашего бастиона не долетели — все-таки неблизкая дистанция, полверсты. Но еще долго, несколько минут, на нас сыпался мелкий мусор: деревянная щепа, комочки земли и прочее.

Прямо под ноги мне упал блестящий квадратик. Я поднял.

Это был нарисованный глаз. Я узнал его — как было не узнать... А еще я увидел несколько черепков с узорами — мелкие осколки старинных ваз, которые Аслан-Гирей называл «амфорами».

Секунду или две я молчал, а потом снова, вместе со всеми, стал кричать «ура!».

Удивительная, в сущности, вещь. Погибла — взлетела на воздух и рассыпалась прахом — моя мечта, вся моя будущность. А я не жалел. И повторись всё снова, ничего бы не изменил.

ГОЛОС ДЖАНКО

Пушки грохотали и справа, за Рудольфовой горой, и слева, со стороны Куликова поля; где-то далеко за нашей спиной тяжко бухали крупнокалиберные крепостные орудия, ведя бой с вражеским флотом, а у нас и наших соседей было тихо.

Умолкло не только двухъярусное французское укрепление, которого больше не существовало. Словно испугавшись, заткнулись и две примыкавшие батареи. Над

Лысой горой, весь контур которой переменялся — она стала ниже и шире — клубилось серое облако.

Досталось, конечно, и «Беллоне». Спустившийся с командного пункта Иноземцов быстро шел вдоль вала, сопровождаемый офицерами, и на ходу отдавал указания. На всякий случай я не стал попадаться капитану на глаза, пристроился в самом хвосте.

Платон Платонович говорил:

— Взамен разбитых орудий прикатить запасные. Бруствер выровнять, амбразуры восстановить по всему профилю. Расчеты, кто уцелел, — в тыл, на отдых. Пусть выдадут двойную чарку. Все герои, всех поблагодарю позже. Господам офицерам, конечно, придется остаться и расположить по местам резерв. Не теряя ни минуты, да-с.

— Куда спешить? — спросил штурман. — Бой окончен полной викторией.

— Как бы не так, Никодим Иванович. Вы думаете, отчего у него две соседние батареи умолкли? Переводят пушки на «Беллону». Самый тяжкий бой еще впереди, а сейчас только передышка-с. Полчасика, не более. Потом возьмут в кинжальный, с двух сторон. Так ведь и мы с вами на ихнем месте желали бы поквитаться за товарищей, не правда ль?

Раз такое дело, соваться капитану на глаза точно не стоило. Прогонит. А теперь уходить с бастиона мне было обидно. Ведь виктория была моя. Дважды моя, даже трижды.

Кто доставил схему с координатами порохового погреба?

Кто сообразил стрелять вразнобой?

А главное — кто пожертвовал ради победы самым дорогим свои сокровищем?

Нет уж, Платон Платонович, никуда я отсюда не уйду.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Полчасика — это капитан французам много дал. Пятнадцати минут, я думаю, не прошло, едва-едва новая стена у нас заступила, как ударили по нам залпами и справа, и слева.

— По места-а-ам! — тонко закричал Иноземцов — и офицеры кинулись врассыпную, каждый на свой пост.

Я вертел головой, вглядываясь в еще не затянутое дымом пространство. Снаряды летели на нас гуще прежнего — клином, наискось, с двух сторон. В воздухе рассыпались искры, будто кто-то ударил кресалом. Я догадался: это под острым углом сшиблись два ядра.

При артиллерийском обстреле самое безопасное место — сразу под бруствером. Туда я и несясь. Едва прижался к земляному боку, как на нас посыпались гостинцы. Большинство с недолетом или перелетом — не приладились еще наши новые противники с прицелом, но и точных хватило.

Вышка, на которой давеча сидел капитан и к которой он снова шел неспешной походкой, переломилась пополам — один из столбов вдребезги расщепило выстрелом.

Джанко догнал Платона Платоновича, показал на крайнюю левую из трех оставшихся «мачт», но капитан отмахнулся от него и полез на ближайшую, которая находилась в самом центре позиции.

Еще во время передышки — я слышал — Иноземцов велел нашей первой батарее вести огонь по неприятелям слева, третьей — по неприятелям справа, а второй батарее ждать его приказаний. Поэтому наши фланги уже открыли стрельбу и окутались дымом, а в середине пушки еще молчали. Лейтенант Кисельников нетерпеливо глядел на Платона Платоновича, а тот посмотрел в бинокль, сел на стул, подумал и только потом поднял рупор.

— Вторая батарея, по Рудольфовой горе! Василий Матвеевич, наводку берите сами. Я после скорректирую. Огонь по готовности.

Кивнув, лейтенант побежал от орудия к орудью, нагибаясь над прицелами и объясняя что-то наводчикам. Сразу после этого пушка выплевывала язык пламени и откатывалась, заволакиваясь дымом.

Через минуту или две весь бруствер, а за ним и внутренняя часть бастиона снова утонули в густом тумане, над которым раздавалось:

— Вторая, два градуса левее!

— Третья, пункт выше!

— Первая, не долетаете! Прибавить четыре пункта!

Никто не гнал меня в тыл. Пороховая пелена укрывала меня со всех сторон. И хоть делать пока было нечего, я знал, чего дожидаться. Скоро где-нибудь крикнут: «Вестовой, смену на такой-то номер!» Потому что французы сейчас пристреляются и начнут выбивать людей из расчетов. Тогда-то Герасим Илюхин и пригодится.

Так страшно, как в начале бомбардировки, мне не было, но всё же из относительно безопасного места под бруствером я перебрался к центральной «мачте». Ближе к Платону Платоновичу — оно лучше.

Правда, Джанко сейчас вел себя беспокойно, не как прежде. Он не сидел под вышкой, а тревожно топтался на месте, будто пританцовывал, и всё глядел вверх. Я стоял у него прямо за спиной, но он меня не замечал.

Один индейский бог ведает, как Джанко чуял подобные вещи, а только зря капитан не послушался краснокожего. Что-то громко хрустнуло, потом заскрипело, качнулась тень. «Мачта» начала медленно заваливаться. Должно быть, снова ядро угодило в опору — не прямым попаданием, а вскользь, но хватило и этого.

С треском и грохотом помост рухнул на землю:

— Платон П-п...! — подавился я воплем.

Из разных мест кричали:

— Командира убило! Капитан погиб!

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Я побежал к темной груде обломков. И чуть не разрыдался от облегчения, услышав сердитое:

— Убери лапы, Джанко! Не шупай меня, я цел!

Платон Платонович действительно был хоть и помят, но невредим. Вокруг него толкались люди. Один страхивал пыль с мундира, другой подал фуражку. Капитан сердито осмотрел ее — и отшвырнул, козырек был расколот надвое. Еще плачевней выглядел рупор. Он лопнул в нескольких местах.

— Экая чепуха. Не рупор, а дрянь-с! — Иноземцов поглядел вокруг, быстро принял решение. — Зыченко, за мной. Будешь повторять команды.

Сказано это было боцманмату с «Беллоны», у него был голос исключительной зычности, в соответствии с фамилией.

— Остальные, по местам!

Меня, слава Богу, не заметил.

Все побежали кто куда, капитан же направился к ближней вышке. Их теперь осталось две.

Зыков влез за Платоном Платоновичем по лестнице, Джанко остался внизу.

И снова из невидимых туч слышались команды, только с хохляцким хыканьем:

— Вторая! Перенэсть охонь на шашнадцатый квадрат! Дыстанция восемь кабэльтовых! Ухол одынацать!

Я тоже переместился к новой «мачте». Что ж мне у ку-чи обломков торчать?

Вблизи было слышно, как Иноземцов отдает указание, а Зыченко во всю глотку повторяет. Грубые башмаки боцманмата и его перепачканные в земле штаны просвечивали сквозь дым.

Эта вышка индейцу тоже не нравилась. Никогда еще я не видел Джанко в таком беспокойстве. Он вцепился руками в перекладину, тряс головой. Меня, хоть я стоял прямо у него за спиной, даже не заметил.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Совсем близко разорвалась бомба, нас обоих кинуло наземь. Я-то ничего, встал как ни в чем не бывало, только в ушах звенело, а вот Джанко сидел и держался за голову.

— Ранен?

Он показал: всё кружится, ноги не держат. На лбу набухал здоровенный кровоподтек.

— Это тебя контузило. Побегу за санитарями!

Но индеец схватил меня за локоть, показал куда-то вверх.

Я обернулся.

На лесенке, зацепившись ногами, головой вниз висел Зыченко, руки болтались, из виска торчал зазубренный кусок металла. Убило осколком!

— Боцманмат, я сказал: «Вторая, еще пол-угла на ост!» — донесся сорванный голос капитана. — Боцманмат! Где ты там? Батарея ждет!

Я набрал полную грудь воздуха.

— Вторая-ая! Пол-угла на о-о-ост!

И, стараясь не задеть мертвеца, полез по лесенке. Как-то оно само вышло, безо всякого обдумывания. Надо же кому-то капитану помогать.

Невидимый лейтенант Кисельников откликнулся:

— Есть пол-угла на ост!

Я поднялся под самый помост. Иноземцов испуганно глядел на меня через люк.

— Гера, почему ты здесь? Что-нибудь с Агриппиной Львовной?

— С Агриппиной Львовной всё хорошо. Командуйте, Платон Платонович!

Он погрозил мне кулаком, однако масть легла моя, крыть ему было нечем.

— Ну, я с тобой после поговорю...

И приложился к биноклю.

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Всё было, как в Синопском бою. Опять я оказался над дымом — не совсем, конечно, потому что бастионная «мачта» была сильно короче корабельной. И обзор неважнецкий, и видимость не ахти. Но французские позиции отсюда просматривались неплохо.

После нашего залпа на вражеской линии, что опоясывала Рудольфову гору, встали разрывы — будто кустики на грядке. У них там тоже всё было затянато сплошным молоком, в нем дружно мелькнули вспышки — ответный залп.

— Почти накрыли, — пробормотал капитан. — Ну-ка, вели второй прибавить один градус, а третьей убавить! В самый раз выйдет.

Я приложил ладонь ко рту.

— Вторая, один градус прибавить! Третья, один градус убавить!

Вот теперь легло точнехонько по ихнему брустверу. Тот сызнава огрызнулся огнем, но вспышек стало меньше.

Платон Платонович сказал:

— Отлично-с! Так дер...

Я не знаю, чем Иноземцова убило — ядром или осколком бомбы. Раздался хруст, в глаза мне брызнуло горячим и мокрым, на миг я ослеп.

Протер лицо рукавом. Он был весь красный.

Я... я не хочу вспоминать то, что увидел.

Капитану снесло голову. Его туловище сползло по стулу, и выше плеч ничего не было.

Чтоб этого не видеть, я обхватил столб, зажмурился. Точь-в-точь так же вцепился я в мачту во время Синопа, когда околел от смертного ужаса.

— Господин капитан, прицел тот же? — кричали снизу.

Сквозь щели на меня густо текла кровь. Она была теплая.

Что-то загрохотало. Я поднял глаза. Помост опустел. Должно быть, стул вместе с телом рухнул вниз.

— Господин капитан, как стрелять? Эй, юнга, какой приказ?

Я заставил себя разжать зубы. Это было невероятно трудно. Челюсти будто окаменели. Но получилось. Губы тоже не слушались, и горло сжималось — не продохнуть. Невыносимо хотелось снова прижаться к столбу и ничего не видеть, не слышать, не делать. Главное — ни о чем не думать.

— Отлично, — просипел я без голоса. — Так держать! Попробовал снова:

— Так держать...

Громко получилось лишь с третьего раза:

— Так держать!

— Есть так держать! — ответили мне из центра и с правого фланга.

Я влез на помост, стараясь не поскользнуться на мокром.

От вражеского бастиона летели клочья. Прицел был точный.

Наверху, оказывается, посвистывали и пули. Французские стрелки из передовых ложементов били по вышке из дальнобойных штуцеров. Одна пуля чавкнула, попав в мешок, на который я опирался. Но я не приседал и не прятался.

— Так держать! — кричал я. — Так держать!

По моему лицу текли слезы, но я не решался вытереть их правым рукавом — он был в крови Платона Платоновича. Про левую руку я как-то забыл.

Французам на Рудольфовой горе приходилось туго. Вместо очередного дружного залпа они ответили всего двумя вспышками.

Я посмотрел в другую сторону — но и там неприятельский огонь ослабел. Разрывы кустились что-то очень уж тесно. Это нас поддержала морская батарея, располо-

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

женная левее «Беллоны». Французы были вынуждены перенаправить орудия, и вскоре на нашем участке артиллерийская дуэль почти прекратилась. «Фрегат» редко постреливал из уцелевших орудий, враг так же вяло отбредивался.

Больше мне наверху делать было нечего. Дым понемногу рассеивался, теперь наводчики могли брать прицел без подсказки. Да и какой из меня корректировщик?

Вот когда стало видно, как крепко досталось нашему «фрегату». Бруствер во многих местах осыпался, несколько пушек были перевернуты, внутри повсюду зияли воронки от бомб.

Однако я не глядел по сторонам. Спускаясь, я смотрел в одну точку — вниз, под вышку.

Там толпились люди. И все без шапок, одни затылки — русые, светлые, темные. А еще слышался какой-то непонятный звук. Не то вой, не то пение. Я даже подумал: не у меня ли это в голове? Она и гудела, и ныла.

Слезалось мне трудно, ноги и руки не слушались, поэтому с середины лесенки я прыгнул. Упал, но ни удара, ни боли не почувствовал.

Поднялся, стал протискиваться через толпу. На меня оборачивались, расступались.

Все стояли вокруг носилок, на которых лежало странно короткое тело, накрытое знакомой шинелью. Рядом сидел Джанко и, мерно раскачиваясь, пел на незнакомом гортанном языке. Голос у индейца был высокий, сильный.

— Джанко! Тебе нельзя! — крикнул я. — Молчи! Из тебя душа выйдет!

А он не услышал. Лицо у Джанко было застывшее, как у покойника. Глаза открытые, но мертвые.

Я заплакал. Мало мне потерять Платона Платоновича!

Индейцы они такие. Пока в них душа жива, их никакой пулей не убьешь. А померла душа — и пули не надо.

ЧЕРНАЯ ТОЧКА

...Облака разошлись, дым рассеялся и вроде бы даже светит солнце. А может и не светит, не знаю.

В других местах бомбардировка продолжается, а у нас почти тихо. На бастионе раз в минуту, а то и реже, рванет бомба или ударит ядро — после давешней молотбы чепуха, никто и головы не повернет. Я во всяком случае не поворачиваю.

Едва поутихла канонада, со стороны города на «Беллону» засеменили, заспешили бабы, матросские жены. Они в платках, волокут узелки со снедью, кринки, а некоторые чистую ветошь — перевязывать раненых. И кое-кто уже голосит, найдя своего в длинном ряду покойников, выложенном на земле у разбитой часовенки.

Всё это время я стоял вялый, снулый, ни о чем не думал. И вдруг дернулся.

Мне вообразилось, что сейчас придет Агриппина Львовна. И обязательно придет! Наверно, уже бежит — как бегут эти бабы в платках.

И что же? Придет она на «Беллону» и увидит, как Платон Платонович лежит здесь вот такой — *короткий*? Этого нельзя! Никак нельзя!

— Унести надо! — кричу я, бросаясь к нашему штурману, который пока остался за командира. — Капитана унести!

Никодим Иванович обнимает меня за плечо

— Да, Гера, ты прав. — Он вытирает слезы, сморкается. — Боевой дух может пострадать... Эх, какой был капитан. Всем капитанам капитан... Голоса только капитанского не имел...

Никодим Иванович спрашивает у моряков:

— Кто понесет носилки?

ФРЕГАТ «БЕЛЛОНА»

Хотят все, но я поспеваю раньше. Никто не отобрал бы у меня этого права.

Мне достается задняя левая ручка.

— Подни-май! — командует штурман.

Поднимаем.

— В ногу шагай!

Сам он идет впереди. В одной руке обнаженная сабля, в другой фуражка.

Встречные останавливаются, тоже снимают шапки. Бабы крестятся.

— Стой! — говорит Никодим Иванович. — Надо флагом накрыть. Капитан ведь!

Он идет назад, а мы четверо стоим, держим. На плечо давит. Тяжело, но недостаточно тяжело — хотелось бы, чтоб потяжелее.

Я оборачиваюсь посмотреть, как там Джанко.

Сидит, как сидел. Раскачивается, поет. Кажется, и не заметил, что капитана унесли.

Я думаю, что теперь у меня будет два больших дела, трудных. Надо и с Агриппиной быть, и моего индейца не покинуть. С нею-то Диана поможет, а с Джанко совсем беда. Вон и орлиное перо у него на макушке обломилось...

Сколько времени прошло с того мига, когда я подумал про обломанное перо? Секунд десять?

Бомба летит медленнее ядра, уж я-то это знаю. Будучи сигнальщиком, я иной раз успевал дочесть до двенадцати или даже пятнадцати, пока она прорисует над полем полукруг и жахнет в землю.

Сам не знаю, отчего этот выстрел показался мне особенным, не похожим на другие. По шее сзади пробежали мурашки, и почти сразу я увидел черную точку. Она поднималась вверх по крутой дуге, быстро густея и жирнея.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Наша — я понял это сразу и уже не мог отвести глаз.
Моя!

Крикнуть бы — да ком в горле.

Кинуться бы в сторону — вон она, траншея, есть где укрыться. Но это что ж, уронить носилки? Чтоб бедное тело моего капитана снова повалилось в грязь?

Я стою не шелохнувшись. Гляжу на черную точку.

Она медленно-медленно ползет вверх, к бледному солнцу, потом так же величаво, преодолев одной ей ведомый перевал, начинает опускаться.

Я читал в одной книжке, что у человека в предсмертную минуту перед взором проносится вся жизнь.

Моя жизнь получилась короткая, мне хватает не минуты, а тех нескольких мгновений, пока летит бомба, чтоб поставить в моем земном существовании точку.

Конечно, я вижу не все шестнадцать лет — только самое главное, самое дорогое.

Я проваливаюсь в пещеру.

Вижу медальон.

Попадаю на «Беллону».

Слышу голос Платона Платоновича, рассказывающий про Джанко.

Коченею от ужаса под турецкими пулями.

Пью чай в гостиной у Агриппины.

Диана тихо играет мне вальс.

Вот это была моя жизнь. И она закончи...

ЧЕРНАЯ

В ДУВАНКОЕ

На последней почтовой станции тракта, который для едущих на войну назывался Севастопольским, а для уезжающих в тыл Симферопольским, было не протолкнуться — впрочем, как во всякий день на протяжении десяти месяцев осады.

В этом, едва открыв двери, сразу убедился молодой человек, вошедший со двора. В большой комнате с низким потолком ели, курили, выпивали или просто разговаривали сорок или пятьдесят мужчин, сплошь офицеры и военные чиновники.

Тонкое лицо вошедшего казалось брезгливой гримасой, крылья небольшого аккуратного носа обозначились резче — помещение пропиталось запахом скверной кухни, табачной копоти, несвежего белья и немых тел.

Коротко остриженные волосы у молодого человека были черными, а кожа, несмотря на июльский зной, очень белой; голубые глаза смотрели так холодно, что невозможно было представить их мечущими молнии или затуманенными слезой. Тщательно выбритое безусое лицо могло бы показаться немного женственным, но лишь издали. Вблизи становился заметен небольшой

косой шрам на щеке; всякий военный узнал бы след сабельного удара.

Остается сказать, что брюнет, единственный из проезжих, был в штатском платье. По запыленным сапогам с отворотами и несмятым полам бежевого летнего редингота наблюдательный глаз сразу определил бы, что этот человек путешествует верхом.

Найдя залу переполненной, вошедший хотел уже удалиться, однако заметил в дальнем углу свободное место. Из-за тесноты подоконники тоже были превращены в импровизированные столики на две персоны, и у одного окна стоял пустой стул. Туда-то, немного поколебавшись, и направился штатский.

Сначала ему пришлось протиснуться мимо шумной компании военных интендантов. По их веселому виду было ясно, что едут они не в Севастополь, а, наоборот, только что оттуда выбрались, причем поездка вышла во всех отношениях удачной. Половой так и порхал над столом, предчувствуя щедрые чаевые.

Чтоб добраться до окна, брюнету пришлось подождать, пока старший из интендантов, подполковник с желтой, кислой физиономией закончит разговор с денщиком, перегородившим узкий проход.

— Да гляди, черт безрукий, чтоб в каше ни одного комка не было, — говорил подполковник. — Не то сам знаешь. Никому крупу не доверяй, от кастрюльки не отходи.

— Не устаю удивляться на вашу диету, Самсон Ларионыч. — Один из интендантов, очевидно, занимавший вакансию записного шутника, подмигнул остальным. — Нормальной еды вам нельзя, а водочку — пожалуйста.

Все засмеялись, а подполковник объяснил, что у него кроме больного желудка еще и больные нервы, водка их успокаивает.

Наконец денщик ушел с кастрюлькой, и брюнет смог пройти к свободному стулу. У подоконника над полупустым графинчиком сидел в одиночестве ополченческий штабс-капитан.

— Садитесь, садитесь. Свободно. — Оглядел цивильную одежду. — Вы, верно, лекарь из вольнонаемных? — Заметил шрам, получше присмотрелся к лицу. — Нет, не похожи...

Молодой человек не ответил. Он велел половому принести чаю и хлеба с маслом, а более ничего, потом вынул из кармана карту Таврической губернии, развернул и повел пальцем по мелким надписям.

— Мы в Дуванкое, — подсказал штабс-капитан. — Вот, перед самым Севастополем. Вы ведь в Севастополь?

Ему, кажется, хотелось поговорить. Он был не первой молодости — лет тридцати пяти, с вислыми усами, с начинающимися залысинами. Судя по красным пятнам на щеках, графинчик никак не мог быть первым и навряд ли вторым. Впрочем, по речи и манерам было видно, что человек с воспитанием и не без образования — как большинство офицеров ополченческих дружин.

— Так вы в Севастополь? — повторил он, и не ответить стало решительно невозможно.

С неудовольствием поглядев на полупьяного, брюнет коротко сказал:

— Не совсем.

Но офицеру и этого оказалось достаточно.

— С кем имею честь? — оживился он. — Я — ротный командир Курской дружины, а имя мое...

Однако молодой человек был не из тех, кому легко навязаться в собеседники.

— Давайте обойдемся без интродукций, — прервал он офицера, говоря по-русски чисто, но немножко странно. — Я намерен теперь выпить чай, сразу после чего

продолжу делать свой путь. Мы с вами никогда больше не увидимся, так что не имеет смысла тратить время на пустые разговоры. Я за восемь дней пути уже успел сверх меры наслушаться бесед на все теоретически возможные дорожные темы.

Однако и ополченца смутить было непросто.

— За восемь дней? Из недалеких мест, стало быть, едете?

— Из Санкт-Петербурга.

Штабс-капитан был поражен.

— Ну и скорости! Наша дружина марширует из Курска четвертый месяц. Обоз в грязи вязнет. Да и кто без обоза, а сам по себе едет, на станциях по неделе лошадей ждут.

— Меня предупредили о подобных трудностях. Поэтому я путешествую без экипажа, на собственных лошадях. Однако прошу меня извинить...

Брюнету, который не пожелал назваться, принесли чай и тарелку, на которой лежали хлеб и масло. Он с подозрением понюхал стакан, оставил и велел половому чай забрать, а лучше принести воды из колодца.

— Не знакомиться — идея хорошая, — задумчиво молвил ополченец. — Нерусская какая-то, но хорошая. Вы, должно быть, немец?

Это предположение, кажется, неприятно удивило штатского.

— Почему вы взяли? Я русский.

— Говорите как немец. Но это неважно. Мне идея понравилась. Не угодно ли водки? Как хотите. А я выпью. — Штабс-капитан опрокинул рюмку. — Так я про вашу идею... Ежели разговаривать, сохраняя инкогнито, совсем другая беседа может получиться. Без распускания перьев, без зряшного хвастовства. Выплеснул незнакомому человеку, что у тебя на душе, и прости-прощай навсегда.

— За какой надобностью непременно выплескивать душу? Пускай лучше душа остается нерасплесканной.

Офицер подметил верно: брюнет говорил именно что как немец. Ироническая интонация тоже была какая-то не вполне русская.

— Вам может и незачем. А я нынче письмо получил. Оно мне грудь жжет. — Штабс-капитан достал из-за отворота сюртука сложенный листок. — Некому рассказать. Товарищам нельзя. — Он кивнул на противоположный конец залы, где за столом сидели офицеры в таких же мундирах и где ему, видимо, не хватило места. — Мне с ними жить вместе. Но инкогнито — дело иное... Вот вы, сударь, женаты?

Штатский поглядел на штабс-капитана с тоской, во взгляде читалось: вижу, что мне от тебя не отвязаться.

— Нет.

— А любили когда-нибудь? Ужасно, на всю жизнь, до зубовного скрежета?

— Я до зубовного скрежета ничего не делаю. Однако вы, сколько я догадываюсь, именно что полюбили кого-то ужасно, до скрежета, и непременно желаете об этом мне рассказать.

Будто не заметив (а может, и вправду не заметив) холодности, даже насмешки, прозвучавшей в этой реплике, ополченец кивнул. Он всё смотрел на листок.

— Никогда и ни с кем про это не говорил, а сейчас чувствую: если не выговорюсь, оно — ну всё это — меня изнутри сожжет.

Молодой человек тихо вздохнул, примиряясь с неизбежным. Ему как раз принесли воды. Он тщательно протер край оловянной кружки свежайшим платком, посыпал дезинфицирующего порошка, осторожно отпил. Стал намазывать хлеб маслом.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

— Зачем сожжет? Этого не нужно. — Откусил ровными зубами. — Хорошо. Говорите, кого это вы так мучительно любите.

— Жену. Я же сказал: письмо от нее пришло.

— Если вы любите женщину, которая стала вашей женой и пишет вам письма, я не понимаю, зачем скрежетать.

— А вы прочтите. Сделайте милость, прочтите.

С явной неохотой брюнет взял бумагу.

Письмо было на французском, короткое.

«Здравствуйте, дорогой Грегуар.

Вы, вероятно, сердитесь, что я только теперь Вам пишу, и я в самом деле виновата, но лишь отчасти. Во-первых, долго не случилось okazji, а пользоваться казенной почтой Вы сами мне заказали, поскольку она медленна и ненадежна. Во-вторых и, собственно, в главных, вскоре после Вашего отъезда дети заболели скарлатиной: сначала Надин, потом и Николенька. Не тревожьтесь, всё уже позади. Благодарение Всевышнему, дети сейчас вне всякой опасности и почти здоровы, но две или три недели я пребывала в поминутной тревоге за их жизнь. Оба Вам кланяются и шлют поцелуи. Доктор велел обрить их наголо, но они уже обросли и сделались похожи на два репейника. А других новостей, слава Богу, никаких нет. Я здорова.

Да хранит Вас Провидение в сражениях. Берегите себя ради детей, которые поминают Вас всякий день.

Ваша Дарья».

Пожав плечами, штатский вернул листок.

— Обыкновенное письмо жены мужу. Разве что короткое, но это скорее говорит в пользу вашей супруги. Видно, что она женщина умная, с характером и без лишних сантиментов.

— Вы глухой? Или прикидываетесь? — вскрикнул шепотом (вот именно: вскрикнул, но шепотом) ополченец. — Здесь каждое слово шипит: «Я — тебя — не — люблю!». Она и по-французски-то написала, потому что по-русски пришлось бы на «ты», а это очень уж интимно. Ежели б вы знали, какая мука: страстно полюбить, долго и безнадежно добиваться руки, получить нежданное согласие, ощутить себя счастливейшим из смертных — и почувствовать, что обнимаешь пустоту. Лучше уж остаться голодным, чем накинуться на чудесное яство и ощутить на устах хруст песка! Вы послушайте, сударь, я поведаю вам свою историю...

И он начал рассказывать что-то путаное и долгое: про службу на Кавказе, про генеральскую дочку и каких-то абреков, однако по неподвижному взгляду брюнета, устремленному в окно, было ясно, что тот не слушает, а думает о своем, продолжая поглощать скучный обед. Последние два куса хлеба молодой человек смазал маслом, сложил вместе и завернул в салфетку.

Штабс-капитан, не отрывавшийся взглядом от опустевшего графина, всё говорил и говорил:

— ...И тогда я решил: пойду добровольцем, хотя я уже десять лет в отставке. Коли так, думаю, Дарья Александровна, поживите без меня и прикиньте, каково оно вам будет, если я вовсе с войны не вернусь. Может быть, думал, поймет она, что напрасно столь мало ценила мою преданность, мою готовность потакать любому ее капризу... И вот извольте: первое письмо за три месяца. Много в нем любви или опасения за мою участь? «Prenez bien soin de vous pour vos enfants!» Ради детей, не ради нее! Каково? Убьют — даже не заплачет... Э-э, да вы меня не слушаете! — оборвал сам себя ополченец, когда собеседник слишком явно стал демонстрировать свое невнимание — отвернулся.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Штатский, не отвечая, смотрел на соседний стол и всё сильнее хмурился. У интендантов сделалось очень уж шумно.

С минуту назад денщик принес подполковнику манную кашу, щедро посыпанную изюмом и окутанную паром. Желтолицый офицер подул, сунул ложку в рот.

Капитан, ни на минуту не умолкавший и беспрестанно балагуривший, заорал:

— Аттансьон, Самсон Ларионыч! Муху слопать изволили!

И действительно, оказалось, что начальник перекусил пополам черную жирную муху. С ужасом и отвращением уставился он на умерщвленное насекомое. Грянул хохот.

Он еще больше усилился, когда шутник крикнул:

— У вас же диета, вам мяса нельзя!

Подполковнику это смешным не показалось. Вскочив, он схватил миску и вмазал ею денщика по лицу. Тот взвыл — каша была горячей, — но закрыться не посмел. Стоял, вытянув руки по швам. По щекам и подбородку сползала беловатая, дымящаяся масса.

Желтолицый размахнулся, но не ударил.

— Утри рожу! Не хочу кулак пачкать!

Интенданты залились еще пуще. Их веселил и гнев начальника, и перемазанная физиономия солдата. Подполковнику, должно быть, воображалось, что потешаются над ним. Когда денщик провел по лицу рукавом, подполковник ударил его в зубы, потом еще и еще. По разбитым губам потекла кровь. Солдат покачивался, но продолжал стоять «смирно».

Теперь в эту сторону смотрели все — кто-то был рад аттракциону, а кто-то негодуя сдвинул брови. Но ни один человек не пытался остановить избиение. Вмешиваться во взаимоотношения офицера с собственным денщиком не смел никто, даже полковой или бригадный командир.

Молодой человек, будучи штатским, этого правила, вероятно, не знал. Он зачем-то поднял глаза к потолку, хотя там ничего интересного не было. Посидел так с секунду. Потом встал со стула и громко сказал:

— Эй вы... антропоид! А ну прекратите!

Подполковник опустил кулак. Лицо из желтого сделалось бурым и ошеломленно вытянулось. Слова, которым назвал его незнакомец, подполковник не знал, но по тону догадался, что оно оскорбительно. Главное же: как посмел шпак в галстухе приказывать что-то офицеру?!

— Господа, что это за штафирка? — Подполковник в растерянности оглянулся на товарищей, снова воззрился на наглеца. — Кто это такой?!

Если ополченцу молодой человек называть себя не стал, то теперь сделал это охотно:

— Я барон Бланк. Извольте сделать интродукцию и вы.

— Барон... Перец-колбаса... — задыхаясь от ярости и всё более распаляясь, прорычал интендант. — Хоть эрцгерцог! Я его научу, как разговаривать с русским офицером!

Это было сказано не брюнету и даже не своей компании, а всей зале.

— Именно этого я и жду.

Штатский сделал два шага вперед и оказался прямо перед подполковником.

— Дайте ему в морду, Самсон Ларионыч, — посоветовал капитан. — Не стреляться же — под суд попадете.

— Можно и в морду. — Барон Бланк улыбнулся одними губами, посмотрев в глаза советчику. — Быть может, вы желаете помочь начальнику, а то он, кажется, перетрусил? Право, не стесняйтесь.

Капитан открыл было рот, но тут в глаза ему бросился белый шрам на лице барона, и офицер заинтересовался узором на клеенке.

Зато подполковнику отступить было некуда — он чувствовал обращенные со всех сторон взгляды.

Цвет лица у него снова переменился — из бурого в серый. Однако в следующее мгновение глаза интенданта сверкнули.

— Сейчас мы поглядим, кто здесь перетрусит. Эй, Тихон! А что майор Поливанов, у себя ли?

— У себя-с. Где же им быть? — ответил бородатый буфетчик, с тревогой наблюдавший за ссорой. Дуванкойская станция повидала всякое. Нервы у господ военных от ратных потрясений так истоньшились, что стекла в окнах приходилось менять чуть не каждую неделю. Особенно нехорошо получалось, если вдруг офицеры только что с бастиона по случайности встретят симферопольских чиновников, ведающих поставками. Тогда, бывало, и столы со стульями в щепки разлетались.

— Последите-ка, господа, чтоб сей субчик не сбежал. — Подполковник недобро усмехнулся и попятился от улыбчивого барона спиной. — Я через минуту вернусь...

Отдалившись на безопасное в смысле пощечины или другой подобной неприятности расстояние, он развернулся и проворно скрылся в направлении лестницы, что вела на второй этаж.

Брюнет сделал пренебрежительную гримасу, вернулся к подоконнику и закончил заворачивать свой сандвич. Буфетчик уже нес счет, чтоб поскорей спровадить скандалиста.

— Поступок этого господина действительно гнусен, — сказал штабс-капитан, глядя на молодого человека, который к тому же оказался бароном, с уважением. — Я со своей стороны готов свидетельствовать, что подполковник устроил безобразную сцену, доставив неудобство всем проезжающим и в особенности нам, своим соседям...

— Не надо свидетельствовать. Прощайте. Желаю вам благополучно вернуться к жене и доставить себе душевный покой.

Не пожав ополченцу руки (то есть опять-таки поступив решительно не по-русски), Бланк положил на подоконник деньги и направился к выходу. Никто из интендантов, невзирая на просьбу начальника, удержать «субчика» не пытался.

Однако до двери брюнет дойти не успел.

— Убегает! Что ж вы, господа? — слышалось от лестницы.

Это возвращался подполковник. За ним, на ходу застегивая ворот, шел жандармский офицер с заспанным лицом. Он погрозил штатскому пальцем:

— Не спешите, сударь. Пожалуйте сюда.

Барон к нему не «пожаловал», но остановиться остановился.

— Фамилия моя Поливанов, — назвался заспанный, приблизившись. — Я жандармский штаб-офицер, ответственный за безопасность дистанции меж Северной стороной Севастополя и Бахчисараем. Кто вы такой и по какой надобности следуете военным трактом? В любом случае обвинение в оскорблении мундира понуждает меня задержать вас.

К разочарованию зрителей, штатский не возмутился и не испугался, а повел себя скучно.

— Вам нужно показать документ, удостоверяющий мою личность? Пойдемте, покажу.

Жандарм подмигнул подполковнику, из чего стало понятно, что они хорошо знакомы, и вышел за молодым человеком.

— Подозрительный тип, — громко молвил интендант, как бы обращаясь к своим, но в то же время громко, чтоб слышали все. — Ничего, господа, Антон Романович его живо разъяснит.

Шум и разговоры возобновились. Дивертисмент, как казалось, окончился.

Однако минуты через две последовал неожиданный финал — правда, оставшийся неизвестным для зрителей.

В дверной щели появилась физиономия жандарма — уже не сонная, а багровая и сердитая. Он поманил подполковника пальцем.

— Эх, Самсон Ларионович, — горько сказал майор за дверь. — Как только не совестно приятного к вам человека под монастырь подводить! Погибели вы моей хотите!

Интендант пролепетал:

— Виноват, не понимаю...

— А нечего понимать. В людях надо разбираться! — Жандарм вытирал платком испарину. — Я тоже хорош. Нет бы в глаза ему сначала посмотреть. По глазам всегда видно... Вот что я вам скажу, голубчик Самсон Ларионович. Коли хотите доброго совета, догоните этого господина, пока он еще не уехал, да попросите прощения.

— Прощения? Я у него?! Ни за что на свете!

Майор вздохнул.

— Как угодно. А я уже извинился.

— Но почему?! — всё не мог опомниться интендант. — Кто это такой?

— Ничего более сказать вам не могу. А только поспешите.

И жандармский штаб-офицер ушел, оставив приятеля в полном ошеломлении.

Колебания, впрочем, продолжались недолго. Зная Антона Романовича за человека серьезного и слов на ветер не пускающего, подполковник поторопился выйти во двор — и вовремя. Барон уже сидел на чистокровной вороной кобыле, а конюх крепил к луке повод другой кобылы, рыжей, навьюченной чемоданами.

— Я, кажется, повел себя глупо, — сказал интендант, подойдя. Желтое лицо кисло и жалко улыбалось. — Виной тому больной желудок и раздерганные нервы. Прошу не держать обиды...

Барон поглядел на него с нескрываемой брезгливостью и не удостоил ответом.

— Так где, вы говорите, следует свернуть, чтобы ехать до хутора Сарандинаки? — спросил он у конюха.

ЗАЩИТНИК ЧЕЛОВЕКОВ

Два трудно совместимых чувства — жгучая ненависть и острая жалость — в протяжении всех этих дней не оставляли Лекса. Только усиливались.

Ненависть к тупому, жестокому, гнусно устроенному, рабскому государству. И жалость к безответной, нелепой и неожиданно родной, до мурашек родной стране.

Она напоминала ему огромного и добродушного недоумка, служившего в их московской усадьбе дворником. Уличные мальчишки дразнили его, швыряли камнями, а дедина, который легко мог бы раздавить двумя пальцами любого из своих мучителей, лишь бессмысленно хлопал ресницами и жалко улыбался или плаксиво морщился.

Лекса увезли из России шестилетним, из поры раннего детства мало что запомнилось, но этого беспомощного и беззащитного богатыря он почему-то не забыл.

Отчего страна, с которой у него, европейского человека, не могло быть совершенно ничего общего, кажется ему мучительно родной, Лекс себе объяснил. По мнению ученых, 90 процентов сведений о жизни и окружающем мире человек набирает как раз в первые шесть лет своего существования. Поэтому многое из того, что Лекс здесь видел, пробуждало саднящую боль узнавания.

Оказывается, небо и облака, траву и деревья, дорожную пыль и утреннюю росу он впервые увидел именно здесь, так что небо для него — это русское небо, и трава тоже русская, и все самые главные вещи на свете.

Тогда, выходит, он сам тоже русский?

Эта мысль его злила. Трава, роса — чушь. Память тела, атавизм сознания и ни черта не значит. Никакой он не русский. Он анти-русский, контр-русский.

Вот отец, Денис Корнеевич, — безусловный русак, несмотря на весь свой космополитизм. Неорганизованный, сентиментальный, подверженный беспричинной хандре и ни на чем не основанной восторженности, не способный к целенаправленному усилию. Милый, славный, любимый — но никчемный.

Бланк-старший был исконный либерал, участник прекраснородушного университетского кружка, где кроткие витии робких тридцатых вполголоса, осторожно мечтали о просвещении народном и отмене крепостничества «по манию царя». Однако по тем временам и этого вольнодумства оказалось много. Власть предрержающая строго спросила с кандидатов и студентов за безответственные словеса. Кто-то поехал вдаль, в восточном направлении, а кому-то пришлось и посидеть в крепости. Дениса Корнеевича, благодушнейшего из университетских фрондеров, административные меры не коснулись — выручили связи отца, генерала Бланка, памятного государю еще по заграничному походу. После нескольких допросов Денис Корнеевич был отпущен на все четыре стороны, и в одну из них, а именно западную, немедленно удалился, испуганный и оскорбленный. Он поклялся, что ни ногой более не ступит на российскую почву, где может твориться подобный произвол, а для проживания избрал Британию, самую цивилизованную из стран нашей дикой и грубой планеты.

Политическим эмигрантом барон не считался, во врагах отечества не числился, потому что отстранился от всякой общественной деятельности: во-первых, не желал доставлять неприятностей оставшимся в России родственникам, а во-вторых, убедил себя, что при жизни его поколения никаких благотворных перемен на родине свершиться не может, ибо народ слишком неразвит, а общество еще не вышло из пеленок сословного эгоизма. «Вот лет через пятьдесят или сто, — говорил Денис Бланк, и его голубые глаза вспыхивали восторгом, — всё свершится само собою, ибо русский человек созреет».

В юности Лекс отца презирал и называл «эволюционером», а когда умерла мать и Денис Корнеевич сделался похож на осиротевшее дитя, стал жалеть.

Если Бланк-младший вырос таким, каким вырос, то лишь потому, что еще ребенком сказал себе: *я не хочу быть похожим на него*.

С детства он ввел себе в правило и привычку при наличии выбора всегда отдавать предпочтение трудному, а не легкому, твердому, а не мягкому, напряжению, а не расслабленности. Не из страсти к самомучительству, но потому что неоднократно убеждался: правильный путь не бывает под горку, по накатанной колее.

И еще нужно было научиться преодолевать страх. Это давалось Лексу тяжело — от природы он обладал живой фантазией. Перед тем как нырнуть с утеса в море, обязательно представлял, как напарывается на затаившийся под водой ржавый якорь, а перед скачкой с препятствиями предчувствовал, что сейчас непременно сломает себе позвоночник. И все-таки прыгал в волну, а в скаковой конюшне обязательно выбирал лошадь поноровистей.

Храбрость, если только она происходит не от тусклости воображения, всегда является победой воли над слабостью, разума над эмоцией.

Мир держится на инстинктах, но человек тем и отличается от животного, что руководствуется в своих поступках не ими, а рассудком. Всякая коллизия и всякий выбор, если начнешь разбираться, сводятся к конфликту между рацией и эмоцией. Для Лекса альтернативы не существовало. Он поступал так, как должно, а не так, как хочется. И давал привилегию чувству только в том случае, если оно не вредило логике.

Взять хоть мелкий эпизод на почтовой станции в Дуванкое.

Конечно, он сделал потачку своему раздражению — это несомненно. Сначала разозлился на полупьяного болтуна, выворачивающего все потроха перед первым встречным. Как это по-русски! Ни сдержанности, ни дисциплины, ни деликатности, ни чувства собственного достоинства. Вывалить на совершенно чужого человека свои беды, рассказать интимные секреты, разодрать на груди рубаху, да еще обижаться, что тебя не желают слушать!

А последовавшая за тем омерзительная сцена между интендантом и его денщиком окончательно вывела Лекса из себя. Он будто увидел перед собою всё, что так люто ненавидел в России: подлую безнаказанность верхов, рабскую покорность низов и полное равнодушие общества.

Однако вмешался не сразу. Сначала, как обычно в подобных случаях, отвел взгляд и спросил себя: не выйдет ли какого-нибудь ущерба для Цели, если сделать себе маленький подарок. Решил, что ничего, можно. И только после этого отвел душу.

Бланк не мог понять, как можно жить на свете, если не ставишь перед собой какой-нибудь высокой и труднореализуемой задачи. К чему тогда жить? И людей внутренне он делил по этому принципу: на тех, у кого есть

Цель, и тех, кто ее даже не ищет. Большинство, конечно, ведут животное существование, смотрят только себе под ноги и ничем не интересуются, кроме собственной утробы. Современные государства, в особенности деспотические, вроде России, еще и нарочно пригибают человека лицом к земле, чтобы не смотрел вперед и вверх.

Но если ты родился свободным, умным и здоровым, если ощущаешь в себе большую силу, у тебя нет права быть мелким. Вот так и старался жить Александр Бланк.

Дожить до старости с подобной установкой шансов было немного, особенно когда на каждом перекрестке нарочно выбираешь дорогу поопасней, но иногда, в мечтательную минуту, Лекс фантазировал, что досуществует до двадцатого века и увидит Землю преобразившейся — в том числе его усилиями.

На европейском континенте тираний не останется, они не выдержат испытания социальным и техническим прогрессом. Справедливее всего общество, вероятно, будет устроено всё в той же Англии, где правящий класс уже сейчас начал понимать, что революции можно избежать, только если обеспечиваешь рабочим пристойную жизнь, превращаешь их из пролетариев в людей, которым есть что терять кроме собственных цепей. Будущее Франции пока под вопросом, но монархия вряд ли долго продержится в этой проникнутой республиканским духом стране. Вот немцы — иное дело. С их гипертрофированной любовью к порядку и социальной иерархии, с прусской страстью не думать собственной головой, а слушаться начальства, они дружно маршируют к всегерманской казарме, но казарма эта будет аккуратной и благоустроенной, с белыми занавесочками на окнах. Нет, победа революции в Германии невозможна — проверено на собственном опыте, о чем напоминает сырыми вечерами раненый локоть.

Иное дело — Россия.

Там пенится под обманчиво прочной корой огненная магма. Нужно только прочистить забитое хламом и мусором жерло, и вулкан проснется, пламя выплеснется, оно очистит небо и землю. Честь и хвала всякому, кто ускорит это благословенное извержение.

Герцен безусловно прав, когда говорит, что именно Россия и славянский мир призваны осуществить на практике социалистический идеал. В русском народе есть вековая привычка к общинности, к работе всем миром, есть и глубоко укорененная ненависть к угнетателям. Правящий класс слаб и малочислен, не превышает двух процентов населения, к тому же неумен, мелочно жаден и слепо послушен своему феодальному монарху.

Но Герцен и прочие либеральные идеалисты из числа эмигрантов не имеют смелости дойти до логического вывода. Понимая, что лишь посрамление самодержавия может дать толчок реформам и общественному движению, герценисты желают царизму поражения в этой войне, однако вслух этого не говорят и сами в борьбе не участвуют, скованные сантиментами и предрассудками. В 1855 году Европа сделает то, что, к сожалению, не получилось у Наполеона. Крах полицейского государства станет победой истинной России.

Если веришь в правоту идеи, нужно за нее сражаться. Этот тезис Лекс считал неоспоримым. Вот почему с началом войны он вернулся с континента в Англию и поступил в армию, купив офицерский патент. Чин пехотного энсайна, то есть прапорщика, обошелся в 450 фунтов — как раз такую сумму Бланк скопил за год работы в мостостроительной фирме «Баумайстер унд Шлимм».

Выбирая профессию, Лекс руководствовался не своими вкусами, а целесообразностью. Высокая цель — превосходно, но это не профессия. Серьезный человек

должен владеть настоящим ремеслом, которое поможет в достижении Цели и будет полезным в будущей России. Поколебавшись между медициной, военным делом и юриспруденцией, он сначала выбрал право, потому что новое общество должно зиждиться на справедливых, тщательно просчитанных законах. И потом, не случайно же домашние с детства зовут тебя Лех, имея в виду незыблемую привычку к правилам и правильности?

Уезжая с родины, отец освободил своих крепостных, а за одну землю, без «душ», денег выручил немного, поэтому в Англии семья жила скромно, но на образование для сына Денис Корнеевич не поскупился. Лекса приняли в Итон (чему поспособствовал презренный баронский титул), а оттуда была прямая дорога и в Кембридж.

Государственное право юноша, однако, изучал недолго. На континенте настали интересные времена — началась революция, постепенно охватившая всю Европу. Когда в Париже разобрали баррикады, Лекс переместился в Германию. Участвовал в баденском восстании, был ранен, бежал в Саксонию. Если б не трудно заживавший локоть, непременно помог бы венграм, которые изнемогали в неравной борьбе с «жандармом Европы» царем Николаем.

Но вот буря стихла, освежающий ветер сник. Европа снова погрузилась в спячку.

В Кембридж недоучившийся юрист не вернулся — решил, что законы общественного устройства изучил уже достаточно, а имя его всё же не Лекс, но Александр, Защитник Человеков, и есть занятие еще более достойное в смысле пользы для человечества.

В Дрездене находилась Королевская техническая школа, где готовили лучших в мире инженеров-строителей. Туда Лекс и поступил, ведь в новой России придется много строить и перестраивать. И вообще, что мо-

жет быть лучше профессии, синонимом которой является «созидание»?

Диплом неожиданно пригодился в Крыму, когда началась осада Севастополя и обнаружилась острая нехватка в саперах. Энсайн Бланк был переведен из пехоты в военные инженеры, оценен по достоинству и удостоен бревета (то есть временного чина) лейтенанта.

Девять долгих месяцев, вплоть до неудачного июньского штурма, Лекс строил редуты, вел апроши и контрпроши, рассчитывал контур ложементов и осваивал науку подземной минной войны. В союзной армии никто не ожидал, что взятие неукрепленного с суши города окажется такой невозможно трудной задачей. Осыпаемый сотнями тысяч снарядов противник нес огромные потери, но и не помышлял о капитуляции. Разрушенные бастионы, будто по волшебству, за ночь воскресали; вместо разбитых ядрами орудий откуда-то брались новые; людские ресурсы неприятеля казались неиссякаемыми.

Отправляясь на войну, Лекс боялся, что будет трудно воевать против людей, говорящих на родном языке. Александр Иванович Герцен предсказывал, что этой муки борец с тиранией не выдержит — либо сойдет с ума, либо покинет армию. Но никакого внутреннего конфликта Бланк не ощутил. Русские всё время были далеко, на противоположном конце поля. Совсем нетрудно воевать с соотечественниками, когда они — лишь дымная линия, сверкающая огнями выстрелов. Если же осажденные контратаковали, серая масса солдатских шинелей была похожа на нашествие полевых мышей. Так Бланк к царскому «пушечному мясу» и относился: безмозглое серое стадо, не способное понять, где его истинный враг. И всё же отрадно, что инженеру не приходится стрелять и рубить. Это, пожалуй, было бы трудно.

Назавтра после генерального штурма, на который возлагалось столько надежд и который закончился сокрушительной неудачей, к Лексу явился неожиданный гость.

Во время лихорадочной подготовки к сражению ни умыться, ни толком поесть, ни поспать возможности не было — хорошо, если прикорнешь в чужом блиндаже на полчаса. Поэтому, когда побоище закончилось, Бланк уехал с передовой в Балаклаву, где снимал комнату в сборном дощатом домике, смыл с себя грязь и порох, да завалился в койку. Но поспать довелось недолго.

— Ты изменился, — сказал посетитель. — Впрочем, именно в том направлении, в каком я предполагал. Нет-нет, я не хвастаю проницательностью. Просто я следил за твоей... эволюцией.

Лансфорд тоже изменился, но улыбка осталась такой же — сдержанной, чуть насмешливой. Они не виделись лет семь, а ведь когда-то были дружны. Насколько могут дружить такие люди.

Познакомились они еще в Итоне. В самый первый день, когда тринадцатилетнему Лексу, новичку и к тому же иностранцу, пришлось в одиночку отстаивать свое достоинство перед всем дортуаром, Лансфорд (он был двумя годами старше) взял мальчика под свою защиту и сделал это, как всё, что он делал, легко и весело, безо всякой аффектации. Лорд Альфред был сыном маркиза, мог выбрать любую карьеру или вовсе никакой не выбирать. От этого к жизни он относился, как к занятию, но не очень серьезному приключению. В этом смысле они с Лексом, пожалуй, были антиподами. Однако следовало признать, что небрежно-скучающий *modus vivendi* не мешал Лансфорду достигать отменных результатов во всех его начинаниях. Не прикладывая видимых усилий, он шел

на курсе первым учеником; точно так же, нисколько не надрываясь, стал первым наездником в университетском клубе верховой езды; потом, следуя семейной традиции, поступил в гвардию — и, как говорили Лексу, накануне войны, в неполные тридцать, был уже подполковником.

На балаклавскую квартиру к бывшему однокашнику Лансфорд, однако, явился не в мундире, а в сюртуке и цилиндре.

В ходе разговора выяснилось, что лорд Альфред находится в Крыму уже больше полугода, и Бланк понял, что визит неслучаен. Если бы Лансфорд желал просто навестить старого знакомого, сделал бы это раньше. Сентиментальности в лорде Альфреде не было и в помине, и всякий его поступок, даже по видимости праздный, непременно преследовал какую-нибудь цель.

На исходе второй бутылки кларета (оба итонца умели пить не пьянея) Лекс сказал:

— Ну, ты меня уже прощупал. Довольно. Не пора ли перейти к делу?

— Узнаю старину Бланка.

Лансфорд засмеялся. И тут же, не меняя тона, заговорил про серьезное — о неудаче штурма.

Потеря семи тысяч человек, а еще более того психологическое поражение, демонстрация бессилия союзной армии после девяти месяцев осады, после всех людских и материальных затрат, ставят под угрозу исход войны. Вина в неудаче французы. Они торопили с наступлением, им хотелось взять Севастополь в сороковую годовщину Ватерлоо. Чертов император Наполеон с его страстью к дешевым эффектам. Хотел затмить громкой победой давнее поражение, а в результате не завершили бомбардировки и провалили дело. Второй неудачный штурм непозволителен. Это приведет к полному политическому краху. Пруссия выступит на стороне России, Австрия даст зад-

ний ход, а в Англии и Франции поднимет голову партия мира. Общество устало от войны, которая сулилась быть короткой, но превратилась в тяжкое испытание. Да, потери русских втрое или вчетверо больше, но для страны, где нет общественного мнения, а газеты подцензурны, обильное кровопускание не чревато тотальным возмущением. В Европе же каждое похоронное извещение — а их пришло уже больше ста тысяч — вызывает бурю. Да еще журналисты подбрасывают дров в огонь.

— Дела у нас паршивые, а задача, которая перед нами стоит, выглядит невозможной. — Губы Лансфорда улыбались, но глаза смотрели испытующе. — Я бы сформулировал ее так: Севастополь должен быть взят быстро и без больших потерь. Любой другой исход равнозначен поражению. Рассказать тебе, что будет означать поражение нашей армии для Европы и всего мира?

— Не нужно. И перестань, пожалуйста, меня просвещать. Всё это я знаю без тебя. Говори, что тебе нужно?

Лорд Альфред глядел на собеседника, посмеиваясь.

— Ты не британец и не русский. Ты человек нового типа. Паровая машина. Гонишь вперед по рельсам, и с пути тебя ничем не собьешь. Ах, как ты мне нравишься!

Лекс выжидательно молчал.

— Мне нужна твоя помощь, старина. Я долго искал правильного человека, пока не сообразил, что лучше тебя никто с этой проблемой не справится. Ты нам подходишь идеально, по всем параметрам.

— «Нам»? Чем ты, собственно, в Крыму занимаешься?

— Я возглавляю секретную службу при ставке главнокомандующего. И давно ищу толкового, инициативного человека, которого можно отправить на ту сторону с особым заданием.

В этом был весь Лансфорд: когда доходило до дела, он не топтался вокруг да около, а сразу брал быка за рога.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Большинство людей, будучи чем-то ошеломлены, издают восклицание или меняются в лице. Лекс в подобных ситуациях просто умолкал.

Но пауза и сама по себе получилась красноречивой. Не дождавшись никакой реакции на свои слова, лорд Альфред понимающе усмехнулся.

— Ты, разумеется, фраппирован. Джентльмен не может заниматься шпионажем. Особенно, когда требуется втираться в доверие к врагу и прикидываться тем, кем ты не являешься. Пристойные люди подобной грязью не занимаются.

Бланк по-прежнему молчал, ждал продолжения.

— У меня есть для тебя хорошая новость, — с комичной торжественностью объявил Лансфорд. — Да будет тебе известно, что отныне быть шпионом не стыдно и даже модно. За это мы все должны быть благодарны некоему капитану Бертону, с которым я познакомился в Константинополе. Ты слышал про капитана Бертон? Нет? Так я тебе расскажу. В позапрошлом году, облачившись мусульманином и даже — вот уж воистину герой — подвергнувшись обрезанию, он совершил хадж в Мекку. Потом Бертон совершил вылазку еще более рискованную: проник в абиссинский заповедный город Харар, куда чужакам вход воспрещен под страхом смерти. Помимо смелости и страсти к авантюрам капитан обладает еще и острым пером. Его книга произвела в обществе фурор. На всех раутах Бертон стал желанным гостем. Сейчас капитан создает бригаду башибузуков для военных действий против русских, но гораздо полезнее для нас та работа по реабилитации и пропаганде шпионского ремесла, которую он проделал. Отныне британец может заниматься разведкой в тылу врага, совершенно не опасаясь вызвать осуждение приличной публики. Это сулит мне в самом скором будущем приток новых, высококачественных кадров. Так

что не беспокойся, твоя репутация не пострадает. Еще мемуары напишешь и будешь блистать в светских салонах.

— Мне плевать на салоны, ты отлично это знаешь.

— Знаю. Ты байроническая личность и ниспровергатель основ, — сказал Лансфорд, но не издеваясь, а подтрунивая. Умные глаза прищурились. — Значит, мешает то, что ты русский? Смотреть соотечественникам прямо в лицо будет потрудней, чем разглядывать их с дистанции в тысячу ярдов?

Лекса эта пронизательность только разозлила.

— Я не боюсь трудностей, и это ты тоже знаешь. Объясни, чего конкретно ты от меня хочешь. Если я увижу, что дело действительно важное, я соглашусь.

— О, чрезвычайно важное! Для того чтобы наш следующий штурм не провалился, понадобятся самые точные сведения и грамотные рекомендации касательно самого уязвимого места русской обороны. Дать подобный совет способен лишь человек с инженерным опытом. И ситуацию он должен знать изнутри, чтобы обнаружить скрытые дефекты и неочевидные изъяны. — Голос Лансфорда обрел мечтательность. — Конечно, абсолютная мечта — выманить русских из укреплений в открытое поле. Обескровленные в большой битве, они не смогли бы удержать город. Нам известно, что молодой император прислал в Севастополь генерала Вревского, который является эитузиастическим сторонником генерального сражения. Но главнокомандующий Горчаков слишком хорошо понимает опасность этой затеи. Однако князь — храбрец только под пулями, а перед начальством отчаянный трус. Хватит ли у него твердости противостоять петербургскому эмиссару?

Лорд Альфред вздохнул.

— Впрочем, это не более, чем рассуждения вслух. Чтоб ты лучше представлял себе общее состояние дел.

Я, разумеется, не надеюсь на то, что ты сможешь хоть как-то повлиять на решение русского командования. У тебя не будет доступа к Горчакову. Но вот место по инженерной части получить ты можешь. У русских, как и у нас, большая потребность в специалистах этого профиля. Ты должен найти слабое место в русской обороне. А если такового не сыщется, быть может, ты сумеешь создать его искусственным образом.

— По-моему, ты слишком низкого мнения о противнике. Кто меня пустит в осажденный город? И кто возьмет на военную службу человека без послужного списка?

— Уж кого кого, а тебя-то возьмут. — Лансфорд подмигнул. — Просто нужно восстановить одно старое знакомство... Не удивляйся, я знаю про твою дружбу с малышом Низи.

Лишь теперь Лекс по достоинству оценил и осведомленность, и шахматную расчетливость лорда Альфреда.

* * *

Этот эпизод из прошлого Бланк вспоминать не любил. Редкий случай, когда разум не смог справиться с чувством, и уже потом, задним числом, пришлось оправдывать собственную слабость, искать для нее рациональное обоснование.

Три года назад Лекс изо всех сил сражался с унынием. После революционного урагана Европа, казалось, откатилась в своем развитии на несколько десятилетий назад. Французы добровольно предпочли республике империю. Царь Николай диктовал свою волю континенту, всё трепетало и сгибалось под его самодурной волей. Саксония представлялась студенту Королевской школы

топким болотом, в котором могли выжить лишь земноводные твари, чья температура тела всегда соответствует окружающей среде. Невозможно было поверить, что в срок восьмом немцы свергли монархов и мечтали о коммуне. Все живые уехали, остались только полумертвые.

Как расшевелить эту трясину? Как встряхнуть людей, чтобы они вспомнили: в жизни есть вещи поважнее, чем сосиски с капустой или уютненький домик в рассрочку?

Что может сделать человек, когда он совсем один?

Логичный ответ был: регицид. Ничто так не всколыхнет общество, как удар в самую верхнюю точку иерархической пирамиды.

Справедливее и действеннее всего было бы умертвить проклятого тирана Николая Палкина. Но, будучи реалистом, Лекс понимал: это за гранью возможного. Император далеко, до него не доберешься.

Некоторое время — уже от отчаяния и нетерпения — хмурый студент приглядывался к Фридриху-Августу Саксонскому, но расходовать свою жизнь на жалкого царька показалось обидно.

И вдруг судьба решила сделать подарок. Стало известно, что через Дрезден проследуют сыновья русского императора Николай и Михаил Николаевичи — отправляются в неофициальное турне по Европе под именем флигель-адъютантов Романова 9-го и Романова 10-го.

Когда нужно, Лекс умел становиться истинно светским человеком — уж этой-то науке его в Итоне и Кембридже обучили. Завести знакомства в посольстве было нетрудно. «Приличное» русское общество в Дрездене с удовольствием приняло в свои ряды отменно воспитанного юношу, барона, внука генерала Бланка, чей портрет украшает галерею героев двенадцатого года в Зимнем дворце. Приглашение на прием по случаю приезда великих князей Лекс получил от самого посланника Шре-

дера, записного остроумца — того самого, который во время давнего визита Николая Первого в Дрезден произнес *mot*, сделавшее дипломата знаменитым. На вопрос «Отчего это ты, Андрей Андреевич, никогда не женился?», старый лис с поклоном отвечал: "Ваше Величество строго запрещает азартные игры, а из всех азартных игр женитьба — самая азартная". Шутка понравилась. Благодаря ей Шредер, ничем не отличившись на дипломатическом поприще, сидел на своем тихом, завидном посту уже четверть века.

Разумеется, простой студент, хоть бы и титулованный, не мог рассчитывать на то, что будет представлен августейшим особам или даже получит возможность к ним приблизиться. Но, рассматривая из дальнего конца залы двух расфуфыренных юнцов в орденах и лентах, Лекс был спокоен. Он видел, что никаких особенных мер безопасности не предпринято, а в карманах два пистолета и кинжал. Нужно лишь было выбрать, *которого*.

Мальчишки были противные — что один, что другой. Чваные, лучащиеся надменностью и довольством, они словно олицетворяли собой ненавистное государство, лелеемое их венценосным папашей.

Однако устраивать «мене-текел-фарес» во время приема Лекс передумал. По двум соображениям. Во-первых, увидел, что совершенно необязательно жертвовать собой ради каких-то там тридевятого и тридесятого Романовых. Судя по беспечности охраны, вполне можно сделать дело и скрыться. Во-вторых, кажется, была возможность прикончить не одного змееныша, а обоих. Вот это будет удар так удар!

Составился очень простой план, который был с успехом осуществлен.

Бланк затаился в посольском парке, дождался, пока разъедутся гости и разойдутся слуги, а потом преспокой-

но направился к террасе, на которую выходили высокие окна так называемых «царских апартаментов» — парадных покоев, предназначенных для высоких посетителей. Там на пути в Европу и обратно обычно останавливались персоны министерского ранга и члены императорского дома.

Из сада Лекс перелез через балюстраду, подкрался к освещенному окну, через приоткрытые гардины заглянул внутрь.

Оба великих князя были в салоне. Один стоял перед камином, разглядывая себя в зеркале. Второй был уже в шлафроке: вот он что-то сказал брату и ушел в левую дверь, за которой несомненно находилась спальня.

Тот, что перед зеркалом, потянул тоненький, едва пробивающийся ус, попробовал закрутить кверху. Взял с туалетного столика второе зеркало, на подставке, и принялся рассматривать себя в профиль, задирая подбородок.

Всё складывалось идеально. В руке у Лекса был пистолет. С десяти шагов промахнуться невозможно.

Уложить старшего (нарциссическому самосозерцанию предавался царевич Николай).

Вышибить балконную дверь.

Ворваться в спальню и прикончить Михаила.

Потом тем же путем выбежать в парк.

Всё это не займет и минуты.

Но Бланк медлил. Вдруг вспомнил, как точно так же, подростком, пытался разглядеть, хорош ли у него профиль и не длинен ли нос.

К тому же без раззолоченного мундира, в одной рубашке, «Романов Девятый» будто скинул волчью шкуру, из великого князя стал просто мальчуганом. А «Десятый» был еще моложе. Как их убивать?

Дважды Лекс поднимал пистолет и дважды опускал, а затем понял, что не преодолет себя. Не выстрелит.

Рацио капитулировало перед чувствительностью. Правда, сразу же попробовало реабилитироваться. Акция не принесет никакой пользы, зашептал рассудок. У тирана есть и другие сыновья. Этот, с усишками, даже не наследник престола!

«Ты хотел встряхнуть Россию? — мысленно прикрикнул на себя Бланк. — Двойное убийство ее безусловно встряхнет! Действуй же, не проявляй слабости!»

Он вновь вытянул руку. Дуло ударилось в стекло.

Николай обернулся на звук — и Бланк отскочил от окна.

Дальше получилось совсем нелепо, позорно. Каблук угодил в щель между мраморными плитами, и незадачливый тираноборец грохнулся навзничь. Стукнулся затылком, оружие отлетело в сторону. Вот каким паяцем становится человек, позволивший чувству возобладать над разумом!

Выбежавший на террасу царевич увидел человека, который сидел на полу, держась за голову.

— Вы кто такой? Что случилось? — закричал по-немецки Николай. — Вы, верно, агент охраны?

— Нет... — Лекс встряхнулся. В ушах звенело. — Я не агент охраны...

Он поднялся. Еще и сейчас было не поздно исполнить задуманное, но Бланк уже понимал, что не сможет.

— Я барон Бланк, — сказал он по-русски. — Шел с приема. Увидел тень в саду. Какой-то человек нырнул за угол. Показалось подозрительным. Последовал за ним. Увидел, как он лезет на террасу. Смотрю — в руке пистолет. Я набросился. Оружие выбил, но он ударил меня по голове тяжелым. И прыгнул в сад.

— Вижу пистолет! — Николай подобрал карманный «Ierape». — Это карбонарий! Или нигилист! Он хотел убить нас с братом!

— Да. Нужно звать охрану...

Лекс огляделся, думая, куда бы деть второй пистолет и кинжал. Телохранители окажутся менее доверчивыми, наверняка захотят обыскать.

— Нет! — азартно воскликнул великий князь. — Пока будем звать, злодей уйдет. Нас двое! В погоню!

И, размахивая пистолетом, кинулся к парапету. Бланку ничего не оставалось, как последовать за мальчишкой.

Минут десять они бегали по парку. Естественно, никого не нашли.

Царевич был ужасно горд своей храбростью.

— Завтра напишут все газеты! «Террорист покушается на жизнь российских принцев». «Эрцгерцог Николас гонится за убийцей с пистолетом», — возбужденно лопотал он, переходя с русского на французский, а с французского на немецкий. Потом вдруг испугался. — Ой, нет! Ни в коем случае! Узнает папá, прикажет возвращаться домой. И никакого турне! Мы так долго упрашивали отпустить нас! — Николай схватил Бланка за руку. — Я очень вас прошу, барон! Никому ни слова! Вы предотвратили покушение, вы имеете право рассчитывать на благодарность государя, на высокую награду, но пожалуйста... Умоляю! Пусть это будет наш с вами секрет! Я даже Мики ничего не скажу, он совсем не умеет хранить тайны! То есть скажу, но после, когда закончится путешествие. Мики лопнет от зависти! Вы подтвердите ему, что я не вру. А отцу я даже потом говорить не стану. Ну пожалуйста, обещайте мне молчать!

— Хорошо, обещаю, — сказал Лекс, еще не веря, что всё обойдется.

Великий князь обнял его.

— Спасибо! Я ценю ваше великодушие! Ах, этого приключения я никогда, никогда не забуду! А знаете, я вас узнал. Видел на приеме. Я еще обратил внимание, что все улыбаются, а вы стоите со скучающим видом.

— В самом деле, было чертовски скучно. — Бланку казалось диким, что всего четверть часа назад он собирался убить этого восторженного дурачка. — Я задремал в диванной, и бездельники-лакеи меня проглядели. Проснулся — никого уже нет.

— Ха-ха-ха! — залился царевич. — Я на официальных приемах тоже невыносимо скучаю и не отказался бы где-нибудь прикорнуть. Но мне нельзя. Даже зевнешь — и то скандал. А что вы задремали — это мне жизнь спасло. Я ваш должник! Послушайте... — Он встрепнулся. — А поедemте с нами! Нет, в самом деле! Это легко устроить! Мне ужасно не хочется с вами расставаться. Отсюда мы в Вену, потом в Италию! Нет, право!

В Вену и Италию Лекс, конечно, не поехал, однако два последующих дня с великим князем почти не расставался. С расчетом на будущее. Через такое знакомство подобраться к тирану будет, пожалуй, не столь уж сложно. Постыдный эпизод в конечном итоге мог оказаться важной ступенькой на пути к Цели.

Затем великие князья покинули Дрезден, но между Николаем Николаевичем и Бланком завелась переписка. Низи (так царевич подписывал свои письма) писал чаще и пространнее. Кажется, он по-юношески влюбился в нового товарища, скупого на слова и проявления чувств.

Лекс привык, что люди ищут его общества и стремятся завести с ним дружбу. Сам себе он объяснял это свое качество следующим образом: когда тебе никто не нужен и ты совершенно самодостаточен, окружающих охватывает бессознательное желание пробиться сквозь твой панцирь, привлечь твоё внимание. Так уж устроены люди. По крайней мере, большинство.

На письма, полные излияний и откровений, Лекс отвечал коротко, сухо. Должно быть, именно это и побуждало юного Низи писать еще более цветисто. Сыну им-

ператора, привыкшему ко всеобщему раболепству, подобное к себе отношение было внове. Конец переписке положила только война.

* * *

— Ты прав, Альфред, — признал Лекс. — Идея недурна. Низи, конечно, не откажет старому приятелю в столь патриотической просьбе. А в Севастополе вряд ли посмеют отказать такому рекомендатору.

Великий князь Николай, брат нового императора, стал одним из влиятельнейших людей России: членом Государственного Совета и — что в данном случае имело особенную важность — инженерным генерал-инспектором, то есть начальником всего инженерного корпуса империи.

— Тогда не будем терять времени. — Лансфорд допил кларет и поднялся. — Завтра ты отплываешь, а я еще должен тебя подготовить.

По железной дороге, проложенной от Балаклавы к главной квартире, они добрались до штаба, где Бланк получил деньги, необходимые бумаги и подробные инструкции.

Ночью бывшие итонцы отправились на передовую, в район Френчменз-Хилл, и Лекс увидел, как происходит сеанс тайной световой связи.

С русской стороны кто-то помигивал фонарем: то коротко, то длинно.

— Шифр, обозначающий буквы, содержится в инструкции номер четыре, — сказал лорд Альфред. — У каждого агента свой собственный код. Места, удобные для семафорных целей, обозначены на карте, которую ты внимательно изучишь в дороге, а потом сожжешь. Это

всё точки, откуда можно сигналить, не опасаясь быть замеченным русскими: развалины, заросли и прочее.

— Кто тот человек? — спросил Бланк, наблюдая за крошечными вспышками. — Что он сообщает?

— Кто это у нас? — обратился Лансфорд к сопровождающему, лицо которого было почти неразличимо в темноте.

Свой вопрос лорд Альфред задал по-русски, а Лексу пояснил, вновь перейдя на английский:

— Мой помощник из перебежчиков, поляк. Отвечает за прием и передачу световых шифрограмм. Английского не знает, приходится разговаривать с ним на моем паршивом русском. Я начал учить его прошлой осенью.

— Это одиннадцатый, — ответил поляк, почтительно дождавшись, когда начальник договорит. — Я всё записал.

— И что он доносит? — спросил Лекс, тоже переходя на русский.

— ...Затрудняюсь сказать. — Кажется, перебежчик не ожидал, что спутник Лансфорда, британский офицер, тоже говорит на русском, да еще так чисто. — Кодов мне знать не полагается. Принимаю и записываю вслепую... А вы тоже с той стороны? Перебежали?

Бланк оставил вопрос без ответа.

— Покажите пальцем, где находятся остальные пункты, предусмотренные для семафорной связи. Хотя бы примерно. Я после соотнесу с картой.

* * *

На рассвете он отплыл пароходом в Варну. Дорога до Петербурга — специальным конвоем до австрийской границы, потом почтовыми и железной дорогой до Балтийского моря, оттуда снова пароходом — заняла две недели.

В Петербурге Низи принял давнего знакомого без проволочки — получив городскую телеграмму, немедленно прислал в гостиницу экипаж.

Царевич сильно изменился. Открытости поубавилось, наивность исчезла вовсе, и держался он не без важности.

Его высочество был очень рад, однако Лекс быстро понял, что радость эта не сентиментального свойства и вызвана не столько встречей, сколько желанием продемонстрировать Бланку, каких высот достиг прежний юнец, искавший дружбы своего дрезденского корреспондента.

Мундир на Николае был генеральский, на груди белел георгиевский крест, полученный в сражении под Севастополем, — великий князь наведывался в осажденный город дважды. Это был повод для гордости посущественней, чем беготня по саду за карбонарием. В сущности, молодому человеку было чем порисоваться перед старым приятелем.

Лекс выслушал красочный рассказ про Инкерманский бой (в котором он тоже участвовал, но с другой стороны), повосхищался подвигами Низи. Очевидно, недостаточно. Испытующе посмотрев на немногословного собеседника, великий князь загадочно улыбнулся.

— Однако главное деяние, за которое отечество должно быть мне благодарно, орденом не отмечено. Говорю только вам, как человеку, умеющему хранить секреты. Известно ли вам, как лишился своего поста всемогущий князь Меншиков, чуть не погубивший Севастополь?

— Да. Я читал в газетах, что покойный император в феврале велел его светлости покинуть главнокомандование по причине резкого ухудшения здоровья.

— Как бы не так! — Глаза царевича блеснули торжеством. — Это я, насмотревшись на причуды светлейшего, взял на себя смелость написать отцу конфиденциаль-

Анатолий Брусникин

ное письмо. Батюшка внял моему совету, и несокрушимый Меншиков рухнул! Теперь, при мудром Горчакове, наши дела пошли много лучше.

Лекс мысленно пометил себе вписать это примечательное сведение в отчет, который уйдет Лансфорду с курьером для передачи из Стокгольма по телеграфу.

Свою просьбу Бланк изложил с самым почтительным видом, зная, как это понравится великому князю. Мол, нет более сил отсиживаться в Германии, когда отечество изнемогает в борьбе с объединенной Европой. Поэтому-де он специально прошел курс военно-саперного дела и желал бы применить свои знания в осажденном Севастополе. «Ежели, конечно, ваше высочество сможет оказать протекцию в таком трудном деле и ежели есть шанс, что ваша рекомендация будет севастопольским начальством акцептирована», — присовокупил Лекс как бы с сомнением.

Низи довольно рассмеялся.

— Ах, Александр Денисович, мало же вы придаете мне важности. А я не тот, что прежде. Моя рекомендация будет воспринята как приказ. Со своей стороны, я счастлив расплатиться за дрезденскую историю и даже вдвойне счастлив, поскольку порыв ваш патриотичен, а хороших инженеров в Севастополе недостает. Однако учтите. — Он шутливо погрозил пальцем. — Теперь вы будете служить по моему ведомству и находиться в моем подчинении.

Молчаливо склонившись, Лекс приложил руку к груди. Всё шло по плану, всё устраивалось наилучшим образом.

Царевич тут же написал собственноручное письмо инженерному начальнику Севастопольской обороны прославленному Тотлебену и скрепил бумагу личной печатью.

— Когда намерены ехать?

— Нынче же.

Хитро прищурившись, Низи сказал:

— Подождите-ка до завтра. Я добуду для вас одну штуку, которая очень пригодится в дороге.

Утром следующего дня адъютант доставил от его высочества бумагу, подписанную князем Орловым — начальником Третьего отделения, шефом Жандармского корпуса. В письме говорилось, что барон Александр Денисович Бланк следует по секретному делу сугубой важности, в связи с чем всякому представителю власти предписывается не чинить вышеозначенному лицу ни малейших препятствий, но оказывать всяческое содействие, а при недостаточной ревности быть готову понести суровую ответственность.

Эта охранная грамота, эта волшебная палочка не раз выручала Лекса по пути через немытую страну рабов, страну господ, где всё по-прежнему трепетало перед «мундирами голубыми», а сами эти мундиры склонялись перед грозной петербургской бумагой — как это случилось и на станции в Дуванкое.

Чудесный документ, не имевший срока годности, Лекс намеревался сохранить и на будущее. Очень возможно, что после падения Севастополя придется остаться в России. В стране могут наступить очень интересные времена.

Но про это пока думать было рано. Сначала еще нужно сделать так, чтоб Севастополь пал.

Доехав по железной дороге до Москвы, Бланк купил там лошадей и всё необходимое для дороги. Широким, но паршивым, истинно российским шоссе добрался до Екатеринослава, откуда начинался Крымский почтовый тракт, совсем уж разбитый бесчисленными обозами.

И вот цель близка. До Севастополя от Дуванкоя было рукой подать, однако со станции Бланк двинулся не

Анатолий Брусникин

к осажденному городу, а в сторону, по долине реки Бельбек, к хутору помещика Сарандинаки, где квартировал генерал Тотлебен.

Весь путь из Балаклавы, напоминающий своей конфигурацией замкнувшееся кольцо, занял двадцать пять дней. По прямой, через горы, если б не позиции противоборствующих армий, этот маршрут можно было бы проделать за три часа.

* * *

— Не могу вам передать, дорогой Александр Денисович, до какой степени растроган я заботой его императорского высочества о состоянии моего здоровья.

Удивительно, что при произнесении этой скучной фразы в выпуклых, немного водянистых глазах Тотлебена выступили слезы. Кажется, генерал действительно был растроган.

Он бережно отложил письмо и промокнул ресницы платком, в который еще и высморкался, совершенно не смущаясь своей чувствительности.

Инженерный начальник, которого после гибели адмирала Нахимова в России именовали не иначе как «душой обороны» (русские ведь никак не могут без души), сидел в кресле, укутанный пледом, хоть погода была теплая и даже жаркая; одна нога, замотанная в бинты, лежала на табуретке.

Эдуард Иванович был ранен пулей французского снайпера три или четыре недели назад, едва не умер от воспаления и теперь был еще очень слаб. Нога заживала плохо, генерала мучили боли, любое движение вызывало страдание. Не то что выезжать на позиции, но даже доковылять до крыльца Тотлебен был не в состоянии.

Глядя на жалкое состояние, в котором находился военачальник, Лекс не мог взять в толк, как может столь нездоровый человек руководить фортификационными работами и почему никого не назначат его заместить.

Связной от лорда Альфреда ждал Бланка в Симферополе. Из секретной депеши Лекс и узнал о ранении генерала, на чье покровительство рассчитывал. В письме также сообщалось, что Тотлебен вывезен из обстреливаемого города в долину Бельбека, в покойное место. «Молю Бога, чтоб сей джентльмен дожил до твоего прибытия и успел пристроить тебя на хорошую должность», — писал Лансфорд в своей шутливой манере, однако сквозь легкость тона проскальзывала тревога.

Молитва была услышана: умирать Тотлебен, кажется, не собирался. Он был слаб, бледен, изможден, но Лекс застал его сидящим над картой укреплений, с циркулем в руках. Эдуард Иванович работал.

Еще год назад этот человек был мелкой сошкой, безвестным инженерным подполковником, а сейчас его имя гремело на весь мир, причем в России Тотлебена называли «ангелом-хранителем» Севастополя, а в Европе — «злым гением». Колдовским чутьем он предугадывал пункты, по которым союзники намеревались нанести очередной удар; фортификационные решения Тотлебена были парадоксальны, саперная фантазия неиссякаема. Он не только придумал и организовал сухопутную оборону беззащитного города, но еще и произвел переворот в военно-инженерной науке, доказав, что обычная глина с песком дают куда лучшую защиту, чем камень или кирпич. Благодаря Тотлебену город уподобился бессмертному Фениксу: испепеляющий огонь невиданных в истории бомбардировок был Севастополю нипочем, всякий раз он восставал из праха таким же неприступным.

Пока генерал читал письмо Низи, благоговейно шевеля губами, Лекс составил о своем предположительном покровителе первое впечатление. Оно получилось неожиданным.

Бланк ожидал увидеть человека скромного, возможно, чудаковатого или даже слегка нелепого — какими обыкновенно воображают технических гениев. Тотлебен же, за вычетом бинтов, оказался франт: выглаженный сюртук, свежайшая сорочка, височки тщательно подвиты а-ля царь Николай, редкие волосы на ранней проплеши не уложены искусным зачесом. В помещении царил идеальный порядок, даже на письменном столе справочники, схемы, чертежные инструменты были разложены, словно по нитке.

Особенный интерес представляла тонкая игра выражений, что сменялись на осунувшемся лице героя в процессе чтения: сосредоточенная погруженность, торжественность, умиление. И мимолетные взгляды на петербургского посланца — замечает ли, с каким глубоким чувством изучается августейшая эпистола.

«Далеко пойдет, — подумал Лекс. — Сочетание гениальности с политичностью — чтоб и дело хорошо исполнять, и перед начальством стелиться — это встретишь нечасто».

Растроганно высморкавшись, генерал вдруг перешел на немецкий.

— О мой Бог, до чего мне осточертел этот райский уголок! Если б вы только это знали, милый барон! Всё мое существо рвется туда, туда! — Генерал показал в южную сторону, где, в десятке верст, располагался Севастополь. — Но доктора, увы, не обнадеживают. Малейшее нарушение режима чревато потерей ноги и даже смертью... Его императорское высочество пишет, что вы получили инженерное образование в Германии. Где же именно?

«Он принимает меня за германца — из-за фамилии, — догадался Лекс. — Потому и заговорил на немецком». Немцем был отдаленный предок Бланков, приехавший в Россию в петровские времена, однако семья давным-давно обрусела и своим родным языком Лекс почитал русский. Точно так же, без малейшего иностранного акцента, изъяснялся он на английском и французском. Его принимали за местного уроженца и в Англии, называя «мистером Блэнком», и во Франции, где он превращался в «мсье Блана», а в Германии «герр Бланк» или «герр барон» звучало тем более автохтонно — нет, по-русски это называется «автентично».

Услышав ответ на превосходном хохдойче, Эдуард Иванович, чей остзейский диалект звучал несколько провинциально, снова перешел на русский — и с «барона» на «Александра Денисовича». Этот господин явно не любил невыигрышно смотреться даже в мелочах.

Но небрежная ловкость, с которой генерал прокзаменовал собеседника, вызывала уважение. Оставаясь в рамках светского разговора, как бы между делом, Тотлебен задал несколько вроде бы случайных, а на самом деле ключевых вопросов, дающих ясное представление о военно-инженерной опытности великокняжеского протеже. После девяти месяцев бастионно-окопной войны Лекс, конечно же, выдержал эту осторожную проверку без труда.

— Вот что значит настоящее германское образование! — воскликнул довольный Тотлебен. — Даже гражданскому инженеру дать столь капитальную подготовку в саперном деле! Теперь я буду еще более высокого мнения о Дрезденской академии.

Следующая фраза свидетельствовала о том, что Эдуард Иванович окончательно уверился в немецком происхождении молодого инженера:

— И они еще ворчат, что я со всех сторон окружил себя «немчурой»! Да что б я делал без моих Гарднера и Геннериха? Если б нашелся хоть один Иванов или Петров такого же уровня знаний, я взял бы русака с дорогою душой! Но ведь нету толковых, ни одного!

«Думает, что мне приятно это слышать, — подумал Лекс. — Собаке дворника, чтоб ласкова была... А насчет отсутствия толковых Петровых-Ивановых что-то сомнительно. Вероятно, герр генерал нарочно не дает выдвинуться инженеру с русской фамилией. На что Тотлебену конкурент? В славянофильской империи Петров или Иванов будет принят на ура и, пожалуй, затмит курляндского Эдуарда Ивановича. На немецкое засилье в Петербурге и Москве морщатся. Стало быть, очень кстати, что я — Бланк».

С инженерной темы генерал повернул на столичную. Подробно, всё с той же умильной улыбкой, принялся расспрашивать о Николае Николаевиче, о государе, о дворцовых новостях. Понятно: прощупывает, до какой степени молодой человек вхож в высшие сферы. К сожалению, рассказать было нечего, а признаваться в своей отдаленности от петербургского света вряд ли стоило. Поэтому Лекс отвечал скупо.

Оказалось — правильно сделал. Именно эта лаконичность произвела на Тотлебена самое сильное впечатление. Он привык к тому, что столичные гости хвастают связями и знакомствами, а коли человек с таким рекомендационным письмом уклончив в ответах, то значит, ему самоутверждаться не нужно.

Проницательно сощурившись, Эдуард Иванович умолк и про жизнь в эмпиреях более не спрашивал.

— Между нами говоря, — сказал он доверительно, после паузы, — все севастопольцы не устают благодарить великого князя за избавление от Меншикова.

— Его высочеству это известно, — обронил Лекс с непроницаемым лицом, однако развивать тему не стал.

Возможно, именно эта реплика окончательно разрешила сомнения генерала.

— Мой августейший начальник просит — а вернее, приказывает, ибо просьба его высочества равносильна распоряжению — приискать вам место, достойное вашего патриотического порыва...

Тотлебен значительно покашлял, а Лекс внутренне напрягся. Сейчас всё решится! Как бы получить назначение на Корабельную сторону, чтоб оказаться напротив английских позиций?

— Черт их всех подери! — Эдуард Иванович отчаянно махнул рукой — и поморщился, резкое движение отдалось болью. — Возьму к себе в штаб еще одного немца! Семь бед — один ответ. Не разбрасываться же выпускниками Саксонского политехникума! Сижу на этом чертовом хуторе слепец слепцом. Еще один грамотный поводырь, еще одна пара опытных глаз мне не помешает!

И сделал предложение, на какое ни Лансфорд, ни сам Лекс не рассчитывали: должность внештатного чиновника особых поручений, ответственного за связь между начальником инженерной части и участками обороны.

— Полковник Гарднер замещает меня в Городском секторе, полковник Геннерих — в Корабельном, а вы будете моим адъютантом или, если хотите, помощником. Я желал бы получать от вас каждодневные подробные сведения без «партийности» и перекоса в интересы того или иного фланга. Ваше гражданское состояние и неопределенный статус окажутся здесь очень полезны. К штатскому меньше ревности.

Разумеется, Бланк немедленно согласился и поблагодарил за прекрасное назначение — совершенно искренне.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Своей идеей Тотлебен был очень доволен.

— Вы поселитесь на Северной стороне, как раз посередине между передовой и местом моего заточения. Я распоряджусь, чтоб вам выдали хорошую палатку из моих личных запасов. Общую картину и стратегию я изложу вам сам, подробности выясните у Гарднера и Геннериха. Сейчас и приступим. Попрошу сосредоточить внимание вот здесь...

Он жестом поманил Лекса к карте.

— Итак. Севастопольская оборона представляет собою семиверстную дугу, протянувшуюся вот отсюда, от Килен-бухты Большого рейда до Карантинной бухты открытого моря. Сплошная линия земляных укреплений в стратегически важных точках усилена бастионами и редутами. Общее количество орудий на сегодняшний день приближается к тысяче стволов. Около двадцати тысяч артиллеристов, пехотинцев и саперов постоянно находятся на передовой. Ближние резервы на случай внезапной атаки оттянуты в тыл в среднем на пятьсот саженей, основная масса войск размещена на Северной стороне рейда, вне досягаемости вражеского огня. А еще севернее расположена армия князя Горчакова, которая не позволяет неприятелю блокировать город или вторгнуться вглубь Крымского полуострова...

Без этой вводной лекции Бланк отлично бы обошелся, однако в ожидании момента, когда генерал перейдет к более интересным деталям, старательно изображал сосредоточенное внимание.

До интересного, однако, не дошло. Через четверть часа генерал был вынужден остановиться. Из госпиталя приехала милосердная сестра производить физиотерапевтическую процедуру, специально разработанную для Эдуарда Ивановича знаменитым профессором Гюбенетом.

Тотлебен попросил молодого человека остаться, сказав, что будет продолжать объяснение, пускай и без карты. Это поможет легче переносить довольно мучительный сеанс, призванный ускорить восстановление нормального кровообращения и нервной чувствительности в раненой ноге. «Нервная чувствительность, впрочем, и так уже восстановилась сверх всякой меры, — пошутил Эдуард Иванович. — Прошу извинить, если стану издавать жалобные звуки, недостойные спартанца».

Он действительно иногда стонал и охал, но всякий раз после этого просил извинения у молодой женщины в коричнево-белом платье и накрахмаленном чепце, с золотым наперсным крестом на голубой ленте. Милосердную сестру генерал представил, но Лекс пропустил ненужную подробность мимо ушей, раздосадованный помехой. Имя у дамы (кажется, миловидной, хотя Бланк специально не приглядывался) было какое-то простонародное, фамилия обыкновенная, не из запоминающихся. Молча поклонившись, сестра сразу приступила к делу. Очень ловко разбинтовала ногу, чем-то ее смазала и легкими движениями начала растирать края уродливого багрового шрама. Издали прикосновения тонких пальцев казались ласкающими, но генералу, видно, приходилось несладко. Он то и дело вытирал испарину, а голос сделался сдавленным.

Проку от такого инструктажа выходило мало.

— ...Более всего тревожит меня в инженерном смысле британская Ланкастерская батарея, перед которой в наши позиции нехстати вклинивается Доковая балка, — начал рассказывать про интересное Эдуард Иванович, да вскрикнул. — Ой! Милая Агриппина Львовна, дайте передышку!

И после паузы к Ланкастерской батарее уже не вернулся.

— У госпожи Иноземцовой волшебны легкие пальцы, — смущенно сказал генерал, — но иногда мне кажется, что они из раскаленной стали...

Дама (Агриппина Львовна Иноземцова — вот как ее звали) бережно обтерла страдальцу лоб, участливо молвила:

— Вы поражаете меня терпеливостью, ваше превосходительство. Напрасно вы сдерживаетесь. Стоны облегчают страдание. А что больно — это хорошо. Ваши нервы отходят от онемения, вызванного оперативным вмешательством... Отдохните, сколько вам нужно. Я подожду.

Из-под чепца у нее выбилась черная шелковистая прядь, а лицо, если всмотреться, было точеное, белокожее, будто вырезанное из алебаstra. Речь выдавала женщину из общества. Лекс читал в газете, что многие русские дамы, по примеру милосердной Флоренс Найтингейл, поступили сиделками и сестрами в армейские лазареты.

Если хочешь составить доброе представление о какой-либо нации, смотреть нужно только на женщин, думал Бланк, глядя, как споро и умело делает свое дело красивая дама, видно, привыкшая совсем к другой жизни.

Насколько англичанки лучше англичан: твердость характера та же, но нет неприятной холодности. Из них получаются преданные жены и превосходные матери, которые умеют воспитывать детей заботливо, но безо всякого поощрения баловству. Английские же отцы обыкновенно сухи и пугающе суровы.

Еще разительней контраст между полами у русских. В этой госпоже Иноземцовой отчетливо проступают все лучшие черты русской натуры: самоотверженность, терпеливость, сострадательность, кротость. И самое при-

влекательное — обыденный героизм, не помышляющий назвать себя этим высоким словом. Красота, не стремящаяся слепить и дразнить взор, это, пожалуй, тоже русское. А взять тип русского мужчины? Грубый и жестокий солдафон со шпицрутенем в руке, в до блеска надраенных сапожищах, но с бурчанием в брюхе от скудной пищи. Именно такую представляется Россия европейцам, а вовсе не милой дамой вроде госпожи Иноземцовой.

Мысль отвлекалась на пустое, потому что обессиленный процедурой генерал почти совсем перестал говорить про дело. Наконец он махнул рукой:

— Прервемся, Александр Денисович. Еще будет время. Вам нужно обустроиться в лагере. Я напишу записку в управление генерал-квартирмейстера. Хотел дать вам в проводящие своего вестового, но ежели Агриппина Львовна возвращается на Северную, вы могли бы отправиться вместе. Думаю, вам это будет приятнее, а госпожу Иноземцову не обременит.

— Нисколько, — сказала сестра, готовясь вновь забинтовать ногу. — Я провожу барона до места, там с непривычки легко заплутать. Через пять-десять минут можно будет ехать.

Тотлебен подмигнул Лексу поверх ее склоненной головы. Кажется, генерал заметил, как тот рассматривает женщину, и неправильно истолковал этот интерес.

* * *

Эдуард Иванович был бы удивлен, если б мог увидеть, что, выехав с хутора, молодой человек не попытался вступить со спутницей в разговор и даже не смотрел в ее сторону. Мысли Бланка, очень довольного встречей, результат которой превзошел самые смелые ожидания,

теперь сосредоточились на выработке дальнейшего плана. Почти месяц находясь в непрерывном и быстром движении, Лекс в то же время томился от бездействия — не считать же делом тупое преодоление географического пространства? И вот теперь, наконец, начиналась настоящая работа. В ней, как при обращении со взрывными механизмами, требовался прецизионный расчет. Малейшая ошибка могла привести к гибели и, что много хуже, к провалу Цели.

Как выстраивать отношения с Тотлебенom и новыми сослуживцами?

В какой момент провести сеанс связи с Лансфордом — сразу же или после рекогносцировки на оборонительной линии?

Сколько времени понадобится на то, чтобы исследовать русскую оборону — хотя бы в секторе, противостоящем британским войскам? Положение личного представителя Тотлебена чрезвычайно упрощает эту задачу.

Обдумывая множество других насущных вопросов, Лекс очень нескоро спохватился, что ведет себя неучтиво и, пожалуй, даже подозрительно. Столичный хлыщ, опекаемый самим Тотлебенom, не держался бы столь индифферентно по отношению к привлекательной даме. Должно быть, она оскорблена — то-то хранит ледяное молчание.

Он тронул шпорой лошадь и поравнялся с госпожой Иноземцовой, ехавшей амазонкой на простом казачьем коне чуть впереди. Агриппина Львовна сидела в седле уверенно и ровно, а хлыстиком пользовалась лишь для того, чтобы почесывать своего рыжего за ухом, отчего тот весело встряхивал гривой и по временам пытался пройтись боком.

Женщина полуобернулась, и Лекс понял, что она не обижена его молчанием, а, кажется, тоже думает о чем-

то своем. Но коли уж приблизился, надо было вступать в разговор.

Когда нужно, Бланк умел быть обходительным и светским. Он извинился, что до сих пор как следует не представился и вообще ведет себя как последний невежа — виной тому встреча с великим Тотлебенем, произведшая на него большое впечатление.

— Да, Эдуард Иванович — выдающаяся личность, — сказала Иноземцова. — С такой болезненной раной всякий другой оставил бы дела, а он считает себя обязанным продолжать работу. Все им восхищаются.

Лекс коротко объяснил, кто он, по какой надобности приехал и где будет служить. Агриппина Львовна еще раз назвала свое имя, присовокупив, что она вдова.

После этого нельзя было не спросить о покойном муже.

— Я дважды вдова, оба раза была замужем за моряками. У нас ведь морской город, — ровным голосом, безо всякой жалобности ответила она. — Первый мой муж умер в плавании. Второй погиб 5 октября, в день первой бомбардировки. С тех пор я сделалась милосердной сестрой, многому научилась и теперь могу ассистировать даже на сложных операциях. А живу я при госпитале. Мой городской дом сгорел после попадания бомбы.

Бланк догадался, что ответ был таким обстоятельным, дабы исключить дальнейшие расспросы. Тем лучше. Нечасто встретишь женщину, которая не требует, чтоб ее развлекали разговором, и предпочитает болтовне молчание.

Они поехали дальше в тишине, но теперь уже вровень, так что Лекс мог время от времени смотреть на тонкий профиль Иноземцовой.

Вот разгадка особенности, которая сразу чувствуется в этой даме, подумал он. Две утраты, перенесенные в молодом возрасте, наложили тень на лицо и манеры. Тра-

гическое приводит низменную душу в оторопь и вдавли-
вает в грязь, а высокую душу делает еще возвышенной.
Такой женщине, похожей на надгробную беломрамор-
ную статую, даже самый наглый ловелас не осмелится
строить куры. Конечно, впечатление бесплотности и по-
тусторонности усиливается по причине полумонашеско-
го наряда и этой необычной молчаливости...

Как раз в эту секунду Агриппина Львовна вновь заго-
ворила:

— Александр Денисович, вы давеча сказали, что при-
были в Севастополь добровольцем? Неужто правда? —
спросила она, поглядев на него то ли с недоверием, то ли
с неодобрением. — Иль, может статься, я неверно поняла?

Вот о чем, оказывается, она думала, храня молчание?

— Вы поняли верно. Я прибыл совершенно добро-
вольно.

— Сюда? В Севастополь? — Она качнула головой, как
бы поражаясь. — Знаете, я часто встречаю людей, при-
бывающих сюда не по долгу службы, а по собственному
хотению, но... вы не похожи на них. Это либо наивные
и восторженные натуры, либо честолубцы, ищущие от-
личия... А вы... Вы ни то и ни другое. Я это увидела.

Вот тебе раз! Лекс внутренне насторожился. Опасная
штука — женская пронизательность, ее нельзя недооце-
нивать. Есть какой-то непонятный механизм, встроенный
в женское зрение и придающий ему опасную остроту.
Я это увидела! Что это?

— Что? — нахмурясь, спросил он. — Что такое вы во
мне увидели? Позвольте вас уверить, что, хоть я не ро-
мантическая натура и не искатель почестей, мой приезд
сюда абсолютно доброволен.

— В этом я не сомневаюсь. По вам видно, что ничего
против своей воли вы делать не станете, — продолжила
странная госпожа Иноземцова, вновь заставив его внут-

ренне вздрогнуть. — Вероятно, вами движет любопытство? Или желание проэкзаменовать себя опасностью?

Он молчал под испытующим взглядом ее матово-черных глаз.

— ...Но уже через несколько дней вы, как все добровольно прибывшие сюда, слишком ясно поймете, какую ужасную ошибку вы совершили. *В такое место по своему хотению не приезжают!* — На белом лбу прорисовалась продольная морщина, и лицо стало похоже на трагическую маску из античного театра. — Ах, если б вы меня послушали! Ведь вы не то, что большинство, вы не военный и не чиновник. Поверните назад! Уезжайте, пока не поздно!

— Этого я сделать не могу. Я уже получил назначение, — сказал Лекс, всё больше удивляясь.

— Ах, Беллона, Беллона! — горько молвила тогда Иноземцова. — Как же притягивает она мужчин...

И отвернувшись, и опустила голову.

— Кто притягивает? — переспросил он, не расслышав.

— Беллона. Богиня войны. Ненавижу это имя. — Агриппина Львовна содрогнулась. — Беллона отняла у меня всё! Бел-ло-на...

В ее устах мелодичное слово прозвучало гадливо, будто худшее из ругательств.

В следующее мгновение женщина — уже не мраморная и не алебастровая, а будто воспламенившаяся, с ярко проступившим румянцем — быстро и жарко заговорила:

— Это повальное безумие, это страшная эпидемия, поразившая мужчин. Я девять месяцев — а кажется, девять лет — работаю в госпиталях. Мне давно пора привыкнуть к крови и страданиям, но нет, невозможно... А главное, я совершенно не понимаю — зачем, ради чего длится этот кошмар? Знаете, когда-то я верила в Бога, но я

давно уже не молюсь. В самую роковую минуту жизни Бог отвернулся от моей исступленной молитвы. А зачем нужен Бог, который от тебя отворачивается в роковую минуту? — Госпожа Иноземцова всхлипнула, но слез в ее глазах не было. — Извините, у меня нервический приступ... Я вам говорила, что не могу привыкнуть к крови и смерти, но сегодня был случай, который меня особенно потряс. Ничего, если я расскажу? Мне нужно про это кому-то рассказать, а вы умеете слушать не перебивая.

Он почтительно наклонил голову, подумав: определенно, это необыкновенная женщина.

— Утром с Корабельной привезли молодого офицера. Солдаты внесли его в палатку на руках, очень бережно. На рассвете была вылазка — кажется, неудачная. Много людей погибло, и их бросили на ничьей земле. Но этого офицера солдаты вынесли и вопреки правилам не сдали санитарам, сами доставили в госпиталь. Как я поняла, они очень любили своего командира. Он, как и вы, был добровольцем, притом недавно, но чем-то успел заслужить любовь своей роты. Солдаты говорили про него: «Сердешный». Первый же бой для этого «сердешного» стал последним, а они всё не хотели верить, что он мертв. Не было ни раны, ни крови. «Дохтур, он контуженный, без чувствия, лечить надо», — всё повторяли они. Какое — «лечить»! Уже остыл, началось околечение. Но действительно, никаких травм, и следов контузии тоже нет. Врач сказал: смерть от разрыва сердца. Понимаете?

— ...Нет. Не очень.

— А я так очень! — воскликнула она. — У него потону и разорвалось сердце, что он был «сердешный». Попал в кромешный ад, где люди рвут друг друга зубами, как дикие звери, и сердце не выдержало. Думаю, окажись на его месте я, со мной случилось бы то же самое! Бел-ло-на... — Агриппина Львовна вновь передернулась,

повторив имя богини. — Ладно б еще мы с неприятелями люто ненавидели друг друга. Так нет же! Я была после июньского штурма на поле с санитарями, мы подбирали раненых и убитых. На бастионах по случаю перемирия висели белые флаги. Наши и французы сошлись посередине. Стоят, мирно беседуют, курят, делают комплименты. Обыкновенные, нормальные люди. А едва спустили флаги — и снова все превратились в буйнопомешанных...

Лекс молчал, потому что ответить было нечего. Всё так. Мир управляется мужчинами и управляется скверно, преступно. Однако не вступать же с этой дамой в долгую дискуссию о революции и эволюции?

По крайней мере, обошлось без рыданий и нюхательной соли. Госпожа Иноземцова после своего взрыва довольно быстро взяла себя в руки. Извинилась за горячность, вытерла глаза, хоть они оставались сухими, и потом до самого лагеря следовали без разговоров.

Вся дорога заняла около часа. Рысью вышло бы скорее, но за Бланком в поводу следовала выючная лошадь.

Лагерь на Северной своими размерами и планировкой более напоминал город: широкие и узкие улицы в версту длиной, многотысячное скопище людей. Только настоящих домов было совсем немного; кварталы в основном состояли из временных бараков, землянок, больших и малых палаток. Всё это очень напоминало английский тыловой стан в Балаклаве, только порядку, кажется, здесь было меньше, да совершенно отсутствовали разноцветные рекламы, которыми по британской традиции торговцы и маркитанты разукрасили свои лавки.

Магазины, трактиры, парикмахерские и пошивочные здесь тоже имелись, но какие-то скучные, без нормального для коммерции хвастовства. Лекс не сразу опреде-

лился, хорошо или плохо это говорит о русской торговле. Решил, что, пожалуй, плохо. Приниженность частной инициативы — еще одно свидетельство подчиненности личных интересов казенным. В жандармском государстве коммерсант беззащитен от произвола, а оттого ворует и предпочитает приbedняться.

— В тех шатрах находится часть генерал-квартирмейстера Севастопольского гарнизона, — прервала его размышления Агриппина Львовна. — Они недавно перебрались сюда с Южной стороны. А наш госпиталь вон там — видите длинный барак и одинаковые палатки?

Бланк снял картуз и поклонился.

— Благодарю. И прощайте.

Но она медлила, глядя на него внимательно и грустно.

— Знаете что... Приходите к нам завтра вечером. Мы, сестры Андреевского госпиталя, по вторникам и субботам устраиваем *soirée*. — Она улыбнулась. Нечасто бывает, чтоб красивой женщине не шла улыбка. Строгому лицу Иноземцовой она далась с видимым усилием, будто губы давно отвыкли от этого мимического упражнения. — Не думайте, за пышным словом «*soirée*» укрывается обычный чай. Приходят свободные от дежурства врачи и приглашенные офицеры...

Бланк сделал жест, означавший «благодарю, но у меня не будет досуга», и Агриппина Львовна заговорила быстрее:

— Не отказывайтесь. Это вам сейчас кажется, что чаепития в дамском обществе на войне неуместны. Очень скоро вам захочется хоть на час забыть о войне. Всем этого хочется. Кстати говоря, — она улыбнулась снова и теперь удачнее, — приглашение на *soirée* — привилегия, которую нужно ценить. Многие мечтали бы попасть, но не хватает места. У нас всё очень скромно, но побывать на «Андреевском *soirée*» почитают за честь и генералы, и

флигель-адъютанты... Если завтра не получится, приходите в субботу.

Услышав про генералов и флигель-адъютантов, Лекс подумал, что из этих вечеров можно извлечь пользу. В непринужденной обстановке, да при дамах легче заводятся знакомства и развязываются языки.

— Благодарю. Если позволит служба, непременно приду, — сказал он.

В груди что-то шевельнулось, и Лексу это шевеление не понравилось.

Он привык быть с собой честным. Что если дело не во флигель-адъютантах, а в матовых глазах госпожи Иноземцовой? Вот уж это совершенно ни к чему.

Нет, не приду, решил Бланк.

ВАШЕ КРИВОГЛАЗИЕ, ВАШЕ КРИВОНОСИЕ

С утра штабс-капитан изучал список вновьприбывших. Галочками были помечены девять фамилий, из них четыре еще и крестиками, а к двум Средниченко прибавил свои пометы. Работник он был дельный, но не слишком грамотный, разобрать его закорючки было непросто.

Стало быть, целых четыре новых «кандидата», и двух из них дуванкойский унтер-офицер, который служил в станционном буфете под видом полового, считал заслуживающими особенного внимания.

Имена и прочие сведения штабс-капитан аккуратно переписал в тетрадь, озаглавленную «Брюнеты Рутковского».

Владислав Рутковский был ценнейшим сотрудником с очень хорошей биографией: поляк, в свое время сдан-

ный из студентов в солдаты. Не по политической причине, а за непочтительность к университетскому начальству. Умен, твердого характера, патриот своей несчастной родины, однако при том не враг империи, ибо верит, что вольность Польша может получить лишь по доброй воле императора, а отнюдь не вопреки ей. Рутковский говорил, что на Европу уповать незачем, она пальцем о палец не ударит ради польской свободы и, как это неоднократно уже случалось, при всяких переговорах с Петербургом легко пожертвует Польшей ради своих выгод.

Насчет надежд на восстановление польской независимости «по манию царя» у штабс-капитана имелись сомнения, но с Рутковским ими он, конечно, не делился. Зачем убивать энтузиазм в человеке, повседневно рискующем жизнью? Пусть верит, что его самоотверженность зачтется по завершении войны и приблизит заветный день польского возрождения.

По правде сказать, у государя пока что было больше поводов для недовольства поляками. Именно к этой угнетенной нации в основном принадлежали изменники, перебежавшие из Севастополя и из армии на ту сторону.

Тем легче произошла переброска Рутковского. Он пересек фронтовую линию на английском участке, был принят с распростертыми объятьями и, будучи человеком ловким, сумел добыть себе место исключительной полезности — в британском разведочном отделе. Должность невеликая, от стратегических секретов далекая, а всё ж и от нее имелся изрядный прок.

Десятого июня, через два дня после отражения вражеского штурма, гуртовщик Мустафа, поставлявший неприятелю баранов, а штабс-капитану сведения, то есть имевший от войны превосходный двойной заработок, доставил от Рутковского сообщение огромной важности.

Поляк доносил, что во время очередного сеанса семафорной связи на сигнальный пункт прибыл сам Лансфорд и привел с собой некоего человека, с которым обращался как с равным. Обычным лазутчикам, которых готовят к переброске, такого внимания никогда не оказывалось. Лица неизвестного Рутковский как следует разглядеть не мог по причине темноты, но это был худошавый брюнет вряд ли старше тридцати лет, роста среднего или чуть ниже. Видно, что человек из общества: говорит как джентльмен из хорошей школы. Рутковский пробовал подслушать разговор, благо начальники думают, будто он не владеет английским, но Лансфорд очень осторожничал, голоса не повышал. Только один раз порыв ветра донес фразу, из которой следовало, что незнакомец будет отправлен в Севастополь не обычным образом, через горы, а почему-то долгим и кружным путем — через Петербург, притом с экстренной скоростью. Еще поляка поразило, что по-русски неизвестный говорит так же свободно, как по-английски. По мнению Рутковского, готовилась переброска в Севастополь агента очень высокого уровня и наверняка с заданием чрезвычайной важности.

Ни малейших сомнений в правоте этого суждения у штабс-капитана не возникло. Дело о таинственном брюнете было поставлено под особенный контроль, возможные меры приняты.

При самой разэкстренной скорости путь из Крыма в Крым через Петербург не мог занять менее полумесяца — это ежели нестись на фельдъегерских, сломя голову, туда и обратно. Поэтому, начиная с 24 числа на пункте, которого не могли миновать прибывающие в город, то есть на последней станции Симферопольского тракта, был установлен специальный пост негласного наблюдения.

Сведения обо всех брюнетах невысокого и среднего роста, худошавого сложения, молодого возраста регист-

рировались. Простой люд с «экстренной скоростью» по военной дороге передвигаться не может, поэтому нижних чинов не учитывали. И всё же за одиннадцать дней набралось около полусотни лиц с нужными приметам. Штабс-капитан нашел способ лично посмотреть на каждого. Некоторые, конечно, отсеялись (не станешь ведь, например, подозревать в шпионстве знакомого лейтенанта Ставриди, возвращающегося после излечения, или сына командира гарнизона?), и всё же, включая сегодняшнюю четверку, «кандидатов» набралось уже 37 душ, и с каждым днем их число будет увеличиваться. Невозможно приставить персонального наблюдателя к каждому. Выборочная проверка на предмет подозрительного поведения — вот всё, на что приходилось полагаться.

И, конечно, главное: неукоснительный присмотр за так называемыми «сигнальными пунктами», которые благодаря герою Рутковскому все известны. Едва лишь кто-то из «кандидатов» там объявится (а должен же таинственный брюнет доложить Лансфорду о прибытии), тут ему и конец. Именно таким манером в разное время были установлены четверо вражеских агентов. Ни один из них не арестован, все гуляют на свободе и не догадываются, что взяты под плотную опеку.

Слава богу, опыта накопилось достаточно, чтоб не делать грубых ошибок, как случалось вначале. Изъять установленного лазутчика нетрудно, но взамен пришлют другого, да еще Рутковского можно подставить под подозрение. Нет уж, брать будем всех разом, накануне нового штурма — чтобы оставить противника перед сражением без глаз.

За полгода своей неприметной, но необходимой для Севастополя службы штабс-капитан собрал очень недурную команду. К сожалению, штатное расписание выделя-

ло всего сорок вакансий, притом ни одной офицерской. Людей жестоко не хватало, уровень их образования составлял желать лучшего, но все сотрудники были на подбор. Происхождение значения не имело — только толковость. Увидит штабс-капитан где-нибудь смышленного, предприимчивого человечка — сразу тянет к себе. Служили у него и татары, и казаки, и греки, и полицейские, но охотней всего, разумеется, в агенты поступали солдаты и матросы с бастионов. Всё от смерти подальше.

Сам-то штабс-капитан, будь его воля, предпочел бы воевать не в тылу, а на передовой. Смерть его несколько не пугала — за жизнь он несколько не держался. Как посмотрится в зеркало (никуда не денешься, надо же бриться), первая мысль: зачем такому уроду жить на свете?

Вот и нынче, стерев с лица мыло, он поглядел на себя с привычным отвращением. Ну и харя! Никак не привыкнуть.

Нос сворочен на сторону, пустая глазница ввалилась.

— Что подмигиваете, ваше кривоглазие? Что хлюпаєте, ваше кривоносие? — сказал штабс-капитан (как большинство одиноких людей, он иногда разговаривал сам с собой). — Девятый час, пора. О, великий и могучий хан Аслан-Гирей, одалиски уже собрались у фонтана. Им не терпится лицезреть вашу лучезарную красу.

Голос из-за поврежденной носовой перегородки тоже стал гнусавым, противным. Девять месяцев назад Аслан-Гирей попал в плен, а перед тем был избит прикладами чуть не до смерти. Сломанная рука срослась, ребра тоже, но правый глаз вытек, а нос, некогда тонкий и даже изящный, съехал вбок. Галантные французы щедро оплатили диверсанту за испорченный ракетный станок.

Глупее всего, что жертва была впустую. Союзники понавозили новых ракет, и ничего такого уж таинственного

или особенно ужасного в этом изобретении не обнаружилось. От любого ядра, тем более бомбы ущерба больше, чем от зажигательного снаряда, лупящего по принципу «на кого бог пошлет».

Но иногда штабс-капитан говорил себе, что зряшных жертв не бывает. Не так важно, вышла ли из твоего поступка практическая польза. Важно, что ты его совершил.

А чем еще было утешаться?

Из плена-то он, как только смог передвигаться, сбежал. Это было нетрудно. Помогли местные татары, продававшие французам продовольствие, фураж и хворост. Раздор между русскими и франкскими гяурами предпринимчивых горных жителей занимал лишь как источник наживы, но к потомку Гиреев они отнеслись с почтением и бережно переправили штабс-капитана через Инкерман к своим.

На батарею Аслан-Гирей не вернулся. Ему предложили занять должность помощника обер-квартирмейстера войск Севастопольского гарнизона, но у этой службы скучным было только название.

Командование столкнулось с серьезной проблемой. Осада затягивалась, и стало ясно, что о расположении и планах противника мы знаем недостаточно. В главном штабе не существовало подразделения, которое собирало бы сведения о неприятеле.

Аслан-Гирей не желал превращаться в ловца шпионов, еще менее того — в их попечителя. Он хотел одного: вернуться на бастион и там погибнуть, потому что скверно жить на свете, когда из красавца, на которого заглядывались дамы и барышни, становишься уродом. Во взглядах посторонних штабс-капитан читал (а может быть, воображал) отвращение или, того хуже, жалость.

Однако отказаться счел невозможным. Начальники были правы: он действительно знал положение дел у врага лучше других, ибо провел в плену два с половиной месяца; и кроме того, в силу ханского происхождения, был для крымчаков авторитетной фигурой и мог создать из них сеть лазутчиков.

Вскоре Аслан-Гирею пришлось взять на себя и противодействие шпионажу. Жандармы, к чьей компетенции это относилось, привыкли к отысканию политической крамолы в собственных рядах, а к борьбе с настоящим противником оказались малоспособны. И уж совсем не по плечу голубым мундирам была тонкая работа с двойными агентами, а таких у Аслан-Гирея вскоре появилось немало, и пользы от них выходило больше, чем от обычных разведчиков.

Добрившись и спрыснувшись кельнской водой, штабс-капитан повязал на лицо черную шелковую повязку, надел вычищенный денщиком мундир, сверкающие сапоги, еще раз погляделся в зеркало. Если посмотреть с отдаления — не такое и страшилище. Но он знал, что на отдалении не удержится, непременно подойдет. Нужно лишь дожидаться, когда зайдет солнце. При милосердном свечном освещении кривоносие до некоторой степени скрадывается тенями.

Аслан-Гирею полагалась персональная палатка — большая, удобная. В штабе многие завидовали. Ворчали, что майоры и подполковники, бывает, по двое и по трое живут. Не объяснишь ведь всякому, что палатка одновременно является канцелярией и в запертых железных шкафах хранятся бумаги, которые абы кому видеть не положено.

Палатка соединялась парусиновым коридором со штабным шатром. Через него Аслан-Гирей и вышел, чтобы по пути просмотреть свежие донесения с бастионов.

Дежурные офицеры умолкли, когда он появился. Штабс-капитан к этому привык. Знал, что сослуживцы его не любят и побаиваются: не собутыльничает с ними, не болтает о пустяках, всегда сух и не очень понятно, чем, собственно, занимается.

Но и прежде, когда Аслан-Гирей служил в артиллерии, наравне с другими, и еще не конфузился своего увечья, было примерно то же.

Никогда другие офицеры не относились к нему как к своему. Он был чужой, чуждый. И чувствовал это каждый час — с того дня, когда одиннадцатилетним покинул родительский дом.

Казалось, за всю жизнь он не совершил ни одного прилюдного поступка, не произнес ни одного слова без мысли: я не могу сделать ничего такого, что может быть истолковано против мусульман или татар. Быть таким же, как окружающие, — это представлялось Девлету Аслан-Гирею недоступной роскошью. Он должен быть безукоризнен, на него смотрят иными глазами. Однажды он познакомился с офицером-евреем и был неприятно поражен, заметив, что тот держится точно так же.

Что значит быть татаринном, когда ты сформировался в Петербурге, в кадетском корпусе? И что значит быть мусульманином, если ты рос в семье, исполняющей обряды только по привычке, а потом вовсе отдалился от религии? Да, арабские молитвы вызубрены наизусть с детства, но они не более чем набор звуков. И всё же переменить веру, как уговаривали доброжелатели-учителя, а потом командиры, было немыслимо. Если вера имеет какое-то значение, она как кожа: в какой родился, в той и умрешь. Не змеи же мы, в самом деле?

За все годы учебы в корпусе, Дворянском полку, артиллерийской школе Девлет ни разу не побывал дома. Семья была многодетная, денег на сантиментальные тра-

ты не доставало. Первый раз он наведлся в Крым уже в гвардейском мундире, получив подъемные. И поразился, насколько всё в отчем доме показалось ему странным. В Петербург он вернулся с облегчением.

Как ни странно, мусульманство и татарство в гвардии оказались кстати: разномастность придворного офицерства должна была наглядно демонстрировать многоцветие и пышность имперских земель. Карьера потомка крымских ханов вначале складывалась превосходно, тем более что службист он был отличный и артиллерийское дело любил.

Роковой ошибкой стало прошение о переводе в действующую армию, когда на Дунае начались военные действия против турок. Прежний Девлет был честолюбец; как и другие гвардейцы, надеялся выслужить чин, украсить грудь «владимиром», а повезет — так и «георгием». Однако то, что помогало в столице, в армии стало непреодолимой помехой.

Очень скоро, чуть ли не в самый первый день, произошел неприятный казус: командир батареи в беседе с глазу на глаз попросил своего помощника не сотворять намаз на глазах у подчиненных. Это-де смущает солдат, для которых нынешняя война — святая битва христиан с басурманами. Когда Аслан-Гирей не послушался, от него при первой возможности избавились.

Едва высадились союзники, он перевелся из резерва в Севастополь, но здесь было еще тяжелей. О крымских татарах в осажденном городе шла плохая слава — считалось, что они сочувствуют врагу, хотя тех, кто сохранил верность России, было во много раз больше.

Опытных артиллерийских офицеров не хватало, но для штабс-капитана гвардии не нашлось места ни на одной батарее. Еле взяли в пехоту, командиром роты.

По высочайшему указу каждый месяц службы в Севастополе засчитывался за год. Те, кто воевал с начала оса-

ды и не убыл по ранению, успели подняться на два чина, но Аслан-Гирей все торчал в штабс-капитанах.

Успешное отражение июньского штурма в известной степени было его заслугой: французы поперли напролом, поверив ловко подброшенным сведениям о слабости русских позиций на Корабельной стороне. Обер-квартирмейстер представил своего помощника к ордену Святого Георгия, но начальник штаба генерал Коцебу прямо на прошении изволил начертать шутку: «На что мусульманину крест?»

— Может быть, все-таки окреститесь? Ведь формальность, — сказал Девлету начальник, любивший бравировать вольнодумством. — Какой вы мусульманин? Право, очень облегчили бы себе жизнь.

— В Коране сказано: выбирая дорогу, человек должен идти в гору, а не под гору, — ответил советчику Аслан-Гирей с нарочитой цветистостью (цитату из Корана он выдумал). — Мы не вольны в выборе своего кисмета, и на всё воля Аллаха.

Аллаха так Аллаха — остался без белого крестика.

* * *

Идти было недалеко: по «Корниловскому проспекту» (как называли проход между штабными шатрами) на «Андреевскую» (с одной стороны — склады провиантского ведомства, с другой — бараки и длинные палатки Андреевского госпиталя). Дальше ровными рядами шли украшенные ветками ресторации и плетеные балаганы магазинов («Гостиный двор»), а потом «Земляной город» — хаотичное нагромождение землянок и глинобитных хибар, куда переселились с разбомбленной Южной стороны севастопольские обыватели.

Штабс-капитан свернул много раньше. По вторникам и субботам, если была возможность, он посещал вечера, устраиваемые сестрами Андреевского госпиталя, а нынче был как раз вторник.

Много раз Девлет обещал себе отказаться от этой мучительной привычки. Но, как всякое пагубное пристрастие, она была цепкой. Мужчина, долго находящийся на войне, довольно скоро начинает понимать, что всё лучшее, истинно ценное в жизни связано с женщинами, и, может быть, худшая из мерзостей войны заключается в том, что там нет места прекрасному полу. В самом Севастополе к июлю месяцу женщин не осталось вовсе. В Северном городке были матросские жены и непотребные девки. Дам из общества (а только их с полным основанием следует считать «прекрасным полом») встретить можно было только на госпитальных *soirée*. Шанс свободно бывать там для обычного обер-офицера вроде Аслан-Гирея являлся драгоценной привилегией, и, если б не одно особенное обстоятельство, он посещал бы эти милые вечера с удовольствием: не ради флирта (с его-то рожей!), а просто чтобы посмотреть на милосердных сестер, послушать их мелодичные голоса и хоть немного оттаять сердцем.

Вот с сердцем-то и возникала проблема. Оно не оттаивало и не размягчалось, а наоборот стискивалось и саднило. Бросить надо было эти визиты, бесповоротно.

Правда, три последних раза, включая и сегодняшний, штабс-капитан отправлялся на *soirée* как бы с индульгенцией: не потакая душевной слабости, а по долгу службы.

Восемь дней назад в госпиталь прибыл некто мистер Арчибальд Финк, подданный Северо-Американских Соединенных штатов. Он был из числа иностранных лекарей, поступивших на русскую службу. При острой не-

хватке врачей военно-медицинское ведомство охотно принимало и щедро оплачивало таких добровольцев. Особенно много приезжало американцев — эта далекая страна, в отличие от Европы, относилась к России с сочувствием. Вероятнее всего, симпатия объяснялась не столько русофильством, сколько застарелой англофобией, но, как говорится, враг моего врага — мой друг.

Лекарь из города Бостона, жители которого некогда устроили англичанам знаменитое чаепитие, попал в поле зрения штабс-капитана по четырем причинам: во-первых, черноволос; во-вторых, тридцати лет от роду; в-третьих, тонкого сложения; в-четвертых, подходящего роста — два аршина и примерно три вершка. В связи со своим англоязычием Финк угодил на особо пристальный учет, а кроме того из подорожной явствовало, что прибыл он из Петербурга. Правда, русского языка американец не знал, но ведь мог и прикидываться?

Чем больше Аслан-Гирей приглядывался к волонтеру, тем меньше тот ему нравился. Возможно потому, что все остальные были прямо-таки без ума от душики-американца. Общительный, улыбчивый, Финк как-то подозрительно быстро, в несколько дней, научился смешно, но понятно лопотать по-русски и обзавелся невероятным количеством знакомств. Даже Агриппина его отличает, а уж Финк не теряется — так подле нее выюном и крутится.

Не в том дело, всякий раз одергивал себя Девлет, когда мысль сворачивала в эту сторону. Чушь! Лекаришка — несомненный «кандидат», Агриппина же тут совершенно не при чем.

Но едва войдя в просторный шатер, все стенки которого из-за духоты были приподняты, и по привычке отыскав взглядом Иноземцову, штабс-капитан нахмурился. Сердце у него ёкнуло, так что насчет «чуши» был самообман.

Американец откусывал яблоко и говорил что-то веселое. Его зубы казались очень белыми по контрасту с короткой черной бородкой без усов (у нас так никто не выбривается). А Иноземцова слушала и улыбалась. Девлету она никогда не улыбалась, она вообще очень редко улыбалась — а тут пожалуйста!

Что чертов Арчибалд к ней липнет, это неудивительно. Другие сестры похожи на монашек — постнолицы, некрасивые, большинство немолодые. Но даже если б все они были юными красотками, разве может кто-то сравниться с Агриппиной Львовной?

Как обычно, Девлет отошел в темный угол шатра и оттуда, почти невидимый в тени, стал смотреть на Иноземцову. Его б воля — каждый миг жизни только этим и занимался.

Поганый у Аслан-Гирея был кисмет. Как у горбуна Квазимодо из мелодраматического сочинения господина Гюго. Худший из уродов полюбил прекраснейшую из женщин. Притом он был уродом с дополнительным обременением, а она — красавицей на пьедестале безнадежной недоступности.

Агриппина благоговейно лелеет память своего героического супруга, прочие мужчины для нее не существуют. Останься Девлет таким же, как до увечья — все равно не посмел бы подвергнуть эту святую верность испытанию.

И что бы он мог ей предложить? Перейти в ислам и сочетаться с ним мусульманским браком? Невообразимо. Ведь сам же он не смог бы отказаться от веры, в которой вырос, даже ради любви. Кому нужна любовь веротступника? Предал Бога, предаст и любовь.

Однако кто сказал, что любовь насытившаяся выше любви голодной? Несказанное счастье уже то, что на све-

те есть Агриппина, что он с нею знаком и что она считает его своим другом. На нее можно смотреть, с ней можно говорить, а потом вспоминать каждый миг общения. Была же у средневекового рыцаря Прекрасная Дама, которой он служил, не помышляя о плотской близости?

Прошло несколько минут, прежде чем Девлет смог оторвать взгляд от Иноземцовой и присмотреться к ее окружению.

И здесь выяснилось, что Агриппина Львовна стоит не только с мистером Финком — по другую сторону кадки с фикусом стояли еще двое, военный и штатский. Женщина улыбалась кому-то из них, а вовсе не американцу.

Сестры очень старались украсить свой «салон» любыми подручными средствами, и по меркам Северного городка шатер выглядел в высшей степени презентабельно. Кроме тропических растений здесь было несколько статуй и декоративных колонн, привезенных из каких-то севастопольских особняков, от которых, вероятно, остались одни развалины. Столы вместо скатертей покрыты простынями, зато самовары и чайники сверкают начищенным серебром — сервиз был из Морского собрания, тоже разбитого снарядами.

Чай все пили стоя, поскольку настоящих стульев все равно не достанешь, а самодельные скамьи с табуретками испортили бы всю *ambiance*. Кто-то из петербургских сестер, вхожих в большой свет, рассказал, что это теперь модно и называется *à la fourchette*: гости не прикованы к своим непосредственным соседям по столу, а могут свободно перемещаться.

Вот Аслан-Гирей и переместился, чтобы рассмотреть остальных собеседников Агриппины. Очень кстати рядом оказалась мохнатая пальма, за которой он удобно пристроился.

По интересному совпадению военный с аксельбантами, стоявший рядом с американцем, тоже был из «кандидатов» — правда, уже снятых с подозрения.

Флигель-адъютант Лузгин, изящный и манерный господин с напomaженными черными височками, прибыл из Петербурга в самый первый день охоты на броне-тов. Он состоял при важной персоне — генерала Врев-ского, личного посланца государя. Девлет сразу же взял Лузгина под особенный контроль, потому что под-полковника сопровождал лакей-шотландец, с которым столичный хлыщ объяснялся исключительно по-англий-ски. Очень скоро Аслан-Гирей создал повод для лично-го знакомства с перспективным «кандидатом». Изобра-зил гвардейца, желающего узнать петербургские ново-сти и расспросить о сослуживцах. Флигель-адъютант моментально распознал человека не своего круга. Раз-говаривал холодно, не скрывая желания побыстрее от-вязаться от докучного собеседника. Девлету хватило нескольких минут, чтобы прийти к твердому заклю-чению: этакий пустельга шпионом быть не может и во-обще ни на что не годен, кроме как состоять декора-тивной болонкой при начальстве. Потом пришел ответ из столицы на секретный телеграфный запрос: в нача-ле июня Лузгин находился в Царском Селе и разгули-вать по английскому редуту с Лансфордом никак не мог. Из списка Рутковского флигель-адъютанта следовало вычеркнуть.

Нет, Агриппина Львовна улыбалась не Лузгину, а тре-тьему.

Он тоже оказался брюнетом. Невысок. Кажется, мо-лод. Одет в штатское.

Кто такой? Прежде Аслан-Гирей его здесь не видел. Врач из новых? Нет, слишком элегантен.

Как он смеет так лениво смотреть на Агриппину Львовну, особенно когда она улыбается?!

Чертовски неприятное лицо! По брезгливой складке губ видно, что отменный сноб и много о себе понимает.

Девлет подошел к госпоже Лаптевой, начальнице милосердных сестер, с которой находился в самых добрых отношениях. Поговорили о том, что вечера становятся всё многолюдней.

— Да, мы популярны, у нас собирается *сгème de la сгème* лагерного общества, — сказала Евдокия Захаровна, вдова тайного советника, с иронической улыбкой, но было видно, что она гордится успехом салона. Вряд ли в Петербурге она могла залучить в гости столько блестящих мужчин. На десяток сестер приходилось втрое больше кавалеров. В их числе блистали эполетами два генерала, адъютантов же было с полдюжины.

Перешли на обсуждение новых лиц, и вопрос насчет черноволосого сноба прозвучал вполне естественно.

— Это барон Бланк, — ответила Лаптева. — Он у нас впервые, но сразу видно человека с привычкой к свету.

Ах вот это кто! Положительно сегодняшний приход на *soirée* не напрасен.

Барон Бланк Александр Денисович, прибывший из Петербурга вчера, значился в «списке брюнетов», да еще с вопросом напротив пометы «по личной надобности». Какая, интересно, может быть личная надобность в осажденном городе? Аслан-Гирей собирался так или иначе разъяснить себе непонятного туриста. А вот кстати и случай.

Забыв о робости (дело было не личное, а служебное), штабс-капитан направился прямо к Иноземцовой — буд-то только что ее заметил.

— Добрый вечер, Агриппина Львовна!

— А я уж беспокоилась, где вы, Девлет Ахмадович.

Он поцеловал ей руку, следя за тем, чтоб ненароком не коснуться губами кожи (от этого, он знал, темнеет в глазах), коротким поклоном поздоровался с флигель-адъютантом и американцем, вопросительно взглянул на Бланка.

Разумеется, Иноземцова их познакомила.

— Вы, верно, доктор? — без интереса спросил Аслан-Гирей.

Так же равнодушно, но впрочем вежливо барон ответил, что он инженер и назначен для особых поручений к Тотлебену.

Загадка разрешилась: приехал по своей воле или по личному приглашению генерала, а должность получил уже на месте. Такое случается.

Теперь неплохо бы выяснить, отчего Агриппина Львовна смотрит на чопорного инженера с улыбкой. Чем ей угодил сей малоприветливый господин?

Но в следующую минуту барон перестал вызывать у штабс-капитана активную неприязнь и достиг этого очень просто: слегка поклонившись, отвел флигель-адъютанта в сторону. Конечно, трудно понять, как может человек променять общество Иноземцовой на тет-а-тет с пустобрехом Лузгиным, но хозяин — барин.

Американец, кажется, тоже был рад, что ряды конкурентов поредели. Штабс-капитана за соперника он не считал.

— *Trudni operation sevodnya, n'est-ce pas?* — сказал он, мешая русский, английский и французский. — *No vy, Agrippine, pomogal ochen horosho, absolument parfait!*

И дальше застрекотал уже на одном французском, хоть и с ужасным квакающим акцентом: про какую-то мудреную операцию на берцовой кости с отсечением гангренозных тканей. Иноземцовой слушать врача было интересно, Девлет же почувствовал себя лишним.

Чтоб не терять времени зря, можно было пощупать нового «кандидата»: что за человек? Хватит торчать столбом подле Агриппины.

Очень кстати Девлет поймал на себе взгляды Лузгина и инженера: кажется, они говорили о нем, причем флигель-адъютант смотрел неприязненно, а барон изучающе. Что ж, к брезгливо-любопытствующим взглядам Аслан-Гирей привык. Как поется в оперетке «Алжирский дей»: «Мой черный лик ужасен и свиреп».

Поклонившись, он подошел к собеседникам.

Адъютант сразу же полуотвернулся, сделав вид, будто увлечен беседой, но Аслан-Гирей, когда нужно, умел быть толстокожим. К тому же Бланк продолжал смотреть на штабс-капитана, это облегчало задачу.

— Я вижу, господа, вы разговариваете о чем-то интересном?

Они переглянулись.

— Подполковник рассказывает о чинах штаба, — после короткой паузы ответил барон.

Лузгин пожал плечами, как бы давая понять, что своих суждений не скрывает и готов повторить их перед кем угодно.

— Я сказал, что начальник штаба Коцебу is a man of great cunning¹, а мой патрон барон Вревский — c'est un homme du grand esprit². — Английские и французские фразы он, надо полагать, ввернул нарочно, думая, что штабс-капитан их не поймет. — Именно в таких помощниках и нуждается князь Горчаков, которому, увы, недостает ни cunning, ни esprit.

Обращался он к Бланку, демонстрируя, что не признает штабс-капитана равноправным собеседником и желал бы поскорей от него избавиться.

¹ Человек большой хитрости (англ.).

² Человек большого ума (фр.).

Но Аслан-Гирей лишь встал поудобнее, облокотившись на столб, и сделал вид, что поражен резкостью флигель-адъютанта, хотя для того чтоб критиковать главнокомандующего большой смелости не требовалось — на медлительность и нерешительность князя роптал весь Севастополь.

— Командующему армией нет обязательности быть умным и хитрым, — сказал Бланк, будто о чем-то давно известном. Речь у него была странноватая. Не то чтобы неправильная, но будто со скрипом невидимых шестеренок. — От командующего потребна иная характеристика: мудрость. То есть умение смотреть вдаль, поверх моментальных обстоятельств.

— *Mais écoutez*¹, вся война состоит из «моментальных обстоятельств»! — воскликнул Лузгин.

— Лишь на нижнем уровне. Хитрым должен быть начальник тактического звена. Начальнику соединения надлежит быть умным, то есть владеть оперативным искусством: рассчитывать свои действия вперед, предугадывать демарши противника. Верховный же вождь может не вникать в мелочи, но обязан обладать стратегическим даром: ясно понимать ход всей войны, сообразуя каждый свой поступок с генеральной целью. В идеально устроенной армии главнокомандующий мудр, над корпусами и дивизиями начальствуют умники, а полки доверены хитрецам. При этом хитрец часто бывает неумен и тем более немудр; умник нехитер и немудр; мудрец нехитер и, увы, неумен. Это нестрашно. С подобной гарантией армия победит, притом без лишних жертв.

Лузгин глубокомысленно нахмурил лоб, а затем лукаво улыбнулся. Видимо решил, что барон это высказал не всерьез, а в качестве парадокса. Девлету же подумалось,

¹ Но послушайте (фр.)

что при кажущейся парадоксальности сентенция Бланка очень точна. Беды и ненужное кровопролитие на войне обычно возникают из-за того, что наверх пробиваются хитрецы и отдают приказы умным. Мудрецы же либо вовсе не попадают в армию, либо не могут сделать в ней карьеры.

— Ну, мудрым князя Горчакова, я полагаю, вряд ли кто-нибудь назовет, — сказал Аслан-Гирей вслух.

Подполковник выразительно на него покосился: что дозволено Юпитеру, недозволено быку. И еще в этом взгляде читалось: «Оставишь ты нас в покое или нет?»

Аслан-Гирей адъютанту ласково улыбнулся и остался на месте.

— Надобно поприветствовать графа. Он на меня уже дважды посмотрел, неловко, — сказал тогда Лузгин, кивнув на седенького генерала, лакодившегося кулебякой. — Мы, барон, договорим после.

Штабс-капитану он едва кивнул.

— Любопытно о войне рассуждаете, — сказал Девлет. — Это вы сами такую теорию придумали?

— Нет. — Бланк смотрел куда-то в сторону. — Прочел в древнем китайском трактате о военном искусстве. Наука войны от века к веку делает прогресс лишь на тактическом и оперативном этапах, а на верхнем, стратегическом этапе остается неизменной.

На Иноземцову — вот куда он смотрит!

Аслан-Гирей не сдержался.

— Я вижу, Агриппина Львовна произвела на вас впечатление. Желаете приударить? — язвительно спросил он. — Должен предупредить. Многие пытались взять эту крепость, но она вроде Севастополя.

— Господь с вами! — Бланк уставился на него с удивлением — и, кажется, искренним. — Крепости, которые я желал бы завоевать, совсем другого сорта... — Он сно-

ва с интересом поглядел на Иноземцову. — В самом деле, многие пытались? Для флирта с такой дамой потребность отчаянность. Или же полное отсутствие воображения. Это женщина не похожая на других. С земли до нее не дотянешься. Тут, вероятно, надобны крылья. Впрочем, не берусь судить. Дело не моей компетенции.

— И уж тем более не моей. С такою рожей, как у вашего покорного, на красавиц не заглядываются, — хмуро молвил Девлет, подумав: насчет земли и крыльев верно подмечено. Острый господин.

А барон взял, да удивил его в третий раз. Прищуриив холодные глаза, внимательно рассмотрел кривой нос штабс-капитана, черную повязку.

— Вы ведь не барышня, чтобы делать пожизненную трагедию из деформации лица? Если травмы являют для вас серьезную проблему, от них нетрудно избавиться.

— Как же это? Новый глаз не вырастет, нос на место не встанет.

— Глаз, конечно, не вырастет, но можно заказать стеклянный. В Англии делают очень хорошие протезы, идеально подбирают цвет. Отличить трудно. А нос поставить на место очень даже можно. Европейские врачи это умеют. Ринопластическая операция болезненна, но несложна.

— Какая операция?

— Ринопластическая. Неправильно сросшийся нос ломают, устанавливают правильно. Через месяц ничего не видно. Можете поговорить с мистером Финком. Из беседы с ним я понял, что он очень attentивно следит за новинками медицинской науки.

Аслан-Гирей молчал, потрясенный.

От уродства, которое он считал нестираемой метой на всю жизнь, можно избавиться?! И так просто?! Немного боли, месяц ожидания — и лицо делается прежним?

Его вдруг охватила паника, и он не сразу догадался, чем она вызвана.

«Я не хочу этого», — вот что он понял вначале. И, поскольку привык быть с собой честным, вскоре нашел ответ, почему не хочет.

Уродство подобно клетке, которая держит взаперти надежду. Страшно вообразить, что случится, если клетка распахнется. Исчезнет половина резонов, по которым он не осмеливается мечтать об Агриппине Львовне. Но вторая половина никуда не денется: ее верность, его мусульманство...

Нет уж, пусть лучше все остается, как есть.

СТРЕЛА, ЛЕТЯЩАЯ К ЦЕЛИ

Нет большего счастья, чем ясно понимать цель — Великую Цель и притом видеть ее так ясно. Покидая Балаклаву, Лекс отчетливо услышал звон тетивы, посылающей его вдаль, за горизонт. Подобно стреле, пролетел он над половиной континента, и вот мишень уже совсем близко. Ничто не остановит стремительного полета. Стрела, конечно, может переломиться от сопротивления воздуха или разбиться о непреодолимую преграду, но только не бессильно упасть на землю.

Лексу казалось, что вся его предшествующая жизнь служила лишь прелюдией к нынешним событиям. Один человек, если он силен, бесстрашен и предприимчив, способен изменить ход истории, подстегнуть ее хромающую рысь, повернуть чертову клячу в нужном направлении.

Всё происходило быстрее и легче, чем можно было надеяться. Начальник инженерных работ на Корабельной стороне, противостоящей английским позициям, пол-

ковник Геннерих отнесся к нежданному-непрошенному соглядатаю ревниво и с подозрением (Василий Карлович вообще был человек тяжелый и мало кому доверявший), но можно обойтись и без симпатии заместителя, когда тебе благоволит высшая инстанция. Тотлебен же, кажется, вообразил, что столичный барон — доверенное лицо великого князя. Это при покойном государе Низи не считался фигурой, а при новом императоре он обрел вес и влияние; честолюбивый Эдуард Иванович несомненно связывал с молодым шефом большие надежды.

А кроме того генерал составил себе высокое, даже преувеличенное представление об инженерных дарованиях своего нового порученца. Тотлебену казалось поразительным, что молодой человек с гражданским дипломом, никогда прежде не бывавший на войне, так мгновенно усвоил всю сложную структуру севастопольских фортификаций и сразу же начал делать компетентные замечания. Откуда генералу было знать, что Лекс все эти бастионы, реданы, апроши и ложементы, особенно Корабельной стороны, за время осады изучил, как собственную ладонь?

Но если Эдуард Иванович был о своем помощнике самого лестного мнения, то Лекс относился к достоинствам прославленного севастопольского героя со скепсисом. Тотлебен несомненно был выдающимся военным инженером: обладал и знаниями, и стратегическим видением, и феноменальным чутьем. Но честолюбие значило для него больше, чем интересы дела. Руководить работами на передовой из далекого тыла, основываясь лишь на донесениях помощников и адъютантов, в сложных севастопольских условиях было совершенно невозможно. Генерал должен был передать полномочия одному из заместителей еще месяц назад, сразу после ранения, однако не пожелал ни с кем делиться славой и теперь, влезая во

всякую мелочь и считая свое мнение единственно верным, только мешал. Пожалуй, для осажденного города было бы лучше, если б французская пуля уложила саперного гения насмерть.

Но решение трудной задачи, стоявшей перед Лексом, благодаря этому ранению существенно облегчилось. Каждый день Бланк бывал на хуторе с докладом, и генерал откровенно — гораздо охотнее, чем с военными — обсуждал с молодым человеком все насущные проблемы. Чаще и озабоченней всего Тотлебен говорил на тему, которая больше всего интересовала Лекса: о самом уязвимом участке обороны.

Невероятно, но уже на пятые сутки после вступления в должность Бланк выяснил всё, что хотел. Значит, правильно он сделал, что не стал выходить на связь сразу после прибытия. Теперь он мог сообщить Лансфорду сразу обо всём.

Самое главное и самое ценное сведение заключалось в следующем.

Малахов курган, очевидный ключ к городу, напрасно считается у союзников неприступной позицией. У стен этого укрепления во время июньского штурма полегли тысячи французов, но лишь потому, что генерал Пелисье действовал неправильно. Тотлебен сам рассказал новому помощнику, как должно поступить неприятелю, чтобы взять Малахов.

Первое: атаковать не на рассвете, как всегда поступали союзники, а в середине дня, когда русское командование, успокоившись, отводит пехотные резервы в далекий тыл, дабы избежать потерь от артиллерийского огня.

Второе: штурм следует произвести в лоб, стремительным броском. Этот вариант считается у союзников невозможным, поскольку, по сведениям разведки, с фронта перед Малаховым зарыты камнемётные фугасы на

гальваническом приводе — атакующие колонны взлетят на воздух. Но эта информация не соответствует действительности. Грунт там слишком твердый, заложить мины не получилось. Поэтому Тотлебен приказал произвести лишь имитацию подземных работ, а ложное сообщение о фугасах запущено русской разведкой.

Эдуард Иванович очень беспокоился за курган. Для усиления уязвимой точки он планировал возвести две дополнительные батареи, которые прикроют Малахов с флангов, однако на завершение работ требовался минимум месяц. До той же поры рассчитывать можно было только на помощь армии Горчакова, стоявшей в нескольких верстах к северо-востоку, за холмами и Черной речкой. Союзники очень рисковали, затеяв штурм кургана, имея у себя на фланге эту угрозу. Выдержки Малахов первую атаку — и Горчаков двинет войска на подмогу, зажав нападающих меж двух огней.

Ко всем этим фактам Лекс присовокупил собственную рекомендацию: со штурмом хорошо бы поторопиться, но перед этим — прав Лансфорд — следует отвлечь или еще лучше обескровить армию Горчакова. Лишь тогда успех дела можно будет считать полностью обеспеченным.

В субботу 9 июля, вскоре после заката, в условленный для сеансов час, Бланк был между Большим Реданом и Малаховым курганом, в полуразрушенной каменной сторожке, разбитая стена которой выходила на английские позиции. Отсигналив фонарем закодированное послание, Лекс переместился в другое место, расположенное выше по холму. Согласно инструкции, полагалось выждать, не будет ли незамедлительного ответа.

Накрапывал дождь. Сзади кучно светились огни Севастополя; впереди, за черной полосой нейтрального пространства, горели костры английских биваков. Время от

времени то здесь, то там багровыми сполохами выстреливали пушки. Людей в этом зловещем, сумрачном мире будто не было вовсе. Лишь огоньки да искры, как если бы из мрака пялились сотни и тысячи хищных глаз — немигающих или помаргивающих.

Через полчаса ожило еще одно око — в той точке, за которой наблюдал Лекс. Оно замерцало короткими и длинными вспышками. Значит, Лансфорд находился на сигнальной станции и ждал, когда же наконец агент выйдет на связь. Последний контакт с Бланком был в Симферополе, почти неделю назад, через курьера.

Лекс записал в блокнот длинную светограмму, а раскодировал ее уже на обратном пути, когда плыл через рейд с Южной стороны на Северную.

«Releived you are safe and well, — писал лорд Альберт. — Bravo for brilliant results. Pity if frogs get all the glory. — (Он имел в виду, что Малахов курган находится на французском участке и англичанам его штурмовать не доведется.) — Let them. As for luring Gorchakov out am working on that but difficult. Attack not possible before 3 or 4 weeks. Pray slow down works on Malakoff. And easy on borstch»¹.

Усмехнувшись шутке про борщ, Лекс стал думать, что можно сделать для замедления работ по возведению фланговых батарей.

Пока добирался до Северного городка, кое-что придумал. Еще и конец субботнего *soirée* в Андреевском госпитале захватил.

¹ «Рад, что с тобой все в порядке. Bravo за блестящие результаты. Жаль, что вся слава достанется лягушатникам. <...> Пускай. Что до выманивания Горчакова, работаю над этим, но трудно. Штурм невозможен ранее 3 или 4 недель. Постарайся замедлить работы на Малаховом. И не увлекайся борщом» (англ.).

При командующем инженерной частью состоял целый штаб, но далеко не все его сотрудники выезжали на передовую линию и вообще в *потустороннюю*, то есть Южную половину Севастополя, находившуюся под постоянным обстрелом. Кто-то занимался чертежами, кто-то строительными расчетами, кто-то документацией. У *посюсторонних* поездка на позиции считалась предприятием рискованным, почти героическим. Некоторые вызывались добровольно, желая отличиться. Возвращаясь, держались важно, рассказывали ужасы. Штабные остряки называли эти экскурсии игрой в «Тотлебеншпиль»: ¹ можно сорвать банк, то есть получить «аннушку» или «стасика», а можно и «продуть вчистую» — то есть вернуться на Северную сторону с транспортом свежих покойников.

Были и другие инженеры — те, что дневали и ночевали в Севастополе. Они про ужасы никогда не рассказывали, с *посюсторонними* держали себя надменно. Те, впрочем, были уверены, что любой из этих сорви-голов, будь у него возможность, отдал бы всё на свете, только бы служить в тылу.

Очень скоро, чуть не с первого дня, Лекс открыл секрет, как ладить с обоими подвидами сослуживцев. Со штабными достаточно не заноситься, не строить из себя героя только потому, что играешь в тотлебеншпиль каждый день. Отношения с большинством «окопных» инженеров тоже быстро наладились — как только те увидели, что «барончик» хоть и «шпак», но ядрам не кланяется, а в деле сведущ и всегда готов помочь советом.

¹ От нем. Todt-Leben-Spiel, «игра в жизнь и смерть».

Первая поездка на Южную сторону из-за новизны впечатлений запомнилась Лексу до мельчайших деталей. Он будто увидел мир с изнанки, заглянул в зазеркалье. Сколько раз с Инкермановских высот или Сапун-горы смотрел он в окуляр на такую близкую и совершенно недоступную бухту, где торчали мачты затопленных кораблей, дымили трубами буксиры и сновали юркие лодки. И вот сам оказался в одном из этих «тузиков», на которых чумазые матросята всего за копейку перевозили пассажиров с одного берега Большого Рейда на другой, а окрестные горы, занятые английскими и французскими войсками, стали невообразимо далекими, словно лунная поверхность. Всякому, кто решил бы преодолеть это невеликое расстояние по прямой, пришлось бы сначала пересечь границу между жизнью и смертью.

Медлительные верблюды тянули к причалам маджары, наполненные снарядами и порохом. Грузчики так же вяло перекладывали тяжелый груз в длинные баркасы. Довольно было бы одной бомбы, взявшей траекторию круче остальных, и от пристани остались бы щепки, а от людей кровавая каша, но никто об этом, кажется, не задумывался. Рядом с пороховыми мешками сидели запыленные солдаты в серых шинелях, дожидаясь переправы. Офицеры в летних пальто курили и преувеличенно громко смеялись, бравлируя друг перед другом. Мол, ничего особенного, подумаешь — передислоцироваться на Южную сторону, где неумолчно гроыхало, а во многих местах столбами стоял черный дым.

С того берега шла двенадцативесельная шлюпка, осевшая в воду по самые борта. В ней плотно, ряд на ряде, лежали мертвецы.

«Что за дикарская страна, — подумал Лекс. — Совсем не заботятся о морали прибывающих войск. Неужто нельзя было дожидаться темноты».

Но солдаты из подкрепления глядели на ужасный груз равнодушно. А пехотный капитан, бравируя, громко сказал своему субалтерну:

— Туда везут живое мясо, обратно мертвое. Большая скотобойня — вот что такое Севастополь.

И мальчишка-прапорщик рассмеялся.

«Большая скотобойня — вся ваша Россия, — мысленно ответил веселому капитану Бланк. — По-скотски живете, по-скотски подыхаете. И по-скотски равнодушны к этому».

Уже через несколько дней он ко всему этому привык. К двум нескончаемым встречным потокам: солдатской массы и военных припасов в одну сторону, раненых и убитых — в другую; к общему настроению усталого фатализма, ощущавшемуся все сильнее по мере приближения к передовой; к стуку топоров и визгу пил на берегу, где начинали строить невиданной длины понтонный мост, который должен был соединить противоположные края рейда (почему только сейчас, на одиннадцатом месяце осады?); к выплывающей навстречу громаде Николаевских казарм, где были сосредоточены все севастопольские учреждения, еще не переведенные в Северный городок; к поездке через разбитые кварталы к бастионам. На каждый из них ходила линейка, длинная повозка с номером: первая — на первый, вторая — на второй и так далее. Нижним чинам пользоваться этим транспортом не дозволялось. Последние полверсты, где снаряды падали особенно часто, нужно было преодолевать пешком.

К Малахову кургану, который наряду с четвертым и третьим бастионами считался самым опасным участком фронта, вела широкая траншея, но ею мало кто пользовался — в ней даже летом не просыхала жидкая грязь в фут глубиной. По этой трассе волокли новые орудия вза-

мен разбитых, да санитары выносили раненых. Все остальные шли поверху, пренебрегая опасностью с тем же равнодушием, которое Лекса не восхищало, а только бесило. Как же это по-русски! Вместо того, чтоб за столько месяцев замостить дно траншеи дубовыми досками или, что еще проще, засыпать щебнем, они предпочитают попусту рисковать жизнью, потому что, видите ли, жизнь — копейка, а судьба — индейка.

Сам он тоже ходил верхом, но не от лихости, а из психологического расчета. Как человеку новому и к тому же штатскому, ему нужно было поскорее составить себе репутацию у «окопных» инженеров и бастионного офицерства.

С этой задачей Лекс справился в первый же день.

Славу храбреца легче всего заслужить именно новичку, да еще «шпаку», от которого обстрелянные старожилы ожидают нервозности и глупой суетливости. Однако ни «шпаком», ни новичком Лекс не был. Он очень хорошо знал основные законы выживания в условиях позиционной войны.

Главное — ни на миг не рассеивать внимания и четко сознавать, что представляет опасность, а что нет. Кланяться пулям бессмысленно — если уж твоя, то не увернешься. Ни в коем случае нельзя долее чем на пару секунд высовываться над бруствером или надолго прилипнуть к амбразуре. У французов и англичан дежурят снайперы, их штуцеры установлены на штативах, и каждый дюйм русских позиций пристрелян.

С орудийным огнем другое. Он опасен в темное время, когда не видно траекторию снаряда. Днем же надо всё время посматривать в небо. Ядро летит секунд пять, бомба — все десять. При отличном зрении, хорошей реакции и понимании геометрии выстрела всегда успеешь укрыться.

На русских батареях, как и на английских, специальные сигнальщики следили за полетом вражеских снарядов и кричали «пушка!» или «маркела!» (мортира), а некоторые особенно глазастые даже предупреждали, куда именно ляжет попадание. Но Лекс привык полагаться на собственную зоркость. Он спокойно работал — делал замеры, давал распоряжения саперам, рисовал схемы — и вроде бы не обращал внимания на стрельбу, ловя на себе одобрительные взгляды офицеров. Но краем глаза не забывал коситься в небо, и когда (это случилось на второй день) заметил, что граната метит точнехонько в этот сектор, крикнул «берегись!», резво отбежал в сторону и упал ничком в заранее присмотренную воронку. Из всей группы саперов, рывших под его руководством блиндаж, остался цел он один.

Вся штука в том, что нетрудно сохранять бдительность, когда находишься на бастионе час или два. Но человек не в состоянии быть в напряжении постоянно, день за днем. Через некоторое время острота восприятия притупляется. В английской осадной армии провели исследование, которое определило, что начиная с третьего дня непрерывного пребывания под огнем процент потерь в войсках резко увеличивается — вследствие нервной усталости. Поэтому каждые сорок восемь часов орудийную прислугу там сменяют, давая людям отдых. У русских же артиллеристы и землекопы торчат на передовой до тех пор, пока от батареи или роты в строю останется половина — и тогда уже отводят обескровленное подразделение в тыл.

На этой проблеме и основывалась идея, как замедлить возведение дублирующих батарей на Малахове.

Инженер Бланк предложил использовать блиндированные укрытия нового образца, способные выдержать даже прямое попадание. Новостью такие блиндажи бы-

ли только для русских — у себя Лекс начал строить подобные еще зимой: тройного наката, поверху — «зеркало» из толстого железа для рикошетирования. Бастионное начальство, взглянув на чертеж, пришло в восторг. Не помешало и то, что к этому моменту Бланк уже считался на Малахове «холодной головой», то есть смельчаком высшей пробы — горячих-то смельчаков вокруг имелось в избытке.

О своей инициативе Лекс генералу не докладывал, а бастионное начальство позаботилось о том, чтобы о работах не узнал полковник Геннерих, требовавший использовать всех саперов и землекопов только для строительства батарей. Ему ввали, что дело пошло медленней из-за ужесточившегося обстрела, а между тем половина людей днем и ночью рыла новые блиндажи. Батарейных командиров можно было понять — они желали сохранить людей, а далеко в будущее не заглядывали.

Китайская стратегическая мудрость гласит: «Хочешь ослабить противника — вынуди его тратить силы на несущественное». К середине июля стало понятно, что, если новый штурм произойдет в назначенные сроки, русские никак не успеют прикрыть фланги Малахова дополнительными орудиями.

Лекс был доволен. Фактически он уже полностью исполнил задание, полученное от Лансфорда.

А между тем появился шанс добиться большего — того, о чем лорд Альфред мог только мечтать.

* * *

Дни делились на три части: утром Лекс отправлялся на передовую, объезжая очередной участок обороны, обязательно наведывался на Малахов, чтобы проследить

за строительством блиндажей, затем возвращался в лагерь и скакал к Тотлебену докладывать. Вечер проводил с кем-нибудь из штабных в ресторации или билиардной, постепенно расширяя круг перспективных знакомств.

Одно из них, первоначально казавшееся малополезным, через некоторое время приобрело магистральную важность.

Флигель-адъютант Лузгин, просивший приятелей называть его Анатодем, безусловно был существом ничтожным. Надменный с теми, кого считал ниже себя (к этой категории относились все, кто не мог принести подполковнику никакой выгоды), Лузгин был очень предупредителен с «людьми своего круга» и до приторности сладок с вышестоящими. Барон Бланк у него, очевидно, числился где-то посередине между двумя этими почетными категориями. Вроде невеликая птица, а в то же время не без загадки. Безошибочным свитским нюхом Анатодем чувствовал в немногословном инженерере некую скрытую силу и объяснял ее единственно понятным для себя образом: это человек с *сильной рукой*. От желания понравиться и произвести впечатление флигель-адъютант был болтлив. Правда, трескотня его в основном состояла из сведений пустяковых: кто против кого «копает», да кому удалось попасть в приказ на повышение. В этом отношении Лузгин мало чем отличался от других штабных.

Лекс смотрел на этих господ, озабоченных лишь собственными мелкими интересами, и удивлялся тому, насколько противоестественно человеческое общество по сравнению с природой. Там выживают сильнейшие и достойнейшие; всё слабое, хилое, робкое обречено на вымирание. В Севастополе же происходило ровно обратное. Лучшие мужчины — храбрые, стойкие, дееспособные — каждодневно гибли на бастионах. Зато самые никчемные, не способные ни на что кроме интригантства

и воровства, множились и процветали. Что же будет с этой несчастной армией и этой злополучной страной, если война затянется?

Лузгин, по крайней мере, состоял на декоративной должности, где не на чем нажиться. Но лагерь и ставка командующего кишели начальниками и чиновниками, которые рассматривали крымское противостояние исключительно как источник обогащения.

Гигантская страна, напрягая надорванные силы, перекачивала все свои денежные и материальные ресурсы в одну точку, однако в устье этого потока деловито трудились многочисленные бобры, ставя запруды, отводя в сторону каналы и каналцы. Продовольствие и фураж гнили под открытым небом, потому что интенданты искусственно создавали дефицит в расчете на «барашка в бумажке». Командиры частей кормили собственных солдат заплесневелой мукой и протухшим мясом, кладя в карман казенные средства. В какой-то из дней весь третий бастион, десятки орудий, был вынужден прекратить огонь, ибо в доставленных из арсенала мешках вместо пороха оказался песок. Один черт знает, кто и когда произвел подмену.

Изнутри Севастополя представлялось чудом, как может город — при таком тухлявом тыле и ужасном управлении — столько месяцев держаться против военной силы и промышленной мощи всей объединенной Европы.

Но бастионы стояли и оставались неприступными, пушки стреляли, подкрепления прибывали, а с севера нависала армия Горчакова, не позволяя оборвать пути снабжения и угрожая правому флангу союзников. Неудивительно, что Лансфорд считал маловероятным взятие Севастополя, пока не устранена эта угроза.

Единственная причина, по которой Лекс не прерывал знакомства с Анатолем, заключалась в том, что никчем-

ный флигель-адъютант был близок к генералу Вревскому, личному посланцу императора, и время от времени, с самым таинственным видом, рассказывал, как продвигается «дело». Это «дело», ради которого Вревский, управитель канцелярии военного министерства, прибыл в Севастополь, представляло для Бланка чрезвычайный интерес.

Оказывается, барон Вревский некоторое время назад подал царю докладную записку, в которой доказывал, что блокаду Севастополя можно разорвать одним ударом: если армия Горчакова перестанет отсиживаться на возвышенностях, а перейдет в наступление. Александр принял доклад благосклонно — государю очень хотелось верить, что одно удачное сражение способно положить конец разорительной войне. Однако решение оставлял за главнокомандующим. Вревский же был отправлен в Крым не с приказом, а с «увещанием». Этим напористый петербуржец и занимался: давил на князя Горчакова и вербовал сторонников среди старших генералов.

Лекс стал особенно внимателен к деятельности Вревского, когда Анатолий проболтался, что его патрон разработал диспозицию, которая предполагает фронтальную атаку полковыми колоннами через долину Черной речки. Вероятно, сам Лансфорд не придумал бы более верного средства угробить русскую армию. Французские позиции на левом берегу располагались на холмах, которые издали казались пологими, однако обладали пусть невысокими, но крутыми склонами; речка была неширокая, но с топким дном, а за нею тянулся довольно глубокий водопроводный канал. Отрадней же всего было то, что как раз с этого направления главнокомандующий Пелисье и ждал русской диверсии, поэтому заранее обустроил крепкую оборону. Ну а если союзники будут знать заранее о вражеском наступлении и подтянут резервы, то,

Анатолий Брусникин

учитывая, как мало царские полководцы жалеют жизни своих солдат, можно надеяться, что долина реки Черной станет могилой и для горчаковской армии, и для Севастополя.

В беседах с подполковником Лекс всячески выражал одобрение плану и даже подбросил несколько дополнительных аргументов. Например, сказал, что с инженерной точки зрения взятие Федюхиных высот (так назывались укрепленные холмы на левом берегу речки), даже если дальше никуда не двигаться, обрушит весь правый фланг неприятеля: попав под перекрестный огонь и оказавшись под угрозой окружения, враг будет вынужден эвакуировать Сапун-гору, а это равнозначно снятию осады. Глаза Лузгина блеснули, и флигель-адъютант повернул разговор на другую тему. Можно было не сомневаться, что «инженерная точка зрения» будет представлена Бревскому как собственное открытие подполковника.

Доносить Лансфорду об этом многообещающем направлении своей деятельности Лекс пока не собирался — вопрос все еще оставался нерешенным. Однако пристально следил за развитием событий.

Случилась от подполковника и еще одна польза — да какая!

Если б не болтливый Анатоль, севастопольская миссия Бланка закончилась бы, едва начавшись.

* * *

В день знакомства с Лузгиным, на самом первом *soirée*, когда флигель-адъютант прошупывал, что за птица новый знакомый, и распускал перья, демонстрируя свою осведомленность обо всем на свете, произошло вот что. Анатоль взялся презентовать приезжему «наш гос-

питальный *beaumonde*» и в саркастическом тоне прошелся по каждому из присутствующих. Лекс слушал внимательно, запоминал тех, кто может пригодиться.

— ...В общем, такой же хитрюга и интриган, как его начальник, — завершил подполковник характеристику адъютанта генерала Коцебу и качнул подбородком в сторону одноглазого штабс-капитана, с которым Лекса несколько минут назад познакомила госпожа Иноземцова. — А теперь полюбуйтесь вон на то чудище, потомка татарских ханов. Вы давеча — я по вашему взгляду заметил — не придали сему субъекту никакого значения. А зря. Знаете, кто он такой?

— Кажется, служит по квартирмейстерской части? Анатолий усмехнулся.

— Это он так представляется. На самом деле мсье Аслан-Гирей — *он m'a dit en grand secret*¹ в штабе — у нас на должности Видока. Вылавливает вражеских шпионов. Представляете, он и ко мне приняховался. Каков?

Здесь одноглазый, заметив, что на него смотрят, подошел. Коротко поговорив с ним, Лекс увидел, что человек это умный, сосредоточенный на деле. Такого следует опасаться, держать в поле зрения.

А пять дней спустя, вечером, вернувшись в лагерь от Тотлебена, Лекс встретил штабс-капитана, шедшего куда-то с Иноземцовой. Бланк заметил их первым, потому что Аслан-Гирей глядел на свою спутницу и что-то тихо ей говорил, а она его слушала, потупив взор. Можно было свернуть в сторону, но Лекс подумал: вот удобный случай получше присмотреться к ловцу шпионов. Внутренний инквизитор шепнул: «А может быть, дело в даме? Два дня не виделись». Бланк эту инсинуацию с негодованием отmel.

¹ Мне сказали под большим секретом (фр.).

Иноземцова встрече, кажется, обрадовалась. Татарин же был явно недоволен.

— Вечерний моцион? — спросил Лекс.

— Девлет Ахмадович приготовил для меня сюрприз. Ведет показывать, а что такое — не говорит, — весело сказала Агриппина. Странно, что при первой встрече он решил, будто она совсем не умеет улыбаться. — Он вечно что-нибудь придумает. Если есть время, идемте с нами.

— У барона, я уверен, имеются другие дела, — нахмурился штабс-капитан.

Но Лекс изобразил легкомысленную галантность:

— Если Агриппине Львовне угодно присоединить меня к свите, то я как рыцарь не смею отказываться.

— Мой рыцарь — Девлет Ахмадович. — Она ласково коснулась локтя спутника, и тот замигал единственным глазом. — Он меня опекает. Вот вздумал, будто мне неудобно квартироваться с другими сестрами. Предполагаю, что отыскал помещение, которое сдается внаем. В наших лагерных условиях это равносильно чуду. Я угадала?

— Сейчас сами увидите, — буркнул штабс-капитан. — Мы, собственно, пришли.

Он остановился перед беленьким глинобитным домиком в одно окно, похожим на кукольный. Ступил на резное крылечко, отпер ключом аккуратную дверь.

Внутри всё было такое же опрятное, любовно сделанное: стены в татарских коврах, пол из пласечного паркета, на тахте разноцветные подушки.

— Вышло немного по-восточному, — смущаясь, стал объяснять Аслан-Гирей, — но это из-за того, что татарское легче было достать... Тут вот маленькая комната — в шкафу посуда, самовар, спиртовой кофейник... Печка железная на угле, чтобы осенью не мерзнуть.

Лекс обратил внимание, что стол накрыт на два прибора: печенье, чашки, бокалы, бутылка вина. Зло изумился про себя: неужто этот кривоносый рассчитывает обустроить здесь с Иноземцовой любовное гнездышко? Ну и самомнение!

— Прелесть какая! — воскликнула Агриппина. — Неужели это сдается? Представляю, сколько просят за такие хоромы!

— Это выстроено специально для вас. — Штабс-капитан заговорил быстро, словно боялся, что его перебьют. — Уверяю вас, мне это ничего не стоило. Просто приехали мастера из нашего бахчисарайского имения, всё нужное привезли, в два счета выстроили. Я сам на подобный манер обустроиться не могу — на меня сослуживцы и так косо смотрят, что я один в шатре сибаритствую. А вам что же? Сами жаловались, как допекают вас соседки своей неумолчной трескотней. Да в тесноте, да без прислуги. Отсюда пятьдесят шагов до госпиталя и столько же до моего жилья. — Он показал в окно на шатер, примыкавший к штабным палаткам. — Мой Садык, который опух от безделья, будет заодно обслуживать и вас: греть воду, стирать, прибираться. Он и кухарить умеет, притом не только татарское. Он жил со мной в Петербурге... А кроме того, ежели вам понадобится любая помощь, так я чаще всего нахожусь у себя, работаю с бумагами. Почту за счастье...

Лекс подумал: «Влюблен по уши, но предлагает без задней мысли. В самом деле, рыцарь». И повысил мнение о штабс-капитане еще на несколько градусов.

У Иноземцовой на глазах заблестели слезы. Она обняла татрина, поцеловала в щеку, отчего тот сделался пунцовым.

— Девлет Ахмадович — соратник моего покойного мужа, — объяснила она Бланку со смущенной улыб-

кой. — Считает своим долгом опекать беззащитную вдову. Ну что с ним прикажете делать? А отказать — обидится.

— Зачем же отказываться? Вы еще не видели главного. — Аслан-Гирей толкнул дверцу, что вела внутрь домика. — Смотрите, какую для вас сделали туалетную комнату. Снаружи к стене дома приделана еще одна печь, для нагревания воды. Садык будет растапливать ее каждое утро, вы его и не услышите. Вода по трубам закачивается в чан, вы внизу поворачиваете ручку — и вот, пожалуйста. Такого устройства нет даже у князя Горчакова.

Он тронул ручку над металлическим тазом, в середине которого была дырка. Из крана полилась вода. Агрипина ее потрогала.

— Действительно, горячая! Какая невероятная роскошь! — восторженно взвизгнула она.

Самая обыкновенная для женщины реакция, но Лекс почему-то удивился.

— Можно наполнить ванну, — конфузясь, Аслан-Гирей показал на эмалированный резервуар. — Прислуга не понадобится, довольно прицепить к крану вот этот шланг...

— Боже, как же давно не умывалась я теплой водой, — простонала Иноземцова. — Только холодной, из кувшина... Я не вытерплю. Я должна это опробовать!

— Сколько вам будет угодно. Не спешите. Мы с бароном подождем снаружи.

Скособоченное лицо офицера просияло счастливой улыбкой.

На улице она немного померкла, но полностью не исчезла.

— Ваша заботливость о вдове командира вызывает восхищение, — сказал Лекс, потому что было ясно: Ас-

лан-Гирей слишком поглощен своими переживаниями и первым разговор не начнет.

— Я мало что могу. — Татарин говорил отрывисто. Чувствовалось, что он взволнован. — Разве что избавить Агриппину Львовну от низменных забот. Вы видели, какие у нее руки? Обветренные, в цыпках. Сердце сжимается. Раньше они были совсем другими... Месяц назад я по случаю купил пианино, доставил к ней в госпиталь. Она прекрасно играет. То есть играла. Теперь не захотела. Говорит, что пальцы огрубели. И что музыки не хочется. Перестала, мол, чувствовать музыку. — Он смотрел в сторону, а обращался будто не к Лексу, а так, в пространство. — В жизни не слыхивал ничего до такой степени трагического. Погиб муж, и музыка для нее перестала звучать. При этом ни жалоб, ни рыданий, ни сетований на судьбу

— Что за человек был ее муж?

Лексу в самом деле стало интересно.

Ответ был коротким:

— Лучший из людей, кого мне доводилось видеть.

Бланку все больше и больше нравился начальник русского контршпионажа. Действительно, похож на рыцаря — мрачного слугу чести, верного памяти своего покойного сюзерена.

Будто что-то припомнив, штабс-капитан взглянул на собеседника и вдруг переменял тему:

— В минувшую субботу я не смог быть на *soirée*. А вы были?

— Да.

— Много ли было гостей?

— Примерно столько, как во вторник.

— Кто-нибудь опоздал?

«Я», — хотел ответить Лекс, но лишь пожал плечами. Золотое правило: никогда не сообщать чужому челове-

ку, в особенности потенциальному противнику, лишних сведений, даже если они не имеют никакой важности.

— Было ли что-нибудь примечательное? — продолжал допытываться штабс-капитан. — Нет, в самом деле, кто всё-таки был?

— Я человек новый и мало кого знаю.

На крыльцо вышла посвежевшая и похорошевшая — еще как похорошевшая — Агриппина.

— На столе фрукты, печенье, вино. Предлагаю отметить новоселье!

— Благодарю, но должен вас оставить, — молвил Лекс с поклоном. — Нужно поработать с чертежами.

Лицо Аслан-Гирея просветлело, он уж, видно, и не надеялся избавиться от третьего лишнего.

Однако Бланк отклонил приглашение не для того, чтоб доставить татарину приятное. Глупо было упускать такую чудесную возможность. Пока Аслан-Гирей исполняет роль паладина при даме своего сердца, можно нанести небольшой визит в его палатку. Тем более что белый домик оттуда виден как на ладони. Врасплох не застанут.

Солнце уже давно зашло, городок погрузился в сумерки. Никакого освещения на импровизированных улицах предусмотрено не было, поэтому в жилище охотника на шпионов Лекс проник никем не замеченным. Полог прикрыл неплотно, чтоб не терять из виду освещенное окно с раздвинутыми занавесками: уединившись с дамой, рыцарь обязан заботиться о ее добром имени. Два силуэта, разделенные столом, были отлично видны.

Бланк зажег фонарь — тот самый, которым посылал сигналы. Отменно сконструированная вещь манчестерской работы: масла хватает на целый час, специальный кожух фокусирует луч и делает его незаметным со стороны.

Наскоро оглядев спартанскую обстановку жилой половины (койка, платяной шкаф, полка для оружия и амуниции), Лекс подошел к половине, служившей хозяину кабинетом. Потрогал железные шкафы — заперты. Осветил лежащие на столе бумаги.

Прямо сверху, вся исчерканная красным карандашом, лежала бумага. Бланк заглянул в нее — и остолбенел.

Кто-то обозначенный как «Нумер 4» — не шибко грамотный и, судя по почерку, мало привычный к письменным занятиям — доносил Аслан-Гирею утром 10 июля, то есть вчера:

«Ваше благородие господин штабс-капитан доношу вашему благородию о нижнеследующем.

Вчерась как затемнело а именно в четверть после восьми на пункт явился человек неизвестного звания потому был в дождевом плаще донизу и копошоне по причине дождя и лица разглядеть мочи я не имел а себя оказывать воспрещено инструкторией. Оное незнамое лицо зачало светить посредством мигания и мигало таким манером девять минут что прослежено мною по казенным часам, какие мне выданы вашим благородием. В половине по восьми незнамое лицо поднялось малость с оврага поближе к Малахову и сидело там до десяти минут десятого часу а я глаз не спускал близко не подходя и себя не объявляя. Незнамое лицо сначала ничего не делало а просто сидело. Потом достало книжечку или не могу знать и стало писать. Подымет голову и пишет. Подымет и пишет. Но капошона ни разу не сымало и лица того незнамого лица увидеть никакой возможности не было. Потом оно пошло с горки на Южную бухту и я согласно инструктории следом. На берегу оно взяло ялик и поплыло на Северную. Я тож сторговался с лодош-

ником за две с половиною копейки о чем расписку лодшника прилагаю а что она с крестом так это он вовсе неграмотный. На Северной незнаемое лицо шло споро и я едва не отстал однако же не отстал. А зашло оно в большую палатку где горели лампы и было много господ офицеров а также дамы и барышни и туда мне ходу не было. Когда же я спросимши у людей что это за гуляние мне было сказано что милосердные сестры Андреевского госпиталя со своими гостями гуляют и по субботам всегда у них так.

А больше ничего сведать не сумел потому когда господа начали расходиться дождик полил пуще и такие плащи были почитай у половины.

Нумер 4».

Внизу другим почерком — четким, округлым — написано и подчеркнуто: «Удвоить наблюдение по всем нумерам».

Тревога! Тревога! Тревога!

Читая каракули «Нумера 4», Лекс закусил губу. Оказывается, русская контрразведка следила за пунктом связи! Позавчера он только чудом, благодаря дождевику, купленному в офицерской лавке, не был опознан агентом!

Очень возможно, что все остальные точки, предназначенные для светосигналов, тоже находятся под наблюдением — даром что ли в приписке сказано про «все нумера».

То-то Аслан-Гирей выпрашивал, кто пришел на soirée позже других!

Ну, положим, были гости, явившиеся примерно в то же время или даже позже. Но если дотошный контрразведчик станет докапываться (и ведь обязательно станет), угодишь к нему в список подозреваемых, а это чертовски опасно.

Не в опасности даже дело.

Скоро может проясниться ситуация с грядущим сражением. И тогда во что бы то ни стало нужно будет известить своих об этом сверхважном решении — чтоб знали, откуда русские поведут наступление, и успели укрепить оборону.

Как передать шифрограмму, при этом не угодив в лапы врага?

Двойная задача. Не из легких.

ТЕРЗАНИЕ УМА И СЕРДЦА

Второго появления Капюшона пришлось ждать целых одиннадцать дней. Девлет уж думал, что неустановленный субъект, посылавший сигналы с пункта номер 4, больше не объявится. А ведь это почти наверняка был тот самый брюнет, о котором в свое время сообщил Рутковский.

Унтер-офицер Ляшенко, который дежурил в ночь с девятого на десятое около разрушенной сторожки на краю Докового оврага, не имел возможности определить цвет волос «незнамого лица», но рост был такой, как надо: «мне вот эдак вот досюдова», показал рослый Ляшенко пониже уха. Запросто войти в шатер, где происходило субботнее *soirée*, мог лишь кто-то из завсегдатаев, а это всё были люди из общества, с положением. Стало быть, не мелкий лазутчик, а именно что агент стратегической важности. Никаких сомнений — тот самый.

Определить в точности, кто именно в тот вечер около одиннадцати вошел в шатер, не удалось. Не получилось даже составить полный список гостей: из-за проклятого «а ля фуршетт» все перемещались с места на место. Единственное, что смог Аслан-Гирей, — это примерно уста-

новить перечень лиц, которые вообще посещают госпитальные *soigée*. Однако с учетом людей, что бывают у милосердных сестер нечасто, вышло более семидесяти имен, и то не могло быть полной уверенности, не упущен ли кто-то. Штабс-капитан сначала хотел сузить круг подозреваемых, отобрав лишь невысоких сухощавых брюнетов, прибывших в Севастополь после 20 июня, но передумал. Делать этого было нельзя. Что если сигналы подавал другой агент? Ведь нет гарантии, что враг внедрил в русский лагерь только одного высокопоставленного шпиона.

Работа по фильтрации списка гостей, отделению «чистых» от «нечистых», двигалась медленно. Сдвоенные посты попусту томились у восьми возможных пунктов связи, известных от Рутковского.

И вот, когда Девлет совсем отчаялся, капкан сработал. Хищник угодил в ловушку.

В ночь на двадцать первое штабс-капитана разбудил денщик.

— Господин, прошу извинить, но вас срочно хотят видеть. Говорят, важно, — сказал Садык. Он всегда обращался к Девлету по-татарски, когда рядом не было посторонних.

Харитонов, старший наряда, дежурившего на пункте номер три (заросли можжевельника правее третьего бастиона, на краю Лабораторной балки), был в таком возбуждении, что Аслан не сразу разобрался в его многословном, сбивчивом рассказе. Но когда понял, тоже затрясся от волнения и азарта.

Шпион установлен! Все параметры совпадают: масть, рост, комплекция, время прибытия. *Это он!*

Ночь опять выдалась дождливая, поэтому шпион, как и девятого числа, явился в глухом плаще. Действуя по ин-

струкции, Харитонов с Цацанидисом не стали мешать проведению сеанса, а по его окончании сели Капюшону на хвост — с двух сторон. И никуда он, голубчик, не делся. В отличие от прошлого раза, не сразу переправился на Северную, а сначала зашел в Николаевский каземат — в тот отсек, где находится лазарет для раненых, доставленных с передовой и нуждающихся в срочной операции. Пробыл там Капюшон около получаса. Внутри Харитонов с Цацанидисом не заходили, чтобы себя не обнаружить, но в этом не было необходимости, поскольку дверь там только одна.

Вскоре после полуночи Капюшон покинул лазарет и сел в лодку. Вели его двумя яликами, слева и справа. Ну а на Северной стороне деться он уже никуда не мог. Молодцы аккуратно сопровождали шпиона до самого места ночлега. Цацанидис остался там караулить, а Харитонов поспешил к начальнику. Благо бежать было недалеко.

Услышав, где именно обитает Капюшон, штабс-капитан сразу понял, кто это.

Барак под соломенной крышей с десятью отдельными дверями и крашенными в белый цвет ставнями? Это дом, где проживает медицинский персонал Андреевского госпиталя. Третья дверь справа? Адресат известен. Мистер Арчибальд Финк, собственной персоной. Давно на подозрении.

Выяснив личность агента, Аслан-Гирей отнюдь не торопился его арестовывать. Зачем же? Нужно поглядеть, нет ли сообщников. Выяснить, в каком направлении устремлены интересы шпиона — тогда можно будет вычислить, в чем заключается полученное им задание.

За Финком установили круглосуточную слежку, с пересменкой каждый час, чтоб американцу не примелькались одни и те же лица.

Круг контактов вражеского лазутчика оказался обширен. Общительный и любознательный житель Нового Света, что-то очень уж быстро научившийся изъясняться по-русски, бывал повсюду и приятельствовал решительно со всеми. Хирургом он был не поддельным, а настоящим, причем искусным. Оперировал много и охотно, не отлынивая от дежурств на Южной стороне, как некоторые иные врачи. (И понятно, почему. Сеанс связи был осуществлен как раз в ночь такого дежурства.)

Дальше — интересней. Великое завоевание прогресса — электрический телеграф, не то что прежний семафорный. К нынешнему лету из Севастополя наконец протянули проволоку до самого Петербурга, так что стало возможно передавать донесения и получать ответы в течение суток. На запрос в иностранную секцию Третьего отделения поступила справка о Финке, пересланная аж из самого Вашингтона. Тамошний представитель секретной службы его императорского величества среди прочего сообщил важную деталь: оказывается, Финк завершил свое образование в Оксфорде. Однако же в документах, которые он представил Военно-медицинскому ведомству, сведения о проживании в Англии отсутствовали.

Кроме того, в ходе негласного обыска, произведенного на квартире шпиона, была обнаружена тетрадь, густо исписанная шифрованными записями. Разобрать можно было только числа. Под каждой датой значились столбиком какие-то аббревиатуры.

Вот как это выглядело:

•11(23).7.55

A.r.h.

A.l.f.

P.w.th.

D.c.f.w.r.th.*.

ЧЕРНАЯ

— и так далее, иногда по несколько десятков обозначений за день. Некоторые группы букв повторялись по многу раз. Что таила в себе эта абракадабра, было непонятно. Тайнопись не давала Девлету покоя, она снилась ему по ночам, и сны эти были мучительны.

Еще одна мука, уже не умственная, но сердечная, обрушилась внезапно.

Через несколько дней после того, как загадка английского шпиона разрешилась, в шатер к Девлету — впервые — заглянула госпожа Иноземцова.

Он собирался ехать на Малахов, потому что накануне туда наведалься Финк — якобы попрактиковаться в первичной обработке ран на перевязочном пункте. Чем он там занимался на самом деле, Аслан-Гирей надеялся выяснить на месте. Активность вражеских лазутчиков в этой ключевой точке обороны в последнее время многократно усилилась.

— Садык сказал, вы отправляетесь на Малахов курган? — спросила Агриппина Львовна.

Всякий раз, видя ее после разлуки, даже самой короткой, Девлет поражался несовершенству своей зрительной памяти. Наяву Иноземцова неизменно оказывалась еще красивей, чем ему помнилась, а уж он, казалось бы, изучил ее лицо до мельчайшей черточки.

— ...Да, отправляюсь, — ответил он после заминки, понадобившейся, чтобы справиться с сердцебиением (это тоже случалось каждый раз). — Есть небольшое дело...

— Как у вас беспринутно. — Она осмотрелась. — За чем вы отдали мне все ковры? Я велю половину принести сюда. Нет, в самом деле, какая-то монашеская келья. Это ваша сабля? А это что? То есть кто?

Он молчал, взволнованный ее близостью и тем, что она касается предметов, которые составляют часть его

жизни. Отныне к каждому из них он будет относиться бережно.

— Фотографическая карточка. Я сделал ее год назад, по пути в Севастополь. Думал удивить мать. Она в своей глуши такого чуда не видывала. Но из-за осады портрет доставили только теперь. Мои родные из Крыма давно уехали. Собираюсь послать им по почте.

— Боже мой, — прошептала Иноземцова. — А я и не узнала. Я вас таким не видела... Какой вы были красивый!

Он улыбнулся, до боли сжав за спиною кулак.

— Говорят, шрамы украшают мужчину. С этой точки зрения моя внешность от войны сильно выиграла.

Но она не поддержала шутки и, кажется, даже не слышала.

— Мерзость, мерзость... — пробормотала Агриппина Львовна. — Убивают, калечат... А мать вас видела после... этого?

Спросила — и сама испугалась.

— Ой, простите! Я не должна была...

— Слава Аллаху, мать меня таким не видела. — Внезапно, будто о чем-то давно решенном, он сказал. — И не увидит. Ежели останусь жив, сделаю небольшую операцию и стану таким же, как прежде. В мирное время пугать честной народ моей нынешней рожой было бы негуманно.

Иноземцова внимательно посмотрела на его лицо. Девлет изо всех сил постарался сохранить улыбку, но давалось это нелегко.

— Разве что ради матери... Но, знаете, я привыкла к вам такому. И мне будет странно, если вы переменитесь. Вы ведь не дама, и ваши раны стоят дороже любых орденов.

Деликатничает, не хочет обижать, подумал Аслан-Гирей. С деланным равнодушием пожал плечами:

— Мне-то все равно, но жалко старушку. И потом ведь надо же когда-нибудь жениться.

Вот эти слова прозвучали хорошо — легко, весело. В эту минуту он окончательно пообещал себе, что непременно сделает рино... как ее... надо переспросить у барона Бланка.

Тысяча чертей, то бишь шайтанов! Ведь он действительно был красив. И может снова стать таким. Приедет после войны в Севастополь с нормальным лицом, без траурной повязки на глазу, с подстриженными и подвитыми усами, в сшитом на заказ гвардейском мундире. Нанесет Агриппине Львовне визит — это так естественно.

«И что дальше? — оборвал он распоясавшееся воображение. — Предложишь вдове руку и сердце? Скажешь: будет вам горевать, мертвым — могила, живым — совет да любовь? Может, еще и веру сменишь? Станешь, к примеру, Дмитрием Архиповичем Аслангиреевым. Тогда она тебя зауважает».

— У меня к вам небольшая просьба, — сказала тут Иноземцова. — То есть большая. Это важно. Будете на Малаховом — разыщите, пожалуйста, Александра Денисовича. Он со вчерашнего дня там безвылазно. Что-то строит. Я приготовила для него мазь. У него ведь контузия, вы знаете?

И протянула баночку.

«Она пришла ко мне, впервые, из-за этого? — подумал он, и сжалось сердце. — Из-за мази для Бланка?»

Но не в мази было дело, а во взгляде. Вчера вечером он уже видел на ее лице это выражение — и не мог взять в толк, что оно означает.

У Девлета вошло в привычку, выходя из шатра или возвращаясь в него, обязательно смотреть в сторону домика, который он выстроил для Иноземцовой. За всё вре-

мя он ни разу не видел, чтоб в окошке горел свет. Агриппина Львовна если и наведывалась туда, то ни разу не оставалась ночевать. Почему — неизвестно. Не может же быть, чтоб каждую ночь она дежурила в госпитале? Аслан-Гирей очень хотел бы знать, что не так, но не осмеливался спросить.

А вчера вдруг смотрит — светится! Ноги сами понесли в ту сторону.

Он не собирался подглядывать. Просто, как всякий человек, идущий в темноте мимо освещенного окна, скосил бы в глаза в щель между занавесками. Ничего особенного.

Но приблизился и вдруг услышал звук пианино. Инструмент Девлет распорядился перенести из госпитального барака в первый же день — вдруг Агриппине Львовне все-таки захочется помузицировать. Вот и в самом деле захотелось!

Событие это было такой несказанной важности, что Аслан-Гирей забыл о деликатности и, конечно, остановился, заглянул. Вообразилось, что у Иноземцовой гость и играет она для него.

Гостя никакого не было. Агриппина Львовна сидела одна. Смотрела не на клавиши, а на свечу. Замедленно, с перерывами, лился нокторн, и поскольку руки женщины тонули в густой тени, казалось, что музыка рождается сама по себе.

Девлета поразило выражение ее лица: рассеянно-нежное, с мечтательной полуулыбкой. И взгляд. Прежде он такого взгляда у нее не видел.

Точно так же затуманились матовые глаза Иноземцовой сейчас, когда она произнесла имя Бланка...

Почувствовав, что бледнеет, Аслан-Гирей сказал: — Нет, про контузию не знал. Мазь передам.

ЧЕРНАЯ

— Благодарю вас. Я знаю, вы человек надежный и непременно его отыщете...

Девлет лишь наклонил голову. Ему хотелось, чтобы Агриппина Львовна поскорее ушла. Но она не торопилась.

— Что вы думаете об Александре Денисовиче? Я никак не разберусь, что он такое. Есть в нем какая-то... странность.

Кажется, она собиралась употребить другое слово, но в последний миг передумала.

— Мне кажется, что барон — человек необыкновенный, весьма высоких достоинств, — ровным голосом ответил Аслан-Гирей. — Однако покорнейше прошу извинить. Мне пора отправляться. Служба.

На Малаховом кургане Бланка отыскивать не стал, разговаривать с ним было бы мучительно. Но позаботился, чтоб баночку с мазью передали.

* * *

Вот так, в напряжении ума и терзании сердца, завершился месяц июль.

Положение осажденного города делалось всё тяжелее. Неприятель с каждым днем увеличивал число орудий и вел непрерывный обстрел. За месяц гарнизон сократился на десять тысяч человек — и это несмотря на подкрепления, неустанным ручейком лившиеся по симферопольскому тракту. Что Севастополь долго так не продержится, было ясно всем. Единственная надежда оставалась на раннюю осень. Если продержаться до осенних бурь, да сразу вслед за ними, как в прошлом году, ударят морозы, город был бы спасен. Минувшей зимой от холодов и болезней англичане потеряли треть ар-

мии, французы — четверть. Второго такого испытания союзники не вынесут, им придется убираться восвояси. Как во времена Наполеоновского нашествия, Россию спасет сама природа.

Однако начальство, кажется, смотрело на дело иначе. К концу месяца все стали говорить, что скоро будет большое сражение: армия придет на помощь истекающему кровью гарнизону, только еще не решено, где именно произойдет наступление.

Что ж, командованию наверху видней. Лазутчики доносили, что на 5 августа неприятель назначил новую генеральную бомбардировку, которая превзойдет своей мощью все предыдущие. Должно быть, в штабе Горчакова решили, что Севастополь может не выстоять, и постановили нанести упреждающий удар.

Из ставки в город и обратно бешеным аллюром носились ординарцы; князь дважды собирал военный совет, и поговаривали, что мнения на нем разделились. Одни генералы вроде бы хотят произвести большую вылазку прямо из города, через Килен-балку. Другие выступают за фланговую атаку со стороны Черной речки. Третьи же предлагают ограничиться демонстрацией, чтоб заставить врага передислоцировать свои силы и тем самым отсрочить день бомбардировки.

Что тут правда, а что нет, Аслан-Гирей не задумывался. Вероятней всего, слухи распускались штабом намеренно, дабы сбить с толку шпионов, — и это правильно. Ну а помимо того всяк обязан заниматься своим делом на своем месте. Нечего изображать из себя стратега.

У штабс-капитана и без того хватало забот. У него была своя собственная баталия: выявить все контакты Арчибальда Финка, доподлинно установить, в чем его задание, а потом взять американца с поличным, чтоб никакой дипломатический консул не мог его отстоять.

Положить перед арестованным список имен, сказать: или указывай, кто из этих людей тебе помогает, или поступим с тобою по законам военного времени. А уж если удастся понудить Финка играть на нашей стороне, тогда это будет победа почище июньской.

В первых числах августа сделалось понятно, что битва случится со дня на день, причем не в самом Севастополе, а где-то на Инкермане или еще восточнее, за Чоргуном. Пехотные колонны и орудия двигались с Мекензиевых гор и с Северной стороны в том направлении, запрудив все дороги.

Арчибальд Финк развил подозрительную активность. Приставленные к нему наблюдатели сбивались с ног. Несколько раз американец наведывался к генерал-штаб-доктору, подолгу крутился в ставке. Наконец благодаря осторожному опросу свидетелей Аслан-Гирей установил, что Финк всеми правдами и неправдами, используя знакомства и связи, добился назначения во временно-полевой лазарет, который будет развернут для оказания первой помощи прямо на поле сражения.

Это было неспроста. Девлет предположил, что Финк собирается в суматохе боя перебежать к своим. Вот уж этого допустить никак нельзя.

Поздно вечером 3 августа отряд, откомандированный Андреевским госпиталем к месту баталии (два врача, милосердная сестра, четыре фельдшера и четыре санитарных повозки), двинулся в направлении Инкерманских высот. Аслан-Гирей подгадал так, чтобы встретиться с маленьким караваном на выезде из лагеря будто случайно. Ни за что на свете не согласился бы он в такую ночь выпустить американца из поля зрения.

Получилось правдоподобно и естественно, что они попутчики. Штабс-капитану даже не пришлось навязыв-

ваться Финку, с которым он был мало знаком. Сопровождала лекаря единственная из сестер, хорошо ездившая верхом, — госпожа Иноземцова, а о том, что Аслан-Гирей с нею дружен, всем было известно.

Он нарочно даже не смотрел на американца — только на Агриппину Львовну. Они вдвоем ехали впереди; сзади, тоже рядом, тряслись на мулах Финк и лекарь из немецких волонтеров по фамилии Розен.

Иноземцова зябко куталась в плед и никак не могла согреться.

— Это у меня нервное, — говорила она. — Всякий раз перед большим сражением кровь словно замедляется. Во время июньского приступа я тоже в полевом лазарете была, так вначале даже в обморок упала. Стыдно! Очнулась, только когда раненых понесли... Знаете, Девлет Ахмадович, мне кажется, будто я чувствую, насколько кровавым будет дело. Боюсь, что сегодня... — она быстро приложила ладонь ко рту, очевидно, не желая превращаться в Кассандру, и сменила тему. — Хорошо, что вы не служите в пехоте. А Александр Денисович как инженер и вообще человек невоенный сказывал, что будет находиться при штабе командующего. Если б еще нужно было из-за вас двоих волноваться, я бы сошла с ума.

Агриппине Львовне хотелось всё время разговаривать, но связной беседы Девлет поддержать не мог, вставлял реплики невпопад. Приходилось держать ушки на макушке. В арьергарде, невидимые в темноте, скрытно следовали двое самых лучших в команде агентов, не спускали с Финка глаз. Аслан-Гирей же вслушивался в доносившийся сзади разговор на французском языке. Булькающий американский акцент соперничал чудовищностью с твякющим немецким.

Ничего интересного до поры до времени в этой беседе не было. Сначала американец хвастался, сколько он

ЧЕРНАЯ

успел сделать операций за неполных полтора месяца и сколько ампутаций и резекций надеется провести благодаря надвигающейся баталии.

«Ишь, радуется, будто ворон при запахе крови», — подумал Девлет с ненавистью.

Немец поддакивал. Но его больше интересовало, будут ли долетать неприятельские снаряды до Телеграфной горы, под которой назначено место сбора госпитальных отрядов.

Из этих слов Аслан-Гирей заключил, что основным удар, вероятно, будет нанесен в направлении Гасфортской высоты, занятой сардинскими войсками.

Здесь стал накрапывать дождик, с каждой минутой всё усиливаясь. Штабс-капитан накинул Агриппине Львовне на плечи свой плащ.

Немец раскрыл зонт. Финк облачился в дождевик с капюшоном — тот самый.

— Кахоши веш, — одобрил доктор Розен. — Не пхомакайт и, толшно пыть, тьогли?

— Пэрви сорт. Отшен полэзни одэжда, — похвастался американец.

— Дохого платийт? Сколько тенег?

— Мнэ этот плащ одолжыт прыятэл. Но вешчь такой хороши, что я думал покупат себе такой тоже.

— А кто фам его отолшить?

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

Сколько есть на свете людей, задающих себе этот вопрос, столько на него ответов. Многие, конечно, сами себя обманывают: думают, их счастье в одном, а оно в чем-то совсем ином, и оттого человек чувствует себя несчастным, не понимая, в чем дело.

Александр Бланк знал, что может быть счастлив, лишь когда занят большим, очень трудным делом. Чем ближе задача к исполнению, чем сильнее сопротивление обстоятельств, тем он счастливее. Когда же цель будет достигнута, счастье закончится.

Поэтому месяц, проведенный в Севастополе, безусловно являлся самой счастливой порой его жизни. Никогда еще Лексу не приходилось до такой степени напрягать все свои умственные и физические силы. Ощущение полноты бытия переполняло его. Ночью он спал без сновидений, ибо никакие грезы расслабившегося рассудка не могли бы сравниться фантазийностью с тем, что происходило наяву.

Каким опьяняюще интересным получился июль пятьдесят пятого года!

Острее всего пульс жизни бился в те десять дней, когда Лекс находился на волоске от провала и не знал, сумеет ли он найти решение для математической задачи двойной сложности. Донесение огромной, исторической важности было готово, его требовалось как можно скорее передать своим, чтобы армия успела как следует подготовиться к русскому наступлению. Горчаков выведет войска в поле, притом именно на Черной речке, — Лекс уже не сомневался в этом. Более того — точно знал дату, когда это произойдет.

Но как передать сообщение, если все пункты связи известны Аслан-Гирею и находятся под постоянным наблюдением?

Эх, переосторожничал Лансфорд! Не предусмотрел никакой «живой» связи — опасался, что обычный лазутчик, которые вербовались из татарских торговцев, может выдать Бланка или вывести на него русских ищеек. Последнее randevу произошло в Симферополе, повтора не предполагалось.

Каждый день игра могла закончиться. Зная, что «Капошон» — кто-то из гостей андреевских чаепитий, Аслан-Гирей, конечно же, ищет и неизбежно сужает круг. Разумнее всего было бы, не дожидаясь разоблачения, унести ноги. Но такого варианта Лекс не рассматривал.

У него составилась план — рискованный, но осуществимый.

Однако требовалось сочетание двух факторов: дождь и дежурство Финка. Совпали они лишь на десять суток.

Двадцатого вечером, закутавшись в плащ, Лекс беспрепятственно выбрался за пределы бастиона (он ночевал на Малаховом, где всюду шли работы по строительству новых блиндажей). Никем не замеченный, обогнул третий бастион, спустился в Доковый овраг. На противоположном его краю, в кустарнике, находился один из пунктов связи. Бланк специально прошел мимо в светлое время, чтобы лучше ориентироваться на местности. Ни днем, ни сейчас наблюдателей не заметил, но они безусловно прятались где-то неподалеку.

Самый опасный момент наступил, когда Лекс себя обнаружил: вышел на место и начал сеанс. Что если у русских за эти дни изменилась «инструкция» и у агентов приказ не выследить шпиона, а арестовать?

На этот случай при себе был револьвер. Живым Лекс бы не дался. Унижение плена — это не для него.

С той стороны на позывной сигнал немедленно ответили тремя сдвоенными. Лансфорд или его помощник в установленный для связи час были наготове. Ждали.

Шли секунды, минуты. Фонарь мигал. Вокруг было тихо. Никто не накидывался на Лекса из темноты, не заламывал руки. Главное теперь было — не расслабиться от облегчения, не совершить глупой ошибки.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Донесение состояло из трех частей.

Сначала Лекс сообщил, что работы по укреплению Малахова завершатся самое раннее через четыре недели, а вероятнее — через пять или даже шесть.

Далее главное: русское наступление почти наверняка состоится; если состоится, то со стороны реки Черная на рассвете 4 августа; необходимо ускорить секретное возведение дополнительных эшелонов обороны на Федюхиных и Гасфортовых высотах.

В заключение Лекс передал, что сеансов больше не будет. Есть вероятность, что этот способ связи раскрыт русскими.

Он нарочно выбрал столь неопределенную формулировку. Если бы доложил прямо, что все пункты находятся под вражеским наблюдением, у Лансфорда возник бы вопрос: а как же ты тогда умудряешься сигналить и надо ли этим сведениям доверять?

Ничего, можно объяснить потом. Когда и если удастся переправиться к своим.

К концу сеанса Бланк совершенно уверился, что немедленный арест ему не угрожает. Агенты будут вести скрытную слежку. А значит, торопиться было некуда. Вдруг, как в прошлый раз, Лансфорд прибыл к установленному часу и снова что-нибудь ответит.

Переместившись в другую точку, Лекс подождал — и не зря. Минут через сорок на семафорном пункте (он находился на возвышенности и просматривался со всех точек Корабельной обороны) запульсировал огонек.

Лорд Альфред был на месте. Должно быть, все эти дни он приезжал на передовую каждый вечер.

На сей раз послание было очень коротким: «Береги себя. Возвращайся».

Вернуться, конечно, нетрудно. Для этого довольно пройти оврагом пятьсот шагов, заботясь только о том, чтоб не наткнуться на русский пикет и не нарваться на пулю английского.

Но сначала нужно довести дело до конца. Успех вероятен, но понадобятся еще некоторые усилия.

И, конечно, необходимо сбить со следа людей Аслан-Гирея.

Все так же кутаясь в плащ и надвинув капюшон, Лекс отправился в тыл. Шел быстро, не останавливаясь. Чтобы не встретиться с патрулем, который требует назваться и предъявить ночной пропуск, двигался не по дороге и не по улицам, а через развалины. Из них теперь состоял весь город. Уцелевшие дома попадались редко.

Вели Бланка умело. Обнаружить слежку он так и не смог. Но что она есть, не сомневался.

Из-за петляний по пепелищам Лекс добирался до Николаевской казармы целый час.

Там обретался второй фактор, сделавший возможным сегодняшнее предприятие. Арчибальд Финк — идеальная мишень для подозрений: англоязычный, прыткий, примерно такого же роста и комплекции.

Только сегодня наконец совпало, что идет сильный дождь, а Финк дежурит в лазарете на Южной стороне.

Лекс заглянул в операционную, кивнул склонившемуся над раненым американцу. Тот приветливо заулыбался, показал, что скоро заканчивает.

Сели рядом. Закурили. Как все самодовольные люди, Финк больше всего любил поговорить о себе и своих жизненных планах. Такому человеку довольно задать какой-нибудь вопрос про его дела и потом можно долго молчать, только поддакивать.

— Отчего вы не поступили врачом в британскую армию? Не было бы трудностей с языком.

— Многие об этом спрашивают, — засмеялся Финк. — Это они еще не знают, что я прошел дополнительный курс полевой хирургии в Оксфорде. От русских сие обстоятельство я утаиваю, не то они с их византийской подозрительностью еще вообразят, будто я английский шпион. Вам-то могу рассказать, вы настоящий космополит. Кстати говоря, где вы научились английскому? Выговор прямо оксфордский.

Итонский, мысленно поправил Лекс. На вопрос можно было не отвечать. Американец уже рассказывал дальше.

— Понимаете, у англичан хватает собственных хирургов. А здесь я в среднем делаю по двадцать операций в день. Очень надеюсь, что случится большое сражение или генеральная бомбардировка. Тогда работы будет еще больше. Если война продлится полгода, у меня в послужном списке накопится три или четыре тысячи операций!

— Ммм? — изобразил заинтересованность Бланк.

— Каждую я для памяти записываю в тетрадь. Вот, видите? — Финк достал тетрадку. — «A. r. f.» — amputation of right forearm¹, «P.b.w.a.» — penetrating bayonet wound of abdomen², и так далее. А в конце дня получаю в канцелярии подтверждающий документ. Когда я вернусь, во всей Америке не сыщется хирурга с таким опытом. Раньше я был счастлив, зарабатывая двадцать долларов в неделю. А теперь легко добуду место, приносящее в десять раз больше!

Слушая жизнерадостную болтовню американца, Бланк ждал, когда начнется настоящая гроза. Наконец

¹ Ампутация правого предплечья (англ.).

² Проникающее штыковое ранение брюшной полости (англ.).

оконное стекло побелело от вспышки. По стеклу заколотил ливень.

— Проклятье, — беспокоился Финк. — Как же я буду добираться? Плыть на лодке, потом идти пешком. Вымокнешь до нитки. У меня есть зонт, но при таком ветре от него никакого проку.

— Берите мой плащ. Мне он не нужен. Сегодня я за ночую здесь, у знакомого инженера. После как-нибудь отдадите. Не к спеху, у меня есть запасной.

Врач ужасно обрадовался и стал немедленно собираться, пока барон не передумал. Лекс заботливо опустил ему капюшон пониже, пожелал счастливого пути.

Из окна было видно, как за семенящим под дождем лекарем заскользили две легкие тени.

Вот и всё. Теперь можно целиком сосредоточиться на главном — отношениях с его превосходительством.

* * *

Уверенность в том, что русская армия перейдет в наступление на Черной речке, появилась у Лекса еще несколько дней назад.

— С тобой хочет познакомиться патрон, — сказал Лузгин (они накануне выпили на *tutoyage*¹). — Я ему о тебе рассказывал. *Naturellement*², аттестовал лучшим образом, вот Павел Александрович и выразил желание... Я знаю, *mon cher*, что ты бука, но мой тебе совет: не уклоняйся от такого знакомства. Это птица высокого полета, и главный его взлет еще впереди.

¹ Обращение на «ты» (фр.)

² Натурально (фр.)

Разумеется, Бланк и не собирался упускать такую возможность. Состоится ли сражение, которое решит исход войны, зависело от усилий Вревского. Возможность общаться с этим человеком не через глупого Анатоля, а напрямую была бы несказанной удачей.

Про барона Вревского было известно, что он внебрачный сын гранд-сеньора екатерининской и александровской эпохи князя Куракина, баснословно богат и чрезвычайно влиятелен. Всю жизнь прослужил при особе императора, вследствие чего достиг генерал-адъютантского чина в необычно молодом возрасте. В Севастополь он прибыл безо всякой официальной должности, и это придавало положению Вревского особенную значительность.

— Что ж, я пожалуй, — небрежно сказал Лекс. — Как-нибудь при okazji представь меня.

Оказия устроилась в тот же самый вечер — и, как понял Бланк, не вполне случайно. Очень скоро разъяснилось, зачем «птице высокого полета» понадобился скромный инженер.

Лекс ожидал увидеть лощеного великосветского ферта вроде Анатоля, только покрупнее калибром — надменного аристократа, преисполненного сознанием собственного величия. Но Вревский оказался совсем не таким. Лицо у него было простое, солдатское, даже несколько грубоватое, обращение естественное и приветливое, разговор прямой и умный.

Понравилось Бланку уже то, что в первую же минуту встречи (она происходила в кофейне — большой палатке неподалеку от штаба) генерал спровадил Лузгина, дав ему какое-то пустяшное поручение. Потом, извинившись, попросил минуту подождать, пока прочитает письмо.

— От матушки, — сказал Вревский. — Весь день галопом, в мыле, не было времени.

Пока читал, суровое лицо с подусниками смягчилось, на губах появилась чуть насмешливая, но нежная улыбка.

— Маменька, маменька, — пробормотал Павел Александрович, бережно сворачивая листок. — Знаете, как она ко мне обращается в письмах? «Ваше превосходительство, дорогой мой сынок». Пишет, конечно, не сама — диктует. Так и не выучилась грамоте.

У Лекса, должно быть, удивленно приподнялись брови, и Вревский счел нужным объяснить:

— Разве вы не знали, что я — «лошак»? Так наши снобы называют детей, прижитых барином от крепостной. Мой батюшка был изрядный обожатель женского пола, но предпочитал крестьянок. Павел Первый пожаловал отца в Мальтийские командоры, а рыцари этого ордена дают обет безбрачия. Папенька с удовольствием сделал вид, что принимает клятву всерьез, и на всю жизнь остался холостяком. А баронский титул своим бастардам выпросил у австрийского императора.

Генерал засмеялся, а Лекс снова подумал, что этот человек ему определенно нравится.

— Я сразу к делу, — сказал далее Павел Александрович. — Не люблю ходить вокруг да около, да и вы, насколько мне известно от Анатоля, экивоками не увлекаетесь.

— Слушаю, ваше превосходительство, — слегка поклонился Лекс. — О чем вам угодно со мною говорить?

— О грядущем сражении. Лузгин предварил меня, что вы, как и я, являетесь сторонником атаки на Федюхины высоты через Черную речку.

— Да, я убежден в рациональности этого плана, — ровным голосом ответил Бланк, а сам внутренне настаивал. Что за важность для большого начальника мнение какого-то инженеришки?

Анатолий Брусникин

— Именно в рациональности! Разработанная мною диспозиция логически безупречна. Мы зайдем с фланга и свернем всю вражескую оборону, как скатывают ковровую дорожку. Я говорил государю и повторил князю, что готов сам пойти во главе штурмовых колонн! Удар будет внезапным для неприятелей, а нанести его нужно на рассвете 4-го августа.

— Почему именно четвертого?

Глаза Вревского торжествующе блеснули.

— Это главная изюминка моего плана. Третьего во всей французской армии будут отмечать день рождения императора Луи-Наполеона. Событие это празднуется пышно, с обильными возлияниями. А на исходе ночи, когда перепившиеся французы будут дрыхнуть, мы одним броском форсируем реку и захватим холмы. Еще рассветные сумерки не рассеются, а сражение будет уже выиграно!

Он еще некоторое время с увлечением описывал достоинства своего плана, но потом прервался.

— Я читаю в вашем взгляде недоумение. Чем оно вызвано?

— Не могу взять в рассуждение, ваше превосходительство, зачем вы тратите на меня время.

Генерал засмеялся, откинув назад крупную, с начинающимися залысинами голову.

— Да, экивоков вы точно не признаете. Вижу. Перестаньте величать меня «превосходительством», вы ведь не военный. Прошу именем-отчеством. Что же, раз мы оба люди прямые, сразу выкладываю карты на стол. Вы мне нужны, Александр Денисович. И даже необходимы.

— Я?!

— Да. В некий критический момент мне понадобится ваше содействие. Произойдет это, вероятно, через две недели. Князь колеблется, он человек нерешительный,

боящийся ответственности. Его сиятельство отдаст приказ о наступлении, лишь если за это выскажется большинство старших военачальников. Я сейчас беседую с каждым из них по очереди, убеждая в правильности своего плана. На эту предварительную подготовку у меня уйдет еще приблизительно две недели. Потом состоится военный совет...

— Я все-таки не понимаю. Меня ведь на этот совет никто не позовет?

— Вас — нет. А вот мнение вашего шефа, генерала Тотлебена, будет значить очень много. Князь Горчаков относится к нему, как к святому оракулу. Суждение одного Тотлебена может оказаться весомее позиции всех остальных. Однако Эдуард Иванович, к глубокому сожалению, не является сторонником наступления — и в особенности наступления на Черной речке.

Теперь Лекс начал догадываться, куда клонит Вревский, но все же счел нужным придать лицу недоуменное выражение.

— Не прикидывайтесь простаком и не скромничайте, — улыбнулся Павел Александрович. — Если главнокомандующий прислушивается ко мне и к Тотлебену, то Эдуард Иванович, как говорят, прислушивается только к вам. Он как-то проговорился одному из штабных: «К Горчакову государь приставил барона Вревского, а ко мне великий князь приставил барона Бланка». Так что мы с вами два барона — пара. Разница между мною и вами состоит вот в чем: князь относится ко мне с опаской и ожидает подвоха, вам же удалось в короткий срок заслужить полное доверие Тотлебена. Так помогите же мне и моему плану, если вы в него верите. Попробуйте склонить Эдуарда Ивановича на нашу сторону.

Кажется, Вревский имел преувеличенное представление о влиянии Бланка на начальника инженерной части.

А может быть, и нет. Оношения с шефом представились Лексу в несколько ином свете. Он никогда не пытался изобразить из себя влиятельную персону, вхожую в высшие сферы, и уводил разговор в сторону, когда Тотлебен пытался выведать что-нибудь о Николае Николаевиче или «флуктуациях» в большом свете. Но эта уклончивость, вероятно, лишь укрепляла инженер-генерала в мнении, что барон Бланк прислан неспроста.

И на ежевечерних встречах Тотлебен настаивает тоже неслучайно. Выслушав доклад и просмотрев наброски укреплений, Эдуард Иванович нередко пускался в рассуждения на темы, непосредственно не связанные с фортификацией. Он говорил, что с человеком вольным и штатским может позволить себе больше свободы, чем с любым из своих офицеров.

Пожалуй, эти откровения преследуют определенную цель: очевидно, Тотлебен надеется, что молодой человек перескажет их в письмах великому князю.

Назавтра Лекс решил проверить свое предположение.

После обычного доклада он изобразил смущение, дождался вопроса, что случилось, и тогда сбивчиво начал:

— Эдуард Иванович, меня всё больше женирует некоторое обстоятельство... Я чувствую моральную дискомфортность... Даже не знаю, как вы измените свое отношение, когда узнаете... Видите ли, его высочество просил меня... даже прямо поручил писать подробные сообщения обо всем, что я вижу в Севастополе. В том числе и о вашем превосходительстве...

Глаза Тотлебена блеснули. «Я знал! Я знал!» — читалось в этом взгляде.

Лекс продолжал мямлить:

— ...В Петербурге это задание представлялось мне совсем натуральным. В конце концов, у меня привычка

вести переписку с великим князем, мы постоянные доверительные корреспонденты уже три года... Поэтому отсюда я тоже писал каждый день, не видя в том ничего дискретного...

Это было ложью: за минувшие три недели Бланк послал Николаю Николаевичу только одно письмо, надеясь, что великий князь ответит фельдьегерской почтой и это повысит статус штатского инженера в глазах сослуживцев.

— ...Но узнав близко ваше превосходительство... проникнувшись к вам глубоким респектом и, да будет мне позволено это сказать, искренней симпатией, я стал видеть эту ситуацию немного... то есть много и очень много иначе... Будто я приставленный к вам надзиратель или хуже того шпион. И вот я решил, Эдуард Иванович, что я вам должен откровенно всё рассказать. А его высочеству я опишу, что отныне вы знаете, в чем заключается мое поручение и что у меня нет от вас никакой секретности...

Здесь генерал его перебил.

— Не делайте этого ни в коем случае, дорогой барон! — вскричал он в совершеннейшем восторге. — Не нужно расстраивать его высочество! Забота великого князя о делах вверенного ему инженерного ведомства очень понятна. Начальник должен знать абсолютное всё, что происходит. Я и сам таков. Докладывайте в Петербург всё, что сочтете нужным. Видит бог, — Тотлебен перекрестился, — мне нечего скрывать. Для меня вы никакой не надзиратель, а незаменимый соратник и драгоценный представитель его высочества. А кроме того, вы еще чрезвычайно порядочный и щепетильный человек.

С этого момента отношения с шефом сделались не просто отличными, а прямо-таки задушевными. Насилу удалось отбиться от настоятельного приглашения пере-

селиться из Северного городка на хутор, чтоб всегда быть рядом с начальником. Это связало бы Бланку руки и ограничило свободу передвижений. Пришлось даже нагрубить: «Я, ваше превосходительство, приехал в Севастополь бастионы строить, а не при вас сидеть!» Тотлебен не обиделся, даже растрогался.

У этого во всех отношениях выдающегося военачальника помимо честолюбия, свойственного почти всякому генералу, было еще одно уязвимое место, которое Лекс обнаружил не сразу.

За минувший год Эдуард Иванович сделался легендарной личностью, героем, которым восхищалась вся Россия, но внутренне так и остался неродовитым дворянчиком, каким был в начале войны — усердным рядовым служакой из рода войск, который прежде считался малопочтенным и лишь недавно получил право носить усы. В прежние времена петербургская жизнь и вообще «высшие сферы» казались Тотлебену чем-то загадочным и сакральным, где происходит особенная жизнь, недоступная уму простого смертного. Конечно, когда война окончится и героя призовут ко двору, он быстро обещется, избавится от провинциальных иллюзий, но пока посланец *оттуда* представляется ему архангелом, спустившимся из небесных чертогов.

Лекс думал: какое огромное значение приобретают даже крошечные слабости и дефекты характера, когда человек находится на посту, от которого зависит судьба великого дела!

Взять того же барона Вревского. Личность незаурядная и даже блестящая во всех отношениях — за исключением одного. Павел Александрович из разряда людей, свято верящих в свою звезду. Есть такой род помешательства, часто развивающийся у феноменально удачливых людей, добившихся жизненного успеха. Со време-

нем у них возникает внутренняя уверенность, что они избраны судьбой и она ведет их, оберегая от поражения, а всё, чего касается их рука, превращается в золото. Вревский искренне убежден в спасительности своего плана — потому что план этот придуман им, человеком с путеводной звездой. Вся история испещрена катастрофами, виновниками которых стали баловни Фортуны, уверовавшие в свою избранность.

Теперь, после разговора с Вревским, Лекс мог со всей определенностью сказать, что задание Лансфорда будет выполнено не в минимальном, а в самом что ни на есть максимальном объеме.

Прочее было вопросом тактики.

С Павлом Александровичем они стали видеться часто, раз в два-три дня, и общались доверительно, словно заговорщики. Генерал рассказывал, что «наша линия» постепенно берет верх, число ее сторонников увеличивается, и спрашивал, что Тотлебен?

«Не беспокойтесь, — отвечал Лекс. — Придет время — всё исполню».

Он чувствовал себя жокеем, который ловко и уверенно правит быстроногим скакуном. Финиш близок, гранпри обеспечен.

И вдруг чуть не вылетел из седла!

Этот маленький эпизод лишний раз показал, что всякое грандиозное свершение зависит от миллиона крошечных непредвиденностей. Никто не застрахован от глупой случайности, которая положит конец самому безупречному, до мелочей просчитанному предприятию. Предводитель заговора Фиески накануне триумфа оступится и упадет в море. Доблестный Кир будет сражен шальным дроптиком, и его победоносный поход закончится крахом.

Лекс же едва не погиб еще более досадным образом — от ядра, выпущенного дружественной пушкой.

Двадцать третьего числа на Малаховом, проверяя ход работ по устройству очередного блиндажа, он зазевался и проглядел точно нацеленный снаряд. Ядро ударило в десяти шагах, угодив в кучу щебня. Камни разлетелись во все стороны убийственной шрапнели, положив напоval или ранив дюжину людей, а один косо рассек Бланку лоб над левой бровью. Дюймом правее — и конец. Похоронили бы с почестями, как еще одного героя обороны славного кургана.

Лекс вытирал платком обильно струящуюся кровь, голова гудела, снизу подкатывала тошнота, но сильнее боли и испуга была ярость. Чертов идиот! Как он мог ослабиться?!

Рану заткнул корпией, наскоро перевязал тряпкой, тошноте приказал отвязаться. Она не сразу, но послушалась.

А вечером после обязательной поездки к Тотлебену он встретил в лагере Иноземцову.

Увидев окровавленную тряпку, она вскрикнула. Как Лекс ни противился, настояла, что должна осмотреть рану.

Подробно расспросила, нет ли дурноты и головокружения. Нет, солгал Бланк.

— Нужно тщательно промыть ссадину. Может начаться заражение. Идите за мной. И не спорьте.

Она была такая бледная, встревоженная, что он повиновался. Поразительно, с чего это Агриппина, каждый день видящая ужасные раны, так разволновалась из-за ерунды.

— Господи, — прошептала она, чем-то осторожно смазывая царапину, — если б камень пролетел не наискось, а попал вот сюда, — легкие прохладные пальцы

коснулись виска, — вы бы погибли. Здесь самое узвимое место черепной коробки.

Он пожал плечами, как бы говоря: мало ли, что могло бы случиться, но не случилось. Проклятая голова всё гудела, к вечеру навалилась свинцовая усталость, и хотелось сидеть так подольше: чтоб руки Иноземцовой скользили по коже, чтоб звучал ее тихий голос.

— Если б я могла... Если б я имела над вами власть, я бы запретила вам так безрассудно рисковать жизнью. Я бы заперла вас под замок и не выпустила, пока не закончится война... — Словно спохватившись, она поправилась. — Если б каждая женщина — мать, жена, возлюбленная, сестра — могла не отпускать от себя того, кого любит, война стала бы невозможной. Государствами должны править женщины!

— Британией правит женщина, — усмехнулся Лекс. — Крым тоже завоеван женщиной.

Но Агриппина не приняла шутливого тона.

— Я не императрица, у меня нет власти над мужчинами. Но я никогда больше не повторила бы ужасной ошибки, которую совершила в жизни дважды. Мне нельзя было их от себя отпускать. Ни первого, ни второго...

Она говорит о своих мужьях, понял Бланк.

— ...Первый всего лишь уходил в плавание, но что-то рвалось у меня в груди. Я была еще совсем глупая, почти ребенок. Я думала, что так всегда бывает при расставаниях. А это сердце предчувствовало... — Руки, накладывающие бинт, на секунду замерли. Взгляд был устремлен поверх головы Лекса. — Но во второй раз, когда мой капитан уходил на бастион, я всё знала и понимала, однако изображала из себя спартанку. Странно, как это я еще не сказала на прощанье: «Со щитом или на щите». Нужно было вцепиться намертво и не отпускать...

— Хорош был бы мужчина, который в такой ситуации вас бы послушался, — заметил Бланк, глядя на ее губы. До них было не дальше пяти дюймов.

Он думал: эта женщина не пользуется парфюмерией, но ее природный аромат лучше любых духов.

— Хорош! — сердито воскликнула Иноземцова. — И если б моим мужчиной были вы... — Она сбилась было, но все-таки продолжила. — ...Если б мы с вами любили друг друга, *по-настоящему* любили, никуда бы вы от меня не ушли.

«Что если правда?» — вдруг пришло в голову Лексу. Он даже испугался этой мысли — такая она была неожиданная, быстрая, охотная.

Нет-нет, чушь и ересь!

— Стало быть, всё к лучшему, — как можно легче произнес он. — Потому что мне нужно возвращаться на Малахов, проследить, правильно ли кладут накаты на девятый и десятый блиндажи, а вы бы заперли меня под замок и криворукие землекопы всё бы перепутали.

Она лишь печально улыбнулась, но глаз не отвела, и в них ему почудился некий произнесенный вопрос.

В груди у Лекса что-то сжалось.

Как-как она сказала? «Если б моим мужчиной были вы»? Но разве женщины — приличные женщины — могут такое говорить постороннему человеку? А она сказала настолько естественно, что он даже не сразу поразился.

Лекс давно решил для себя, что права на личную жизнь не имеет и семьей обзаводиться не станет. Потому отношениям с женщинами он важности не придавал. Взрослому мужчине необходимо удовлетворение физиологического инстинкта, полное воздержание вредно для телесного здоровья и отравляет ум пагубными вожде-

ниями. Противиться требовательному зову плоти — все равно что иссушать организм голодом.

Тому, кто не держит дома собственной кухарки, естественно питаться в харчевне. В крупном городе — Лондоне, Париже или Дрездене — нетрудно найти гетеру, которая не вызывает отвращения излишней вульгарностью. Если же таковой рядом не было, Лекс предпочитал снимать напряжение ледяной водой и физическими упражнениями. В Балаклаве, например, борделей было сколько угодно, но брезгливость не позволяла Бланку иметь дело с шлюхами столь низкого пошиба. Обливаться водой приходилось каждое утро, а нередко еще и вечером. Очень возможно, что эта профилактическая процедура, закалив тело, спасла Лексу жизнь в невыносимо студеную зиму, когда люди вокруг умирали тысячами от простуды, инфлюэнцы и пневмонии.

Однако от Агриппины холодными обливаниями и поднятием гирь не спасешься — странные ощущения в груди не оставляли на сей счет никаких сомнений. А если так, надо держаться от Иноземцовой подальше. Для человека, живущего во имя идеи, ничего *этого* — того, что Лекс читал сейчас в ее взоре, — быть не может. Категорически исключено. Его путь и его счастье в другом: в стремлении к великой цели.

«А если ты ошибаешься и твое счастье совсем не такое, каким оно тебе воображается? — вновь удивил себя Бланк неожиданным вопросом. — Вдруг бывает счастье, которое не заканчивается с достижением поставленной цели, а длится вечно, каждую минуту, и ты не гонишься в неистовой скачке за ускользающей линией горизонта, а находишься на месте, и это мир несется мимо, а солнце с луной вращаются вокруг тебя, потому что ты и есть центр бытия и у тебя есть всё, что только может быть нужно человеку?»

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Определенно, нельзя так долго смотреть ей в глаза. От этого слабеет воля и замутняется разум. Какое вечное счастье? В чем оно? В тривиальнейшем соединении с особою противоположного пола? В этом и состоит твое назначение, *большой человек*?

Раздраженно тряхнув головой, Лекс не без усилия заставил себя отвести взгляд. Сразу стало легче. И удалось выкинуть из головы нелепые мысли. Не сразу, но удалось.

Однако с того вечера Бланк стал избегать Агриппины. На госпитальных *soirées* больше не появлялся и вообще обходил госпиталь стороной, а ночевать предпочитал на Малаховом.

* * *

Восемь дней спустя казак-вестовой отыскал Лекса на передовой и вручил записку. Павел Александрович просил срочно явиться по делу безотлагательной важности.

У Бланка застучало сердце. Он знал, что позавчера и вчера в ставке главнокомандующего дважды собирался военный совет, но к чему он пришел, никто не ведал.

Неужто решилось? До срока, выбранного Вревским, оставалось только трое суток — за меньший срок подготовиться к большому сражению будет просто невозможно.

Немедленно покинув укрепление, Лекс был у генерала, жившего на Инкерманском биваке, через два часа.

Вревский ждал его с нетерпением, измотанный и клочущий от ярости.

— Если б вы знали, как тяжело иметь дело с бездарными людьми! — горько посетовал он, и у Бланка внутри все поledenело. Неужто фиаско? — Представьте, два

дня препирательств и никакого результата! Из тринадцати человек за наступление со стороны Черной более или менее решительно высказались семеро, включая меня. Остальные блеяли что-то двусмысленное или возражали. А ведь я заранее побеседовал с каждым! И те самые люди, кто слушал и кивал, теперь пошли на попятный! Князь, которого я было совсем уже убедил, вновь колебался. Объявил, что завтра поедет советоваться к Эдуарду Ивановичу. Как тот скажет, так тому и быть. Это катастрофа, вы понимаете?

— Значит, всё теперь находится в зависимости от Тотлебена? — уточнил Лекс.

— Очевидно так. Он не переменял отношения к нашему делу?

— Сколько я осведомлен, не переменял.

Павел Александрович в отчаянии застонал.

— Ну стало быть, надежды нет! Я, конечно, буду завтра сопровождать князя и повторю все свои доводы специально для Тотлебена. Но он меня терпеть не может! Александр Денисович, дорогой, скажите к своему начальнику. Попробуйте переломить его упрямство. Час пробил! Всё теперь в ваших руках!

— Я поеду на хутор и останусь там ночевать, — спокойно ответил Лекс.

Так он и сделал. После доклада вопреки обыкновению не уехал, а остался ужинать с Тотлебенем и двумя его адъютантами. Потом, уже наедине с генералом, долго пили чай и разговаривали, но отнюдь не о сражении. Эдуарда Ивановича очень интересовал вопрос о грядущей военной реформе, насущность которой стала очевидна даже самым закоренелым ретроgrадам. В особенности же Тотлебен был взволнован слухом, будто попечение над проведением реформы вверят Николаю Николаевичу.

чу. Лекс выражал сомнение: великий князь еще так молод, но сомневался с загадочной полуулыбкой, будто знал нечто, не подлежащее разглашению.

Обсуждать с Эдуардом Ивановичем сражение он и не собирался. А приехал на хутор в расчете на то, что гостеприимный хозяин пригласит засидевшегося гостя остаться на ночь. Так и вышло.

Утром сели завтракать. Интересная беседа была продолжена. Потом прибыл фельдшер делать новую процедуру: ставить на раненую ногу пиявки. Эдуард Иванович испытывал к кровососущим тварям отвращение. Чтобы отвлечься от противной процедуры, пил крепкий чай и разговаривал с Бланком.

В одиннадцатом часу прискакал ординарец. Сообщил, что едет главнокомандующий в сопровождении генерал-адъютанта Вревского. Будут через полчаса.

Тотлебен взволновался.

Пиявок сняли, фельдшера выставили, ногу обули.

Пока денщик и вестовой наскоро прибирались, генерал вполголоса говорил Лексу:

— Знаю я, чего им от меня нужно! Два дня заседали, ничего не решили, а теперь желают Тотлебена в козлы отпущения? Я вам честно скажу: Бога благодарил, что из-за ранения не мог присутствовать на этом ристалище. Совесть не позволила бы высказаться за штурм Федюхиных высот. Но как пойти против желания государя? И вот на тебе! Не миновать мне горькой чаши!

Он всё больше горячился, усы воинственно затопорщились.

— И, конечно же, князя сопровождает Вревский! Он не даст нам поговорить с глазу на глаз! Петербургский интриган уверен, что в его присутствии я не осмелюсь прямо высказать, что думаю о безрассудной затее! Плохо же он знает Тотлебена! Пускай я погублю себя во мне-

нии верховных сфер... — Перст генерала показал в потолок. — Пускай! Но долг совести исполню! Князю угодно знать мое суждение? Что ж, я его изложу со всей откровенностью, и будь что будет.

Эдуард Иванович принял позу римского стойка, вскинул подбородок и сложил руки на груди.

Лекс не произнес ни слова.

— Коли уж вы здесь, — продолжил генерал, — хочу просить вас присутствовать при разговоре. Будьте моим свидетелем перед историей и великим князем. Опишите ему беспристрастно всё, что увидите и услышите.

Почтительно поклонившись, Бланк обещал.

* * *

Главнокомандующий прибыл в сопровождении казачьего конвоя всего через несколько минут, но твердость Тотлебена за этот короткий срок успела несколько поколебаться.

Увидев через окно, как из коляски медленно спускается Горчаков, а за ним легко спрыгивает Вревский, Эдуард Иванович перекрестился и прошептал: «Господи, укрепи».

Князь Михаил Дмитриевич, человек, которому была вверена судьба Севастополя, Крыма, а следовательно и всей войны, каждым движением, сутулостью плеч, тоской во взоре выказывал, что всякую минуту сознает всю тяжесть ответственности — и за Севастополь, и за Крым, и за войну. Он выглядел старше своих шестидесяти двух лет. Шел медленно, будто бредущий к эшафоту смертник. Близорукие глаза уныло помаргивали за толстыми стеклами очков. Покойный английский коман-

дующий лорд Раглан и нынешний Кодрингтон, с точки зрения Лекса, тоже были далеко не орлы, но этот во все казался снулой совой. Не хватало воображения представить, как этакий полководец может одержать победу хоть в каком-нибудь сражении. «Вот разрушительное действие застарелой диктатуры, — подумал Бланк. — Она выдвигает наверх людей не одаренных, а послушных».

Павел Александрович чрезвычайно обрадовался, увидев рядом с Тотлебенем своего приятеля, и горячо поддержал хозяина, когда тот, представив Бланка своим ближайшим помощником, попросил позволения вести беседу в его присутствии.

— Что ж, как вам будет угодно, — рассеянно молвил Горчаков. — То есть, отчего же нет, я даже рад...

И все перестали обращать внимание на молодого человека, который скромно встал в углу, возле шторы.

— Если позволит ваше высокопревосходительство, я коротко изложу Эдуарду Ивановичу, как распределились мнения членов совета, — предложил Вревский.

Князь охотно на это согласился и далее на протяжении двадцати или тридцати минут генерал-адъютант энергично и красноречиво, водя по карте пальцем, рассказывал о ходе двухдневного обсуждения, причем у него получалось, что сторонники наступления на Черной убедительны и уверены, противники же — даже не противники, а просто люди малорешительные, колеблющиеся. Главнокомандующий слушал и кивал, однако все время смотрел на Тотлебена, вопросительно и тревожно. Тот всё сильнее нервничал. Рука, лежавшая на ручке кресла, заметно дрожала.

— Что вы думаете о плане сражения? — спросил князь, когда Вревский закончил. — Я не спал две ночи, молил Бога о просветлении, но... Эдуард Иванович, я

привык доверять вашему опыту и предвидению. Как вы относитесь к идее большого наступления?

— ...Которого всей душой желает государь, — с нажимом прибавил Вревский.

— Да-да, на котором настаивает его величество, — поспешно согласился Горчаков. — Возлагая, однако же, на меня ответственность за окончательное решение...

Глядя в скатерть, Тотлебен глухо начал:

— Удар всеми силами через Черную представляется мне неоправданным риском. Насколько я знаю, противостоящие высоты нами не разведаны. Очень возможно, что у французов и сардинцев за первой, видимой линией редутов, созданы дополнительные эшелоны, а по ту сторону холмов стянуты резервы. Ведь мы на их месте точно так же укрепили бы свой фланг, обращенный к главным силам неприятеля. Представьте, Михаил Дмитриевич, что произойдет, если массы нашей пехоты сгрудятся у топких берегов реки, а враг выдвинет из тыла хотя бы несколько легкоконных батарей да ударит картечью?

— Они спяну глаз не успеют продрать, как мы уже захватим мост и взбежим по склонам! — вскричал генерал-адъютант. — Я ведь объяснял, что французы всю ночь будут отмечать праздник! Вы, ваше превосходительство, меня не слушали!

Командующий жестом остановил его.

— Так что ж, Эдуард Иванович? Не наступать? Ответить его величеству... отказом?

— Если государь непременно желает сражения, наш долг как верноподданных повиноваться, это безусловно так... — бледнея, пробормотал Тотлебен. — Но я бы произвел со стороны Черной демонстрацию, заставив противника перекинуть туда резервы, а сам ударил бы из Севастополя, по Доковой и Лабораторной балкам. Если б удалось взять высоты, расположенные напротив Малахо-

ва и Третьего бастиона, мы обезопасили бы самый уязвимый участок нашей обороны, и тогда потери на Черной были бы оправданы...

Вревский горячо с ним заспорил, доказывая, что это получится совсем не то: вместо решительного успеха локальный, который не вынудит союзников снять осаду, а лишь заставит их изменить конфигурацию своей линии. Разве этого хочет государь?

При каждом новом упоминании о воле императора Тотлебен менялся в лице и сбивался. Голос его постепенно слабел, на лбу выступила испарина.

— Ваше высокопревосходительство, — наконец взмолился он, — я чувствую себя нездоровым... Если позволите, я бы хотел, немного отдохнув, изложить все возражения против диспозиции господина барона письменно. Нынче же моя записка будет у вас.

— Конечно-конечно, отдыхайте. На вас нет лица! — вскричал Горчаков, поднимаясь. — Письменно — это даже еще лучше.

Гости удалились. У дверей Вревский обернулся и бросил на Лекса многозначительный взгляд, означавший: дело скверное, вся надежда на вас.

Раненому после отъезда важных гостей действительно пришлось лечь. От волнения у него началась дурнота. Но отлеживался Эдуард Иванович недолго.

— Я буду диктовать, — сказал он слабым голосом. — Пишите, друг мой. Вы сами видели, что мне пришлось вынести, и в точности перескажете всё его высочеству. А с моей реляции главнокомандующему прошу сделать список и приложить его к вашему письму...

И вновь Лекс не возразил ни словом.

Он записал по пунктам все доводы Тотлебена, убедительно и ясно, гораздо лучше, чем при очной встрече, до-

казывавшего всю пагубность генерального наступления на Черной и предлагавшего по меньшей мере половину сил под покровом ночи перекинуть на Корабельную сторону. Генерал перечитал текст, кое-что поправил. Отдали писарям, которые сделали два экземпляра: для командующего и для великого князя.

В третьем часу пополудни Лекс выехал в направлении ставки — об этом попросил сам Тотлебен. «С Богом. Пускай этим шагом я гублю себя, но свой долг перед отчизной я исполнил, — торжественно молвил Тотлебен на прощанье. — Поскольку вы не просто ординарец, а мой помощник и присутствовали при беседе, Горчаков не заставит вас ожидать ответа за дверью. Смотрите, слушайте, а после перескажете: каково повел себя командующий, присутствовал ли Вревский и что он сказал».

Лекс пообещал всё исполнить.

В ставке, расположенной возле руин древнего Инкермана, он отправился к барону Вревскому.

— Генерал Тотлебен прислал меня передать князю и вам, что по зрелом размышлении он, хоть и не без колебаний, почел за благо согласиться с вашей точкой зрения. Поэтому никакой записки его превосходительство составлять не стал.

Павел Александрович так возликовал, что, вскакивая, опрокинул стул.

— Я знал, что могу на вас положиться! Спасена Россия! Дорогой Александр Денисович, мне вас Бог послал! Даже не спрашиваю, какими аргументами вам удалось переломить его слепое упрямство! Обещаю одно: наступит час славы и воздаяния, вы не будете забыты. Слово Вревского!

Он отвел посланца к Горчакову и попросил повторить слово в слово послание от Тотлебена.

— Ну, значит, так тому и быть. Раз уж Эдуард Иванович... — Моргая красными от бессонницы глазами, коман-

дующий смотрел в угол, на икону. — Твоя, Господи, воля, а наше старание... Павел Александрович, все распоряжения по подготовке известны. Пускай части начинают движение к назначенным позициям.

Если в ставку Лекс мчался быстрой рысью, то обратно к Тотлебену отправился не сразу, а ехал шагом.

Уже смеркалось. Громоздкая махина зашевелилась. Ночью десятки тысяч солдат, тысячи лошадей, сотни артиллерийских упряжек и обозных повозок должны были рассредоточиться на высотах и в зарослях по правому берегу Черной. Весь завтрашний день войскам передовой линии предписывалось сидеть тихо, огней не разводить, себя не обнаруживать. Движение резервов будет завершено в ночь с третьего на четвертое августа, и еще до рассвета шестидесятитысячная армия внезапным ударом обрушится на противника.

Лекс уже решил, что перейдет к своим в неразберихе сражения, которое неминуемо закончится катастрофическим разгромом русских. У них нет ни одного шанса. Оба козыря, на которые они рассчитывают — численное преимущество и неожиданность — биты еще до начала игры. На Федюхиных высотах ждут замаскированные батареи, туда стянуты войска, придвинуты резервы.

Оставалось устранить одно обстоятельство, могущее помешать успеху.

— Как вы долго! — вскричал Тотлебен при виде Бланка. — Я уже не знал, что думать! Вревский, должно быть, пытался настоять на своем?

— Нет, — спокойно ответил Лекс. — Ничего такого не имело места. Потому что я и не подумал отдать ваше письмо. Я сообщил князю, что, взвесив все pro и contra, вы согласны с диспозицией.

Генерал разинул рот — да онемел.

— Перед тем, как явиться к командующему, я поговорил с адъютантами и выяснил новое развитие дел. Все генералы, возражавшие на совете против плана Вревского, переменили мнение, о чем известили командующего официальными рапортами. И Липранди, и Хрулев, и Семякин. О том же написал генерал от кавалерии Реад, который отсутствовал вчера и позавчера по болезни — вероятно, дипломатической. Ваше письмо, Эдуард Иванович, ничего бы не изменило. Оно только выставило бы вас черной овцой. Если сражение будет проиграно, вы всегда сможете сказать, что это я виноват. Поступил самоуправно, не передав вашей докладной записки. Я отпираться не стану... Только я бы вам этого не посоветовал.

— Почему? — спросил еще не пришедший в себя Тотлебен.

— Исправить дело будет уже нельзя, а регардироваться ваше заявление будет не по-товарищески. Вам не простят того, что вы один из всех оказались самый умный. Это не понравится никому. Вы испортите отношения со всеми начальниками Крымской армии, а это цвет генералитета... Ну а представьте, что план Вревского при всей рискованности окажется успешен. Тогда ваша диссидирующая позиция будет выглядеть вовсе глупо и может стоять вам карьеры. Обещаю вам также следующее: если случится фиаско, я отправлю великому князю список вашего письма и всё расскажу. Пусть сам решает, сообщать ли об этом императору. Если же случится виктория, я верну копию вам.

— Вы мой ангел-хранитель, — прослезился Тотлебен. И повторил то же, что несколько часов назад сказал барон Вревский. — Мне вас бог послал!

«Вот теперь всё, — подумал Лекс. — Работа исполнена чисто».

НЕ УЙДЕТ!

Холодная ярость, которую Девлет до сих пор считал выдумкой беллетристов, это вот что: внутри всё клокочет и обжигает, а голова беспощадно ясная и по коже мурашки, будто от озноба.

Сколько драгоценного времени, сколько сил потрачено впустую!

Как можно было столь непростительно обмануться? Нет, не обмануться, а дать себя обмануть! И так незатейливо, так оскорбительно!

В течение тринадцати дней все лучшие люди были брошены на слежку за владельцем плаща с капюшоном, за болваном-американцем! А той порой настоящий шпион спокойно исполнял свое задание, суть которого так и осталась неведомой.

Когда Аслан-Гирей улышал, что плащ Финку одолжил «отшэн прыятни тшеловэк господын Блэнк», то аж покачулся в седле. Едва хватило выдержки извиниться перед Иноземцовой, что он на минуту ее оставит.

Нескольких вопросов было довольно, чтобы понять, как сумел Бланк той ночью направить слежку по ложному следу.

Господи, ну конечно же Бланк! Только слепец мог все-ррез подозревать, что жизнерадостный американский говорун с бараньими глазами является сверхважным агентом британской разведки! Вот Бланк — дело иное. Его глаза похожи на стальные заклепки. Сразу видно: на пустяки такой размениваться не станет. И ведь Агриппина Львовна тогда сказала: «Есть в нем некая странность»! У нее чуткая душа. Агриппина Львовна почувствовала в Бланке что-то особенное, это ее заинтриговало, и в результате...

«Постой, постой! — остановил себя Девлет. — Что это ты так затрясся? Только ли от охотничьего азарта? Или

здесь другое? Уж не обрадовался ли ты, голубчик, что избавляешься от соперника? Не слишком ли охотно вцепляешься в эту версию?»

Но сомнений быть не могло.

Врагу сигналил Бланк, потому что именно он от Довогого оврага направился в Николаевские казармы и передал Финку свой плащ. Прибавим к этому совпадение примет и время прибытия в Севастополь. А также то, что Бланк почти безвылазно находился на передовой линии, выказывая особый интерес к Малахову кургану, который является главной целью неприятельских атак. Почти наверняка задание, с которым прибыл шпион, как-то связано с этой ключевой точкой обороны. Он ведь инженер, пользуется полным доверием Тотлебена. Вполне мог выведать какие-то секреты или даже подстроить каверзу...

Здесь Девлет вспомнил, что Агриппина Львовна говорила, будто Бланк сегодня ночью находится при штабе командующего. Зачем это? Что ему, инженеру, делать вне города, посреди сражения?

Ответ может быть только один: хочет уйти к своим. Если так, значит, его задание уже выполнено.

Оставив в покое врача, Аслан-Гирей натянул поводья, заставил коня остановиться. Через полминуты со штабс-капитаном поравнялись помощники. Одного звали Чихирь, второго — Донченко. Когда требовалось не только аккуратно выследить вражеского лазутчика, но и, при неожиданном обороте дела, так же аккуратно взять, Девлет всегда назначал эту парочку. Чихирь был из кубанских казаков-пластунов, много лет промышлял охотой на абреков. А Донченко до войны служил в одесской полиции.

Штабс-капитан объяснил, что план меняется, не вдаваясь в подробности, дабы не ронять авторитета, после чего вновь догнал госпожу Иноземцову.

АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

— Так вы наверное знаете, что барон Бланк нынче при штабе командующего? — как мог небрежной спросил он.

— Да, кажется, его позвал с собой генерал-адъютант Вревский. Не понимаю, как можно из одного интереса ехать туда, где убивают людей? Все-таки он очень странный... Я совсем его не понимаю.

— Да, немного странный, — подтвердил Девлет. И, пользуясь тем, что темно, задал вопрос, который давно уже его мучил. При свете дня, когда глаза в глаза, спросить не решался. — Агриппина Львовна, позволительно ли мне узнать, отчего вы не живете в доме, который я для вас построил?

Кажется, она смутилась. Опустила голову.

— А впрочем, извините. Я не имею права просить у вас отчета в поступках. Простите меня... Я должен вас сейчас оставить. Увидимся позже.

Он ударил шпорами свою каурю, и она, непривычная к подобному обращению, взяла рысью.

— Пойдите! Куда вы? — донеслось сзади, но Девлет лишь прибавил аллюру.

Помощники догнали его за поворотом, когда Аслан-Гирей перешел на шаг.

Паршивый из меня ловец шпионов, мрачно думал он, пробираясь по обочине вдоль дороги, по которой двигались войска. Нечему удивляться, что я так обмешурился. Я обычный артиллерийский офицер. Прилежания и исполнительности много, а контрразведочных знаний никаких.

Что, например, будет, если Бланк в момент ареста скажет: «С ума вы сошли? Поверили какому-то американцу!» И будет слово барона, русского инженера, пользующегося покровительством Тотлебена и Вревского, против слова иностранного лекаря. Других дока-

ЧЕРНАЯ

зательств кроме показаний Финка нет. Не станешь же объяснять начальству про бараньи глаза и глаза-стальные заклепки.

Нет, надобно дожидаться момента, когда шпион попытается уйти к своим, и тогда взять его с поличным. Ничего другого не остается.

* * *

Штаб командующего Аслан-Гирей отыскал легко. Ординарцы пробирались мимо пехотных колонн в одном и том же направлении, доставляя князю Горчакову сведения о продвижении частей.

Большая группа всадников и пеших скопилась в низине, там горели лампы и фонари. Место было выбрано с таким расчетом, чтобы огни нельзя было увидеть с холмов на той стороне Черной.

Девлет спросил, где отыскать Вревского, — показали.

Только увидев поодаль от окруженных свитой генералов знакомую фигуру в штатском, штабс-капитан начал успокаиваться.

Еще не ушел! И теперь уж не уйдет.

Бланк не принимал участия во всеобщей суете. Он покуривал папиросу — свернутую бумажную трубочку с табаком, изобретение нынешней войны.

Рассвет был близок, но по контрасту со светлеющим небом мрак, окутывавший лошину, казался еще беспросветней. Девлет оставил лошадь Чихирю, а сам пристроился у куста — как раз посередине между начальством и Бланком.

В плотной кучке, центром которой являлись князь Горчаков, начальник штаба Коцебу и генерал-адъютант Вревский, а орбиту составляли адъютанты, не умолкали

громкие, возбужденные голоса, но Аслан-Гирей к ним не прислушивался, он не спускал глаз с Бланка.

— Почему Реад тянет? — донесся дребезжащий тенорок командующего. — Сказано же, начать до рассвета! Скачите немедленно и велите: пусть начинается!

— Слушаюсь, ваше сиятельство!

Бешеным галопом в сереющий мрак унесся верховой.

Минуту спустя — посланец еще никак не мог достичь правого фланга, которым командовал генерал Реад, — в той стороне забухали пушки.

Почти сразу же началась канонада слева. Там генерал Липранди должен был атаковать Гасфортovy высоты, занятые сардинцами.

Еще через четверть часа пальба у Реада вдруг прекратилась.

В штабе зашумели, задвигались. Кажется, не могли понять, чем вызвано прекращение артиллерийской подготовки на правом участке. Но Аслан-Гирей по-прежнему занимал только Бланк. Шпион все так же спокойно сидел в седле и не предпринимал никаких действий.

Темнота почти рассеялась, но по долине там и сям за клубился туман. В нем затеряться, пожалуй, еще легче, чем в ночном мраке, а ориентироваться удобно: знай ныряй из одной низины в другую. Очень вероятно, что Бланк специально ждал рассветного часа.

Девлет подал знак своим, чтоб были наготове. Чихирь с Донченко прятались в зарослях, по обе стороны от шпиона.

Однако белая дымка понемногу поднималась кверху, редела, а Бланк всё не трогался с места.

Вернулся офицер, позванный поторопить Реада. К адъютанту бросились с расспросами.

— Передал приказание начать — он и начал, — громко доложил офицер.

ЧЕРНАЯ

— В каком смысле начал?! — крикнул кто-то, кажется, генерал Вревский.

— Пошел на штурм Трактирного моста.

— Но ему было велено всего лишь начинать артиллерийскую подготовку!

— К моему прибытию она уже вовсю шла. Генерал решил, что он должен начинать атаку.

— Не разрушив вражеских укреплений?!

Справа уже некоторое время слышалась частая ружейная стрельба, заглушаемая грохотом пушек, стрелявших с вражеской стороны. Несколько раз докатывалось многоголосое «ура!».

По тому, как горячились и размахивали руками начальники, Девлет понял, что сражение идет не по намеченному плану, однако это его не касалось. У каждого своя задача и своя ответственность. Лично у него: взять вражеского шпиона в момент бегства. Когда тот наконец соберется улизнуть, наверняка двинется в направлении Черной, посерединке между двумя отдельными очагами боя — правым и левым. В центре тихо и относительно безопасно, по-над речкой густой ивняк и камыши. В них-то голубчика и взять. Пусть попробует объяснить, что он делает во время битвы в нейтральной зоне.

Крики и шум вокруг командующего утихли, когда примчался всадник от генерала Липранди и звонко доложил, что Телеграфная высота взята, сардинцы отступили на ту сторону реки, его превосходительство ждет дальнейших приказаний.

Настроение сразу поднялось, кто-то даже закричал «победа!».

Внезапно все задвигались, начали садиться на лошадей.

Так-так: Бланк зашевелился. Подъехал к генерал-адъютанту Вревскому, который лихо, по-молодецки, взлетел в седло нервной, тонконогой английской кобылы.

Девлет спешился и пригнулся, чтоб Бланк его не заметил. Навострил уши. До двух баронов было не дальше десяти шагов.

— Что такое, Павел Александрович? — спросил Бланк.

— Решили перенести командный пункт ближе к Липранди, на Телеграфную гору. Там, кажется, успех. И обзор лучше. Непонятно только, что делается у Реада... Пока он не захватит Федюхины высоты, войска Липранди дальше двигаться не могут. Едьте, Александр Денисович. Главные события еще впереди.

— Я бы желал посмотреть, что у Трактирного моста. Если нужно что-нибудь передать генералу Реаду...

— Конечно, нужно! И очень хорошо, если это сделаете вы, а то дурак-адъютант опять что-нибудь напутает. Скажите генералу, что успех дела зависит от скорости, с которою он захватит холмы. К нему в подкрепление отправлены следующие части...

Бланк перебил Вревского:

— Прошу дать мне записку. Вы знаете, как армейские относятся к людям в штатском.

— Да, вы правы...

Пока Вревский строчил карандашом по блокноту, Аслан-Гирей ретировался на край поляны.

Вот теперь поведение шпиона совершенно объяснилось. Бланк не хотел рисковать, пробираясь через кишашую войсками равнину. Любой начальник мог бы остановить и задержать штатского человека, непонятно куда едущего в разгар сражения. А с письмом от генерал-адъютанта Вревского к начальнику авангарда Бланк мог чувствовать себя в полной безопасности.

— Он может поскакать галопом. Не отстанете? — спросил Девлет у помощников.

ЧЕРНАЯ

— Яким таким халопом, — спокойно ответил Чихирь, почесывая заплатанный локоть старого бешмета. — По дорохе вона пушки да телехи. Кажете тож — халопом. А коли рысю, от Донченки мабуть и уйдець, от менэ — ни в жисть.

— Болтало ты, — огрызнулся Донченко. — Когда от меня кто уходил?

— Тсс! — цыкнул на них Девлет. — Едет! Не подведи, ребята! Следуйте за ним. Как свистну — налетайте и сшибайте его с седла. Только глядите: не раньше, чем свистну!

Следовать за Бланком можно было безо всякой боязни. На дороге происходило сущее столпотворение. Если б шпион даже озирался, в этой толкучке он слежки все равно бы не заметил.

Туда, откуда доносилась частая, с каждой минутой усиливающаяся пальба, шли плотные колонны пехоты, тащились орудийные упряжки. На обочине лежала перевернувшаяся пушка, ее облепили, как муравьи, сопящие артиллеристы, на них матерился батарейный командир. Навстречу сплошной вереницей тянулись раненые. Кто-то ковылял сам, кого-то вели под руки. Солдаты, еще не добравшиеся до места боя, пилились на окровавленные тряпки, почтительно спрашивали, как оно там.

Страдальцы отвечали: он бьет как скаженный; народу полегла пропасть; такой ужести никогда еще не бывало.

Аслан-Гирей знал, что раненые, едва выбравшиеся из под огня, всегда говорят одно и то же, поэтому значения этим разговорам не придавал.

Однако, когда, двигаясь за Бланком, достиг командного пункта, с которого генерал Ред руководил штурмом Федюхиных высот, увидел, что дело и в самом деле жаркое.

Французское укрепление, защищавшее мост, уже было взято. Солдаты уходили в туман, на ту сторону реки: кто по мосту, кто вброд. Там, в рассветной мгле, грохотало и сверкало, и разрывы вставали так густо, что Девлет не видывал подобной частоты огня во время генеральных бомбардировок.

Бланк подъехал к Реаду, очень немолодому, но осанистому и бравому генералу, сидевшему в седле подбоченьясь. Зычно, с короткими интервалами, начальник кричал идущим мимо солдатам одно и то же:

— Молодцы, азовцы! Задай французу жару! Молодцы, азовцы! Задай французу жару!

— Рады-старас-ваш-пресво! — отвечали роты и одна за другой исчезали в мареве.

Что говорил начальнику Бланк, штабс-капитан не слышал. Генерал взял бумагу, отодвинул ее подальше от дальнотзорных глаз, прочитал.

— Очень хорошо! — лающим басом ответил он. — Подкрепления мне нужны! Второй полк вчистую кладу!

Барон опять что-то сказал.

— Как угодно! — гаркнул генерал. — Желаете полюбоваться, как гибнет дивизия — оставайтесь! Видите; как по нам бьют? Врасплох, а? — Он оскалил зубы, будто хотел расхохотаться, но забыл, как это делается. — Твою мать! Ждали они нас, ждали! Хорошо подготовились! — И тем же голосом, но уже не Бланку, а солдатам: — Молодцы, азовцы! Задай французу жару!

Бланк отъехал чуть в сторонку, к развалинам полуобвалившегося каменного дома (вероятно, того самого трактира, по которому мост получил название Трактирного). Стена могла служить укрытием от неприятельских снарядов, которые нет-нет да и залетали в тыл.

Оглядевшись, Аслан-Гирей увел людей под старый мертвый дуб. Его корявый, в несколько обхватов ствол

мог защитить если не от осколков бомбы, то по крайней мере от ядра.

Чего теперь дожидается шпион, было непонятно. Никто не обращал на него внимания. Нырни в заросли, обогни место боя — и через десять минут выйдешь к речке в тихом месте, а там и до своих рукой подать.

Но шли минуты, миновал целый час, а Бланк стоял, будто приклеенный.

Войска ходили в атаку снова и снова: вперед бежали с криком «ура!», толкаясь и мешая друг другу; обратно возвращались мелкими группками, спотыкаясь, с выпученными глазами и разинутыми, но безгласными ртами.

Это поршнеобразное движение повторялось снова, снова, снова.

— Молодцы, украинцы! Задай французу жару! — кричал генерал.

— Молодцы витебцы!

— Молодцы могилевцы!

— Молодцы полочане!

— Молодцы галичане!

— Молодцы, костромичи!

Потом, уже вконец охрипнув и, видно, сам запутавшись, снова:

— Молодцы, галичане! Задай французу жару!

Туман давно рассеялся, но впереди — над мостом и рекой — клубился черный дым, и разглядеть все равно ничего было нельзя.

Огонь неприятеля не ослабевал, а только усиливался.

Теперь снаряды долетали до тыла всё чаще. В двадцати шагах гранатой убило лошадь и казака. Разрывом сорвало фуражку с генерала — он сердито надел ее обратно, вырвав из рук ординарца.

А где-то между «молодцы-полочане» и «молодцы-галичане» над головой раздался страшный треск: ядро уго-

дило прямо в дуб. Девлет успел отскочить в сторону, а Донченке обломанный сук ударил по руке — она повисла плетью.

Чихирь ловко привязал палку, и Донченко сказал, что желает остаться, но штабс-капитан погнал его в тыл:

— На что ты мне однорукий? Отправляйся на перевязку, пускай тебе настоящую шину наложат. Вдвоем управимся.

Еще через четверть часа снаряд попал в каменную стену, за которой прятался Бланк. Тот упал.

Аслан-Гирей, чертыхнувшись, кинулся вперед. Как будет глупо, если шпион погибнет, так ничего и не рассказав!

Барон, однако, сразу же поднялся на ноги и стал отряхиваться. Кажется, он был невредим. Но спрятаться Девлет уже не успел: Бланк увидел знакомого.

— Вы? — пробормотал он, и не похоже было, что сильно удивился.

Губы у Бланка дергались.

Всего долю секунды колебался штабс-капитан, а потом решил: коли уж так вышло — карты на стол.

— Я! — громко сказал он, выхватывая из кобуры пистолет. — Не двигайтесь! Я вас арестовываю! Эй, Чихирь!

— Арестовываете? Чихирь? — повторил Бланк. — Бред...

Но Аслан-Гирей был уже совсем рядом и увидел, что шпион смертельно бледен.

— Не бред, а плащ с капюшоном! — выкрикнул Девлет. — Что моргаете? Думали, мы идиоты?

«Трясется, трясется от страха стальной человек с глазами-заклепками!» — подумал он со злобным торжеством.

РЕЗУЛЬТАТ

Во всем русском лагере только один человек сознавал полную картину происходящего.

Лекс без труда мог представить, как выглядит долина реки Черной и окружающая местность, если поглядеть сверху, из-под предрассветных облаков.

Двумя огромными потоками подходят, концентрируются и рассредотачиваются русские штурмовые колонны: одна напротив Федюхиных высот, другая напротив Гасфортových. Возвышенности эти обращены к реке крутыми скатами. Наверху батареи и ложементы для стрелков. А дальше — по всему спуску, по низине, в несколько эшелонов, ждут французские, английские, сардинские и турецкие резервы. Сколько бы раз русские ни ходили в атаку под картечным огнем, сколько бы раз ни карабкались по круче, союзникам достаточно подвести новые войска — и штурм будет отбит. Горчакову с Вревским представляется, что они напали на врага врасплох и обладают по меньшей мере двойным преимуществом. На самом же деле атаку ждут, и это у генерала Пелисье на ее направлении по меньшей мере вдвое больше солдат, а пушек — так и впятеро.

По пути к месту сражения Лекс пребывал в странном, опьяняющем состоянии. *Всё, что сейчас произойдет, — его рук дело.* Это событие, которое решит судьбу Севастополя, войны, России, Европы, сделал возможным он!

Конечно, можно было перебраться на ту сторону сразу же, еще до начала артиллерийского обстрела, но Лекс хотел собственными глазами видеть результат своей неустанной и самоотверженной — да, именно самоотверженной — работы.

Из разговоров в штабе он понял, что горчаковское окружение ошибочно полагает, будто самое кровопролит-

ное и трудное дело предстоит исполнить левому отряду генерала Липранди, штурмующему позиции сардинцев, — те ведь не отмечали день рождения Луи-Наполеона. На самом же деле Бланк, зная всю линию союзного фронта, очень хорошо понимал, что Гасфортова гора не может быть атакована, пока не взяты Федюхины холмы на правом фланге. А холмы эти примыкают к монументально укрепленной Сапун-горе, и туда очень удобно подтягивать подкрепления.

Поэтому, когда в штабе началось ликование из-за успеха генерала Липранди и князь велел переместиться в том направлении, Лекс решил, что делать там нечего. Главные события произойдут на правом фланге, которым командуют генерал Реад и его начальник штаба Веймарн. Туда Лекс и отправился, вооружившись в качестве охранной грамоты письмом от Бревского.

Когда Бланк занял позицию для наблюдения рядом с штабом Реада, было около пяти. Солнце уже взошло, но пока осветилось только небо, а долина, стиснутая между холмами, еще пряталась в тумане и сумраке.

Первую волну наступления Лекс застал на откате, но без труда вычислил, что произошло.

Одесский полк взял предмостное укрепление, откуда французы благоразумно убрались сами, чтоб избежать лишних жертв. Так же легко одесцы захватили Трактирный мост и начали скапливаться на противоположном берегу. Тут-то по заранее намеченным участкам и ударили пушки, открыли огонь стрелки. В несколько минут от полка почти ничего не осталось. Мимо полуразрушенной стены, за которой устроился Бланк, пронесли смертельно раненного полковника.

То же самое произошло с Азовским полком: он форсировал реку, растерял под огнем половину солдат и почти всех офицеров, откатился.

Больше всего Лекс боялся, что Реад, осознав невыполнимость задачи, прекратит наступление. Но опасения были напрасны. Когда это русские начальники жалели своих людей и боялись лишней крови?

Превосходный генерал совершенно таким же манером отправил на бойню и третий полк. Командира вынесли мертвым; дивизионного начальника, который пошел в бой с солдатами, — раненым. Двенадцатую дивизию можно было считать несуществующей.

Но Реада это не остановило.

Не веря собственным глазам, позабыв обо всем на свете, в том числе о собственной безопасности, Лекс наблюдал, как упрямый генерал гонит одним и тем же путем полк за полком.

Это продолжалось без конца. Подступы к реке были завалены трупами. На самом мосту тела лежали в несколько слоев. Но генерал, как заведенный, всё кричал, чтоб французу задали жару, колонны бодро отвечали, и командиры вели своих солдат на верную смерть. А солдаты шли! Прямо по мертвым и тяжело раненым, выставив в небо допотопные гладкоствольные ружья с бесполезными против картечи штыками!

В начале боя, когда поблизости падала граната или с визгом пролетало ядро, Лекс говорил себе: «Это ничего, если я сейчас погибну. Дело сделано. Деспотия обречена на поражение. Теперь России придется измениться: отказаться от крепостного рабства и рекрутчины, провести реформы. Страна платит за это страшную, кровавую цену, но что ж поделаешь, если по-другому они не понимают?»

Час спустя он уже ни о чем не думал, не обращал внимания на участвовавший обстрел. Не осталось ни торжества, ни осознания исторической значимости момента — только ужас и недоумение. Он ничего бы не пожалел, да-

Анатолий Брусникин

же жизни — что жизни, даже надежд на светлое будущее России — если б только можно было прекратить безумное истребление.

«Остановитесь! Почему вы слушаетесь этого мясника? — крикнул бы он солдатам. — Вы герои, но героизм достоин лучшего применения! Уже всё! Хватит! Я не хотел этого! Столько крови — нет, не хотел!»

Но кто б его услышал и кто бы послушал?

Больше всего Лекс сейчас ненавидел генералов, преспокойно подкидывавших всё новый и новый человеческий хворост в бурно пылающий костер. Дуболома Реада, нахохлившегося в седле безучастного Веймарна. Они казались ему воплощением той самой России, которую он ненавидел. Тупые, бесчувственные служаки, думающие лишь о том, чтоб потрафить высшей власти, заботящиеся только о собственной выгоде, ни в грош не ставящие жизнь подчиненных! Мерзавцы, звери, палачи!

Но вот генерал Веймарн, коротко что-то сказав Реаду, спешился, неуклюже вынул из ножен саблю и пошел к мосту впереди очередного — Костромского — полка.

Через десять минут горстка уцелевших после расстрела костромичей вернулась, неся тело, накрытое шинелью с алыми отворотами. Реад покосился в сторону носилок — и только.

— Галицкий полк в атаку! — крикнул он хриплым голосом.

Кто-то ему ответил:

— Галицкий уже ходил, ваше превосходительство! Там едва батальон остался... Резервов больше нет.

— Галицкий полк в атаку! — рывкнул генерал. — Сам поведу!

Лекс отвернулся. Его мутило.

«Что за страна? Что это за страна? — сказал он себе. — Я хочу ее изменить, но я ее не понимаю! Сначала

ЧЕРНАЯ

нужно понять, сначала — понять. Но поздно, поздно...». А что именно «поздно», объяснить не сумел бы.

Что-то оглушительно затрещало, воздух сделался горячим, твердым и швырнул Лекса на землю. Все звуки пропали.

«Убит? Как хорошо!» — пронеслось в помутившейся голове, но из горла подступил судорожный кашель, слух прочистился, занял ушибленный локоть, и Бланк понял, что он жив и, кажется, цел — просто сбит с ног взрывной волной.

Кто-то быстро бежал к нему.

Лекс не удивился, увидев штабс-капитана Аслан-Гирея. Не удивился и наведенному пистолету. Он сейчас вообще ничему бы не удивился — даже если б Черная речка превратилась в зияющую черную щель и втянула бы в недра земли весь этот кривой, сумасшедший, переставший быть понятным мир.

— Арестовываете? Чихирь? — тупо повторил Бланк. — Бред...

Но когда офицер, ведающий русской контрразведкой, помянул о плаще с капюшоном, очнулся инстинкт самосохранения. Он подстегнул заledenевшую кровь, сердце застучало часто и ровно, мысли прояснились.

Какой-то бородатый оборванец в пыльной черкеске, с огромным кинжалом на поясе и винтовкой на ремне, встал рядом, очень близко, задышал потом и чесноком. Лекс от него отодвинулся, настороженно слушая штабс-капитана. Тот бросал короткие, злые фразы. Узкие глаза ненавидяще шурились.

— Не имею в своем гардеробе офицерского плаща с капюшоном, — пожал плечами Лекс. — И никогда не имел. Что с вами, сударь? У вас деменция? Ежели так, ступайте к лекарю. Нашли время и место для припадка.

— У лекаря я уже был. — Аслан-Гирей усмехнулся краем рта. — И он мне всё рассказал, так что запираться бесполезно. Лекаря зовут Арчибальд Финк!

— Финк? — Бланк сдвинул брови. — Что вы можете знать про Арчибальда Финка?

— Я многое про него знаю, но важно лишь то, что я напрасно подозревал его. Ваш фокус с плащом сбил меня со следа, но лишь на время.

— Опять вы про какой-то плащ... — Лекс впился глазами в раскрасневшееся лицо офицера. — Ну, теперь я вас не отпущу. Извольте сделать объяснение! Чем вы связаны с Финком? Нет, сначала отвечайте, что вы такое. Почему вы можете кого-то в чем-то подозревать и сбиваться со следа? Кто вы?

— Я начальствую над службой контршпионажа, — улыбнувшись теперь уже обеими половинками рта, объявил штабс-капитан. — Моя забота — ловить шпионов. Таких, как вы.

Кажется, он ждал, что это сообщение поразит собеседника. И Бланк его не разочаровал.

Он ахнул, вполголоса выбранился.

— Теперь вам всё ясно? — Татарин торжествовал. — Оружие при себе имеете?

Лекс молчал, изображая внутреннюю борьбу.

За него ответил бородатый оборванец:

— У них в кармане... Зараз облегчу.

С неожиданной ловкостью он выхватил у Лекса из кармана «лефоше», повертел в руке.

— Левольверт... Ваше благородие, дозволейте я приберу?

И спрятал оружие за пазуху.

— ...Вот оно что, — сказал Лекс, даже не покосившись на казака. — Вечная русская притча про правую и левую руку... Что ж, сударь, примите поздравления. Вы

шли по хорошему следу, но бросили его ради ложного. Это не делает вам заслуги.

— Что? — удивился Аслан-Гирей. — Если вы петляете, это глупо. Я устрою вам очную ставку с Финком. Думаю, нетрудно будет добыть и свидетелей, которые в ночь с двадцатого на двадцать первое были в лазарете и видели, как вы пришли в Николаевскую казарму.

— Да, очная ставка понадобится. Если только не поздно. Боюсь, что мистер Финк уже далеко, — сказал Лекс со злостью. — Вы его вспугнули своими расспросами. Как же он сейчас потешается над нами обоими! Я чувствовал, что он меня подозревает! Иначе он не наслал бы вас на меня!

Он сунул руку во внутренний карман. Казак немедленно выдернул кинжал и приставил Лексу к горлу, но Бланк с досадой оттолкнул клинок.

— Нате, господин прозорливец, читайте!

Штабс-капитан вынул из конверта письмо за подписью шефа жандармов князя Орлова. Прочел. Заморгал. Побледнел.

А Лекс сердито стал объяснять только что выдуманную легенду:

— Я никакой не инженер. То есть инженер, но прибыл в Севастополь с другой целью. Нашей службе стало известно, что англичане отправили в город очень важного агента. Мне было поручено найти его, установить все его связи. Первую задачу я исполнил. Это Финк, прикидывавшийся американцем, хотя на самом деле он британский подданный и закончил Оксфорд.

— Я знаю... — пробормотал потрясенный Аслан-Гирей и посмотрел бумагу на свет.

Проверяй-проверяй. Всё подлинное.

— А вы, милостивый государь, испортили мне всю аранжировку! Теперь Финка не сыскать днем с фонарем!

Анатолий Брусникин

— Господи, какое счастье, — очень тихо сказал вдруг татарин. — Какое счастье, что всё так, а не этак. Ее бы это унизило...

Вот теперь Лекс, действительно, удивился.

— О ком вы? При чем тут счастье?

— Я рад, что мы по одну сторону. — Штабс-капитан вернул письмо. — И вы, конечно, правы. Я слишком легко поверил Финку. Однако, может быть, еще не всё потеряно. Ему было бы слишком рискованно уходить на ту сторону в разгар сражения. Легко попасть под шальную пулю хоть с той стороны, хоть с этой. Кроме того, исчезновение лекаря из полевого лазарета в такое жаркое время будет сразу замечено. Гораздо легче затеряться, когда начнется эвакуация раненых.

Бланк с сомнением качнул головой.

— На его месте я бы рискнул, но, возможно, в ваших словах есть правота. Финк человек осторожный. Он может счесть, что в суматохе сражения мы так быстро до него не достигнем. Где полевой лазарет?

— У Телеграфной горы. — Офицер показал в направлении левого фланга. — Поспешим!

Вот теперь самое время уходить, сказал себе Лекс. Кажется, это будет нетрудно. Всё складывается удачно.

— Тогда берем короткий путь! — деловито воскликнул он. — Не по дороге, она вся забита ранеными. Напрямую, вдоль русла реки!

* * *

Все же пришлось сделать небольшой крюк по дороге, чтоб обогнуть луг, на котором вскидывалась земля от французских перелетов.

Лекс с Аслан-Гиреем рысили вдоль обочины, казак размашистой побейкой поспевал следом.

Впереди на перекрестке встретились двое запыленных всадников. Оба с витыми шнурами — адъютанты. Тот, что двигался из тыла, крикнул:

— Что у вас, Пьер? Я от князя к генералу Реаду. Взяли вы наконец Федюхины?

— Какое! Я к вам, с донесением. Реад только что убит, — ответил второй так же громко — иначе из-за канонады разговаривать было невозможно. — У нас все генералы выбиты, командовать некому.

Было еще только девять утра, но, судя по тому, что крики «ура» стихли, а ружейная пальба ослабела, сражение уже завершилось. Пушки союзников стреляли по-прежнему часто, но теперь их огонь был сосредоточен на дальних подходах к реке — очевидно, чтоб помешать прибытию новых русских резервов.

Однако резервов у князя Горчакова, кажется, не оставалось. Поток людей на дороге был односторонним: в тыл тянулись раненые, отбившиеся от частей и просто ошалевшие, кто брел куда глаза глядят.

— Ваш благородь, — догнал Аслан-Гирея глостун, — ну его, шлях энтон. Возьмем поймой, оно швыдче выйдет.

— Давай, Чихирь, веди. Мы за тобой.

Свернули с дороги в заросли камыша.

Здесь тоже попадались мертвецы, но не сплошь, а кучками — вокруг воронок.

Обойдя открытое место, казак взял ближе к реке — наверное, так путь был короче.

Двигались то через кустарник, то через высокую болотную траву.

Самое время, убеждал себя Бланк. Пора!

Вокруг ни души, если не считать убитых. Возвращенный револьвер в кармане. Два выстрела — и кончено.

Нет, лучше не здесь. Вон впереди снова камыши, а за ними сразу речка. Из воды торчит трава — значит, мелко.

— Погодь, ваше благородие...

Чихирь поднял руку, перекинул штуцер через локоть.

— Мурахи по хребту. Больно тихо. Пойду-ка, догляжу...

Осторожно ступая, он двинулся к камышам один.

— Подождем, — не оборачиваясь, сказал Аслан-Гирей, остановил свою каурую и положил руку на кобуру. — У него чутье. Зря не станет...

На этой поляне, вероятно, накрыло батарейным залпом пехотную колонну. Четыре черные ямы от разрывов, вокруг разбросано десятка три тел.

«Хватит малодушествовать! — приказал себе Лекс. — Удобнее случая не будет! Сначала пластуна в спину. Татарин обомлеет. Вторую пулю ему, в упор. Ну же!»

Но пальцы только сжимали рифленую рукоять, а приказа не слушались.

Он даже вынул руку из кармана и посмотрел на кисть — все ли с нею в порядке?

Противно стрелять в спину? Конечно, противно. Но сделать это необходимо. Иначе разоблачение неминуемо. Что за паралич воли?!

Он снова сжал рукоять и даже потянул «лефоше» из кармана, но это был чистейшей воды самообман. Повторялось то же, что однажды уже случилось на террасе посольского особняка в Дрездене. Оказывается, хладнокровно умертвить человека, который не ожидает нападения, железный человек Александр Бланк не способен.

«Значит, десять тысяч ты можешь, а двоих — никак?» — спросил он себя.

Получалось, что никак.

«Ну и пропадай ни за грош, слюняй!»

— Да, револьвер лучше держать наготове, — сказал Аслан-Гирей, мельком оглянувшись. — Мало ли...

Конец фразы был заглушен нестройным залпом.

Лекс увидел, как над камышами взметнулось несколько дымных полос, а больше ничего разглядеть не успел. Лошадь, захрипев, скакнула вбок, вздыбилась — и Бланка выбросило на траву.

Он не почувствовал боли от удара. Прокатился по земле, перевернулся, вскочил.

Чихирь лежал неподвижно. Штабс-капитан упал вместе с конем и не двигался. А из зарослей, пригнувшись, выбегали люди в красных фесках — четверо, нет, пятеро.

В первый миг Лекс подумал, что это турки, но мундиры были синие, французские. Зуавы! Первый — с пышными рыжими усами — наставив штык, бежал прямо на Бланка.

Огромное облегчение — вот чувство, которое испытывал сейчас Лекс.

Никого убивать не пришлось. Всё устроилось. Верил бы в Бога — прочел бы благодарственную молитву.

Прихрамывая, он сам двинулся навстречу французам. Револьвер убрал в карман, чтоб продемонстрировать отсутствие враждебных намерений. Еще за десять шагов предупредил рыжеусого:

— Je suis un officier anglais!¹

Но зуав будто не слышал. С утробным рычанием он нанес удар — Лекс чудом увернулся от острия, которое пронзило бы его насквозь.

— Je suis un officier anglais! — выкрикнул он. — Qu'est-ce que vous...²

Ощерив желтые от табака зубы, француз взмахнул ружьем еще раз. Теперь Лекс был наготове — и все же,

¹ Я английский офицер! (фр.).

² Что вы себе... (фр.).

отпрыгнув, не удержался на ногах. А следом подбегали остальные, и, хоть они не могли не слышать его крика, по лицам было видно: убьют.

Это мародеры, понял Бланк. Перебрались на этот берег обирать убитых. Им плевать, кто я. Я для них — золотая цепочка от часов.

Но бежать некуда, и нет времени вытащить револьвер. Как глупо!

Выстрел.

Рыжеусый мотнул головой, уронив феску. Развернулся вокруг собственной оси. На бритом затылке чернела дыра. Упал.

Четверо остальных, не добежав до Лекса нескольких шагов, опрометью бросились назад в камыши.

— *Au secours, camarades! Au secours!*¹ — заорал кто-то из них.

Это выстрелил штабс-капитан. Он полулежал на земле, опираясь на локоть. Бросил дымящийся пистолет, вынул второй. Лошадь поднялась на ноги и, дрожа всем телом, пританцовывала рядом.

— Сюда, барон! Скорее! — крикнул татарин.

Бланк бросился к нему, подальше от камышей.

— Зачем было кидаться так безрассудно? — сипло сказал Аслан-Гирей. — Слышали, они зовут на помощь? Там есть и другие...

Действительно — из камышей доносился хруст, французское лopotание, топот ног.

— Вы ранены? — спросил Лекс, опускаясь на корточки. — Обхватите меня за шею.

— Да... В бок... Не возитесь со мной. Нет времени. Пропадем оба. В седло — и прочь. Быстрее!

— Я вас не брошу.

¹ На помощь, друзья! На помощь! (фр.)

ЧЕРНАЯ

Бланк приподнял раненого. Разум разумом, но всему есть пределы. И будь что будет.

Треск. Над головой просвистела пуля. Из камышей один за другим выбегали люди в красных шапках.

— Оставьте, — сказал татарин. — Она любит вас. Третьей потери ей не пережить...

Стиснув зубы, Лекс наконец оторвал раненого от земли.

— Ну коли так, — прохрипел Аслан-Гирей, — я не оставлю вам выбора.

Ухо, в которое были произнесены эти слова, внезапно оглохло. Щеку Лекса обожгло струей воздуха. На лицо брызнули горячие капли, а штабс-капитан вдруг стал таким тяжелым, что пришлось его выпустить.

Из-под подбородка у Аслан-Гирея густо текла кровь. Единственный глаз закатился под лоб.

Зуавы стреляли на бегу. Лексу показалось, что кто-то рванул ворот сюртука, да еще оцарапал острыми ногтями. Схватился за шею, посмотрел — пальцы были красные.

Тогда, перестав о чем-либо думать и полагаясь лишь на инстинкт, Бланк одной рукой схватил лошадь самоубийцы за узду, другой рукой со всей силы хлопнул по крупу, побежал рядом с разгоняющейся каурой, со второй попытки попал носком в стремя, взлетел в седло и помчал к деревьям, прочь от выстрелов и криков.

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ

Если бы у меня была дочурка, которой никогда не будет, я бы рассказала ей сказку, — думала Иноземцова, сидя прямо на траве, а спиной прислонившись к дереву. Глядела она вверх, на облака. Смотреть на то, что про-

исходит на земле, сил у нее уже не оставалось. Сказка получилась бы такая. Жила-была одна девочка, к которой окружающие всегда относились как к принцессе, потому что считали ее несказанной красавицей и глядели на нее, как на чудо...

Привычка мысленно разговаривать с собой была давняя. Потому что разговаривать не с кем. То есть люди-то вступали в беседу с Агриппиной очень охотно, но когда рядом кто-то появлялся, нужно было не говорить, а слушать. Было в ней нечто, побуждавшее к откровенности, но ответной доверительности от Агриппины вроде как и не ждали. К этому она тоже привыкла. Пускай. Все равно ни с кем не поговоришь так свободно, как с собою.

«Но она была никакая не принцесса, а самая обыкновенная девочка, и хотелось ей того же, чего хочется обыкновенным девочкам: счастья, покоя, радостного утра и тихого вечера, а больше всего любви...»

На этом сказка, едва начавшись, оборвалась, потому что Иноземцова подняла руку поправить волосы, заметила на белом манжетике брызги крови и расстроилась. Закончив дежурство, Агриппина протерла все открытые участки тела спиртом и переделалась в чистое. Но крови на ней было так много, что вот и сменное платье запачкалось.

С половины четвертого, когда, еще до начала боя, в полевой лазарет доставили первого раненого (обозному солдату лошадь копытом пробила голову), и до девяти часов Иноземцова работала без остановки. Такого количества раненых не привозили еще никогда. Врачи, фельдшеры, сестры не имели ни минуты отдыха, а на поляне перед полотняным навесом все накапливались ряды носилок, и санитарные повозки продолжали везти стонущий, охающий груз, а многие приплетались в лазарет сами.

Подмога, вызванная старшим лекарем еще на рассвете, добралась до Телеграфной горы всего полчаса назад — по дорогам не пройти и не проехать. Если б Иноземцову не сменили, она, наверное, вскоре упала бы в обморок от усталости. А может, и не упала бы. Ей часто приходилось поражаться собственной выносливости — что телесной, что душевной.

Отчистилась, переделась, еле добрела до края поляны — на большее не хватило сил — и рухнула под деревом, велев себе не слышать криков и смотреть только в безмятежное небо.

Она стала мечтать, как вернется в лагерь и примет ванну. Невероятная роскошь! Милый, милый Аслан-Гирей. С каким тщанием обустроил он для нее жилище! Там можно побыть наедине с собой, когда устанешь от людей. Можно понежиться в теплой воде. Можно коснуться пальцами клавиш. Только жить там, к сожалению, нельзя.

Бедный Девлет Ахмадович давеча спросил, почему она туда не переселилась, что в домике не так? И не объяснишь ведь ему, такому деликатному.

Он продумал всё до мелочей, обо всем позаботился, только латрины не предусмотрел. Воображает, что она сделана из воздуха и никогда не посещает отхожих мест. Трогательный и смешной.

Иноземцова рассмеялась вслух. Санитары, тащившие мимо носилки с громко стонущим офицером, изумленно покосились на женщину, которая среди крови и крика посиживает себе на травке и чему-то радуется. Агрипина этих взглядов не заметила.

Она улыбалась, думая, какой превосходный человек Аслан-Гирей и как это замечательно, что он не участвует в ужасном сегодняшнем сражении.

Но улыбка ненадолго задержалась на ее лице.

Мысль Иноземцовой повернула в привычном направлении. Одно происшествие нынче кольнуло ее в самое сердце, хоть оно на время дежурства и было всемерно укреплено от чувствительности. Когда ассистируешь хирургу, эмоций быть не должно. От сестры требуются зрение, слух и быстрые, ловкие руки, а все прочее во вред делу.

Но на стол положили совсем юного офицерика с тяжелой, хоть и не опасной для жизни раной. Осколком гранаты бедняжке разворотило весь пах. Мальчик захлебывался от рыданий и все повторял: «У меня никогда ничего не было и теперь уже не будет! Не было и не будет!»

— Это ничего, — прошептала ему Агриппина в самое ухо. — У меня тоже не было и не будет. В жизни есть другие вещи. Вы увидите.

Никогда и никому она в этом не признавалась, а тут поддалась порыву. Кажется, раненый ее не понял. А может быть, не услышал, раздавленный своим несчастьем.

Заодно вспомнилось, как третьего дня милосердная сестра Крюкова, из киевских монахинь, сказала — неважно, по какому поводу: «Вот вы, Агриппина Львовна, женщина опытная, два раза замужем побывали...»

Да уж, опытная.

Первый брак длился один день и одну ночь. Вторым вышел того короче.

Двадцать один год был Саше, ей — восемнадцать. На флоте обзаводиться семьей прежде достижения лейтенантского чина не дозволялось, разве в порядке особого исключения. Но Саша был настойчив и разрешение получил. Случилось это неожиданно, когда корабль уже приготовился к дальнему плаванию и ждал лишь окончания многодневного штiria.

Свадьбу справили *impromptu*, безо всякой подготовки. Хорошо хоть платье Агриппина сшила заранее.

От внезапности она ужасно нервничала, сердце сжималось до колик. Старшие подружки (тогда у нее еще были подружки) успокаивали, говорили, что страх этот обыкновенный, девичий, что все невесты боятся. Но это — теперь-то ясно — было предчувствие.

А девичий страх, если и был, улетучился, как только они остались вдвоем в спальне. Саша дрожал еще больше, чем она, боялся поднять глаза и делал вид, будто не замечает разобранной постели. Они ведь никогда, ни разу даже не поцеловались. Поцелуй перед аналогом не в счет, а прежде того он только к руке ее прикладывался, и то губами не касался. Саша ей всё стихи читал, из Лермонтова и Жуковского.

— Давайте разговаривать, — сказала ему Агриппина. И подумала: нельзя же сразу после Жуковского и застенчивого румянца раздеваться друг перед другом догола и делать то, о чем рассказывали замужние подружки. Штиль — все говорят — продержится еще не меньше недели. Пусть всё произойдет постепенно.

Саша вздохнул с облегчением. Они весело проболтали до поздней ночи. Перед рассветом, проголодавшись, поели винограду с сыром, а потом он ушел спать в диванную. На прощанье поцеловались в губы, и что-то такое Агриппина ощутила — сжимающее, трепетное. Всё у нас будет хорошо, подумала она в тот миг. Быть может, уже завтра.

Но на завтра вдруг задул норд-вест, с корабля за Сашей пришел вестовой. Она стояла на пирсе, махала платком и плакала. И плакала потом еще два с половиной месяца, каждый день. Когда же пришла почта с извещением, что мичман Ипсиланти во время шторма в Бискайском заливе смыт волною за борт, Агриппина плакать перестала. Что толку, если жизнь все равно кончена?

Второго мужа она звала про себя «Платон Платонович» или «Капитан». Не хватило времени сойтись настолько, чтоб обращаться к нему просто по имени.

Иноземцов очень ей нравился, и чем дальше, тем сильнее, но Агриппине казалось, что по-настоящему она его не любит. Сравнить, конечно, особенно было не с чем, но она всё вспоминала тот единственный поцелуй и как внутри у нее что-то сжалось и разжалось. Когда она была рядом с Платоном Платоновичем, ничего подобного не происходило.

Однако к моменту вступления во второй брак Агриппина давно уж перестала быть юной дурочкой и твердо усвоила, что жизнь — не баллада Жуковского. Встретился прекрасный человек, полюбил тебя, и ты к нему равнодушна — чего же боле?

Свадьба получилась еще скомканней, чем в первый раз. Но теперь Агриппина очень хорошо сознавала, что эта ночь, сколько ни молись, может стать последней. Поэтому, когда вернулись из церкви в дом, сама взяла Капитана за руку и повела в спальню. Обняла, хотела поцеловать, но губы у нее были холодные и сухие. Платон Платонович тихо сказал:

— Не нынче. После. Вы меня пока еще не любите.

И вот тогда она со всей определенностью поняла, что обязательно, непременно его полюбит — не только рассудком, как сейчас, а всем существом. Бог милостив, Он убережет для нее Платона Платоновича. Потому что такая любовь заслуживает развития и завершения. И очень может быть, что нынешнее воздержание станет той жертвой, которая склонит невидимые весы судьбы в пользу Капитана.

Жертва пропала зря. Бога никакого нет, а есть ненасытная богиня Беллона. Благородный Капитан отправился в иные миры, командовать погибшим фрегатом, на-

званным в честь разлучницы, Агриппина же осталась на земле — дважды вдовой, но по-прежнему девицей, и теперь уж навсегда.

С тем, что любви в ее жизни не было и не будет, Иноземцова давно смирилась. Она могла бы принять постриг, как это сделали, поступив в сестры милосердия, некоторые вдовы, да только в Бога после гибели Капитана верить перестала. В страшный день первой бомбардировки она много часов простояла на коленях перед иконой, истово повторяя одно и то же (как многие севастопольские жены): «Многих сегодня забереешь, о Господи, но его, его сохрани! Отведи смерть от его головы!» И когда увидела Платона Платоновича обезглавленным, узрела в этом гнусное глумление, которое было бы совершенно невозможно, если б миром правил Бог.

И всё. Ни о Всевышнем, ни о тайнах бытия она никогда больше не задумывалась. Решила, что будет жить сама по себе, слушаясь только внутреннего голоса. Что он подскажет, то и хорошо. Против чего восстанет — то и грех.

Жизнь-то ведь не закончилась, она продолжалась, и в ней даже без Бога, без любви — не солгала она прапорщику — много чудесного.

А еще отрадно заниматься верным и ясным делом: облегчать муки страждущих. Здесь действует старое золотое правило: глаза боятся, а руки делают. Вот и пускай делают, а глаза, когда станет совсем невмоготу, можно поднять к небу.

Она еще какое-то время полюбовалась на облака, а потом приступила к занятию не менее приятному — перечитала письмо из Симферополя, от воспитанницы. Письмо было веселое, не то что прежние. Диана сообщила, что готовит для «матушки» некий сюрприз.

Беря к себе девочку из сиротского пансиона, Агриппина надеялась, что та проживет с нею несколько лет, да не вышло: кому на роду написано одиночество, тот судьбу не обманет. Уехала Дианочка и больше не вернется.

Мимо деловитой рысцей протрусил доктор Финк. Сказал, не останавливаясь, по-французски (английского Иноземцова не знала), что ему требуется еще четверть часа и можно ехать. Финк тоже сменился, но по всегдашнему своему правилу, прежде чем вернуться в госпиталь, копировал из «скорбного списка» (так называлась регистрация раненых) все произведенные им операции, а потом заверял документ подписью штаб-лекаря.

На краю поляны началась суэта, привезли кого-то важного. Из коляски осторожно вынули стонущего и бранящегося офицера, понесли на руках под навес, вне очереди.

— А-а-а! Легче! Ради Бога легче! — кричал он и сразу же после поминания божьего имени матерился.

Минуту спустя прибежал Финк. Глаза у него сверкали.

— Я должен сделать еще одну операцию! — выпалил он. — Важная персона, личный адъютант командующего принца Горчакофф! И рана интересная: обломок ребра застрял в легком. Прошу, мадам Агриппин, мне помогать!

Поистине американец не знал, что такое усталость.

Иноземцовой стало жаль еще больше пачкать сменное платье, ведь переодеться будет уже не во что. А о том, чтоб снова надевать рабочее, пропитанное кровью, не хотелось и думать.

Она сказала:

— Я падаю с ног. Видите, пальцы дрожат?

Но все-таки встала и пошла.

Адъютанта уже раздели по пояс и положили на стол.

— Где это вас так, майор? — участливо спрашивал штаб-лекарь Бородухин. — Я уж думал, дело окончилось.

В отличие от Финка, он не любил рискованных операций над значительными особами и охотно переуступил тяжелого пациента молодому коллеге, сейчас же просто занимал раненого разговором, пока фельдшер готовит хлороформ.

— Проклятый Вревский! — простонал офицер и присовокупил крепкое слово, не обращая внимания на даму. Возможно, сосредоточенный на своей боли и на страхе, он Иноземцову и не видел. — Понесло его вперед, под самый огонь! А князь мне: «Езжайте за ним, верните!» Черта его вернешь! Шапку с него сбило, коня убило. Ядра так и сыпят, а он прётся, прётся! Я: «Барон, куда вы? Наступление закончено!» А он не смотрит, рукой отталкивает. И тут рраз! Мне кровью и какой-то липкой дрянью прямо в лицо! Упал. Бок огнем. А Вревскому голову оторвало, вчистую!

Агриппину замутило. После того, что случилось с Платоном Платоновичем, она не могла слышать про оторванные головы. Но дурнота подступила не от этого.

— Скажите, был ли с вами некто барон Бланк? — спросила она, наклонившись над адъютантом. — Он сопровождал генерала Вревского.

Раненый пробормотал, вращая глазами:

— Барон? Барон убит, я же сказал... О-о-о, дайте мне наконец вашего чертова хлороформа!

— Вы сказали, что убит барон Вревский, а я спрашиваю про барона Бланка!

— Убиты, все убиты, один я остался... — не глядя на нее, пролепетал майор. Ему накрыли лицо пахучей марлей.

«Он ничего не видел и ничего не знает. Не нужно его слушать», — приказала себе Иноземцова, но почувство-

вала, что ее покачивает, будто земля вдруг утратила всегдашнюю незыблемость.

— Excusez-moi, monsieur le docteur, — сказала Агриппина подошедшему Финку, который энергично вытирал руки полотенцем. — Je suis trop fatiguée pour vous assister...¹

Выйдя на поляну, она рассудительно произнесла вслух:

— Он же не военный. Зачем бы он поехал под огонь за генералом? Ничего с ним не случилось. Я бы почувствовала.

И сразу поверила в это. И успокоилась.

Про Александра Денисовича она обычно думала по вечерам, перед сном. Днем слишком много хлопот и забот, а эти мысли требовали особенного настроения. Лучше всего было уединиться в аслан-гиреевском домике, слушать голос пианино и объяснять себе, что так или иначе всё к лучшему.

Той любви у нее не было и не будет. Зато появилась другая. Пускай односторонняя, но даже половина любви — это очень много, это наполняет жизнь до самых краев.

Недавно Иноземцова осознала, что раньше не очень понимала, что такое любовь.

С Сашей — то была девичья влюбленность, любопытство к взрослому и неизведанному. Ум и чувства еще не пробудились.

К Платону Платоновичу она испытывала уважение, приязнь, под конец — нежность. Со временем из этого материала, наверное, соткалась бы и любовь, но

¹ Прошу простить, господин доктор. Я слишком устала, чтоб вам помогать... (фр.).

все-таки то была бы любовь рассудка — вследствие благодарности и признания превосходных качеств супруга.

Оказывается, есть другая любовь. Любовь, для которой не нужны резоны, а прекрасные качества и достоинства ничего не значат.

Просто видишь впервые в жизни мужчину, скользишь рассеянным взглядом, но глазам почему-то хочется вернуться к этому лицу и потом уже от него не отрываться. А когда мужчина начинает говорить — неважно что, хоть самое пустяшное вроде «ваш покорный слуга», — оказывается, что и голос у него особенного действия: словно на ледяную корку, затянувшую зимнее окно, устремляется луч солнца, и лед начинает подтаивать, согреваться, обращается в податливую воду, которая стекает вниз, а мир за окном постепенно становится из смутного и холодного отчетливым и живым.

Да, такой эффект имел на Агриппину его голос. Даже если б Александр Денисович произносил своим голосом пошлости или глупости, это вряд ли что-нибудь изменило. Но Бланк всегда говорит точно — и такое, что об этом потом нужно размышлять.

Только он мало с ней говорит. Мало и редко.

И совершенно непонятно, что он такое на самом деле. Может быть, он злой. Или жестокий. Это ее огорчило бы, но не удивило.

Хуже всего, если он бесчувственный.

Господи, она считала себя немолодой, умной женщиной, хорошо понимающей людей. Ведь двадцать семь лет! А в нем разобраться не может, сколько ни пытается. Или не хочет? Боятся?

Ладно, пускай. Но она и в себе самой разобраться не могла.

Почему именно он? Почему?

Красивый? Да, красивый. Но это никогда не казалось ей важным.

Пожалуй, важнее другое: в нем ощущается уверенность. Внутренняя сила. Такая крепкая, что ей нет нужды себя выпячивать. Агриппине всегда импонировали мужчины, наделенные этим качеством, которое она про себя называла «якорностью». Такой человек — как корабль, стоящий на прочном якоре, с которого не сорвет никакая буря. Вот и Капитан был из таких. Потому-то она и решила выйти за него.

Но вокруг Агриппины было немало мужчин этой породы. Среди моряков и военных они не редкость. Разве не таков же, например, и Аслан-Гирей?

Здесь что-то еще. Что-то другое.

Александр Денисович не такой, как остальные — вот что. Они все простые, а он сложный. Чувствуется, что в нем много слоев, и чтобы добраться до дна этой души, не хватит всей жизни.

А разве Аслан-Гирей не сложен? Скрытный человек, сдержанный, с внутренним клочкотанием, которое никогда не вырвется наружу. Было время, когда ей казалось, что между ними может возникнуть нечто большее, чем дружба. Но у Аслан-Гирея стальные правила жизни. Вдова Капитана для него не живая женщина, а ходячий памятник супружеской верности. Дай она понять, что не такова — он с ужасом от нее отшатнулся бы.

Но думать про Аслан-Гирея ей сейчас не хотелось.

Агриппина взялась пальцами за виски, нажала на них, словно желая подтолкнуть мысль, и вдруг поняла, что причины, по которой она полюбила того, кого любила, никогда не разгадает. Ибо никакой причины нет.

Каждое слово и каждое движение Бланка утоляют в ней некий голод. Раньше она жила с мучительным подсасыванием в душе и сама не понимала, что голодна.

Чувствовала, что ей чего-то не хватает, но не сознавала, чего именно. А это ей, оказывается, не хватало его. Всегда.

Теперь он есть. Голод не исчез, даже стал сильнее. Но пропало ощущение пустоты.

Беда в том, что для Александра Денисовича всё по-другому. Она для него ничего не значит.

Агриппина привыкла к тому, что мужчины смотрят на нее с особенным выражением. Так было с самой ранней ее юности. Но Бланк никогда, ни разу не взглянул на нее подобным образом.

Иногда ей приходило в голову, что он ее по-настоящему еще не рассмотрел. Потому что все его помыслы заняты какой-то огромной идеей, застилающей ему взор. Чтоб взор прочистился, однажды, поддавшись порыву, она почти напрямую призналась ему в любви — но пелена не прорвалась. Агриппина не знала, что за бельмо мешает Бланку увидеть и понять, но всем своим существом ненавидела это препятствие.

На краю поляны ее вдруг покинула выдержка.

Агриппина сцепила пальцы, подняла глаза к небу и на рушила зарок — вновь начала молиться. Непонятно кому или чему.

— Пожалуйста, пожалуйста! — шептала она. — Пускай адъютант бредил и не понимал, что несет! Пускай он останется жив! Клянусь чем угодно, я никогда больше не попытаюсь признаться ему в любви, как давеча! Близо к нему не подойду! Клянусь всем, что у меня есть и будет! Только бы он был жив!

Ошиблась она, когда решила, будто Бога не существует. Просто Он знает, какую молитву услышать, а какую нет.

Прямо из кустов, напролом, на открытое место выехал Бланк.

Его землистое лицо было неподвижно. Полуоторванный воротник висел. На щеке застыли багровые пятна. По шее, пачкая рубашку, тоже стекала кровь.

Громко вскрикнув, Иноземцова бросилась навстречу всаднику.

ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ, В СЕВАСТОПОЛЬ

Лекс не понял, откуда она взялась, и не очень поверил своим глазам. По дороге он видел много всякого — не разберешь, что было наяву, а что примерещилось. В какой-то момент, например, показалось, что с земли к небу взлетает бесчисленное множество прозрачных птиц. Но он догадался, что это наваждение по причине нервного потрясения, потому что птицы прозрачными не бывают. И вообще — всё живое, кроме людей, убралось из грохочущей и полыхающей огнем долины подальше.

Он не помнил, зачем так упорно движется к виднеющемуся вдали холму. Помнил название: Телеграфная гора, а зачем туда едет, забыл.

— Вы ранены? — воскликнула то ли настоящая, то привидевшаяся госпожа Иноземцова.

— Я? Нет. С чего вы вообразили? — ответил он осторожно, склоняясь все-таки к тому, что это видение.

Но она схватила его за колено, сильно.

Настоящая!

— Как с чего? Вы приехали в лазарет и вы весь в крови!

Только теперь Лекс поглядел вокруг.

Действительно: раненые, санитары, носилки.

— Я не на перевязку... — сказал он и потер лоб. — Мне куда-то была большая необходимость, но я запомнил... Что, кровь? — Брезгливо осмотрел испачканный сюртук. — В самом деле... — И вдруг вспомнил. — Это не моя. Это кровь господина Аслан-Гирея. Да-да, он же погиб...

На глазах у женщины выступили крупные слезы — прозрачные, как улетевшие в небо птицы. И пролились по щекам.

— Нет, вы ранены! — пронзительно закричала Агриппина. — В шею! Я вижу! И контужены, кажется. — Обернувшись, она позвала. — Сюда! Санитары, сюда! Помогите же кто-нибудь вынуть его из седла!

Лекс поморщился. Очень уж громко она кричала.

— Не нужно вынимать. Я сам. — Потрогал шею. — Ерунда, касательное.

Едва лишь спешился, как Иноземцова взяла его под мышки и бережно усадила на траву. Ловкие, легкие пальцы стали делать с шеей что-то неизъяснимо приятное. Он замычал от наслаждения.

— Больно?! Да, слава богу, касательное. Нужно срочно очистить. Малейшее волоконец или ворсинка могут вызвать нагноение. Это очень опасно. Обопритесь на меня, я отведу вас к доктору Еремееву, он лучший из тех, кто здесь сейчас есть...

Но вставать не хотелось. Хотелось смотреть на Агриппину снизу вверх. Сквозь ее темные волосы золотистыми искорками просвечивало солнце.

— Трудно встать? И не нужно. Оставайтесь здесь. Я его сюда приведу...

Очень скоро она вернулась с сумкой.

— Он занят на ампутации, но это ничего, я умею и сама. Наклоните голову набок...

Он наклонил, но скосил глаза, чтоб не упускать Агриппину из поля зрения и вдыхать ее запах.

Лицо женщины было совсем близко, оно заслонило собою почти весь мир, и это было чудесно.

— Вы плачете, — сказал Лекс. — Про штабс-капитана, да?

— Да. Я плачу об Девлете Ахмадовиче. Обо всех остальных тоже. Но больше всего о нем.

Бланк нахмурился. Мысли ворочались в его голове с трудом, и эта ему не понравилась.

— Значит, вы его любили. А он думал, что...

Нет, про это говорить нельзя.

Замолчал.

Продолжая обрабатывать рану, Иноземцова рассеянно пробормотала:

— Нет, я люблю вас... Но это уже неважно.

— Как не важно? — Лекс беспокожно зашевелился. — А что тогда важно?

— Что вы живы. Я дала клятву. Если вы вернетесь живой, я навсегда вас оставляю. Такие клятвы нарушать нельзя... Не вертитесь вы, ради бога!

Он послушался, но продолжал смотреть на нее искаса. Голова по-прежнему работала странно, будто прихваченная морозом.

— Клятвы... — повторил Лекс. Нужно объяснить ей про клятвы, и он даже примерно представлял себе, что следует сказать, но на язык вместо русских слов всё лезли английские, и приходилось их стряхивать с губ. — Ты даешь себе клятву, когда ломаешь свою душу в противоположном направлении. Когда всё правильно, клятвы не имеют необходимости. Вот я смотрю, вижу: вы — единственное правильное, что только есть на свете. А всё, что не есть вы, — придуманное мною самим наваждение. Понимаете? Еще недавно я думал наоборот... Нет, вы не можете этого понимать. Я буду пытаться еще раз. — Он стал помогать себе рукой, но голову оставил

в таком положении, чтоб ей было удобнее бинтовать шею. — Я сказал, что вы — единственное правильное, что у меня есть на свете, хотя на самом деле вас у меня еще нет. А вместе с тем вы — всё, что у меня есть, и мне больше ничего не нужно и никогда не будет нужно.

Он плохо сознавал, что говорит. Фразы образовывались, хоть и с усилием, но будто помимо его воли.

Руки Агриппины замерли.

— Вы странно говорите... — произнесла она в смятении, и голос ее затрепетал. — Я не уверена, что верно вас поняла... В самом деле, как странно вы говорите! Будто иностранец.

— Я и есть иностранец, — объяснил Лекс. — Я всегда полагал, что я русский, но сегодня понял, что я иностранец. Я подданный королевы Виктории, офицер британской армии.

Иноземцова испуганно воскликнула:

— Вы бредите! Все-таки контузия! И взгляд затуманен...

Потрогав бинт и убедившись, что он завязан крепко, Лекс повернулся к ней.

— Я прислан в Севастополь с той стороны лазутчиком. Я — шпион, — сказал он, глядя ей в глаза.

Нельзя было пропустить момент, когда страх и нежность в них сменяются ужасом и отвращением. Лишиться всего, что у тебя есть на свете (даже если ты понял это лишь минуту назад) — это будет справедливое воздаяние за сегодняшний день.

— Всё это устроил я. — Он обвел жестом поляну, заполненную ранеными. — Люди, столько людей убиты и искалечены, потому что я так хотел. Мне представлялось, что это будет на благо...

Он заговорил быстро, потом еще быстрее. Хотелось объяснить как можно больше, прежде чем она отшатнется.

Сбивчиво, глотая концы предложений и путаясь в грамматике, Лекс рассказал про деспотию и унижение народа, про то, как поражение обернется для России поворотом к светлому будущему. Он многое успел сказать, а свет в ее глазах всё не гас. Ошеломленность и ужас в этом взгляде были, а отвращения — нет, не было.

Упавшим голосом он закончил:

— Я думал, что делаю великое дело. Я воображал себя героем. А я просто убил сколько-то тысяч людей. У каждого из них теперь никакого будущего не будет — ни светлого, никакого. Этому не может быть оправдания, за это не бывает прощения.

Ну, а больше сказать было нечего. Лекс замолчал.

Иноземцова тоже молчала. Долго — трудно сказать сколько именно — они смотрели друг на друга.

Наконец она заговорила.

— Я мало что поняла. Про прогресс и социальную справедливость — этого я ничего не знаю. Но одно я знаю: ты не виноват...

Лекс вздрогнул — потому что Агриппина назвала его «ты».

Она поправилась:

— То есть нет, ты виноват, ты ужасно виноват. Но тебе есть прощение. Ты совершил преступление, но ты верил, что поступаешь правильно. А за это прощают. Там... — Она взглянула в небо. — ...Там за это прощают. А я не Бог, мне и прощать тебя не надо. Но теперь я ясно вижу, что без меня ты пропадешь. Ты загрызешь себя до смерти. И я тебя не оставляю. Я спасу тебя.

— Но как же клятва? — недоверчиво спросил Лекс. — Я знаю, что такое клятвы. Я давал их себе много раз. И все сдержал.

Иноземцова слегка дернула плечом.

— Это потому что ты мужчина. Для вас такие условности важны. А я стану клятвопреступницей. Для тебя я стану кем угодно и чем угодно. Мы уедем отсюда, из этого проклятого места. Прямо сегодня... Мы уедем очень далеко, где совсем другая жизнь. И мы обо всем забудем. Мы начнем жить заново. Мы будем счастливы так, как никто и никогда счастлив не был...

Она осторожно притянула Лекса к себе, положила его голову себе на плечо, погладила по волосам.

— Да. Мы уедем, — глухо молвил он, обращаясь к ее теплому плечу. — Я ничего не забуду. Никогда. И никогда себя не прощу. Но мы будем вместе. И может быть, когда-нибудь, я снова начну понимать, что правильно и что неправильно, что нельзя и что можно, а главное — как я должен жить...

— Не надо, — перебила Иноземцова. — Лучше просто живи и ничего не понимай. А то я тебя потеряю...



На исходе дня, в который Александр Бланк перестал понимать, что в жизни правильно, они ехали вдвоем по Симферопольскому тракту, прочь от обреченного города. Навстречу шли свежие роты, солдаты с лихим свистом орали маршевые песни. Про то, что судьба Севастополя предreshена, никто из этих людей не знал.

Лекс и Агриппина покачивались в седлах бок о бок. Сзади вышагивала лошадь с поклажей. Ни в сборах, ни в укладке вещей Бланк участия не принимал — Агриппина не позволила, а он не возражал. Куда-то исчезла вся энергия, подталкивавшая бывшего волевого человека от одного деяния к другому.

В том же направлении, на восток, тянулась бесконечная вереница повозок с ранеными — урожай кровавой жатвы. Но Бланк не думал о том, что ее злые семена были посеяны в том числе и им. Он вообще ни о чем не думал. Его клонило в сон.

Лекс клевал носом, уздечку его лошади держала в руке Агриппина. Изредка он поворачивал к ней голову, и тогда Агриппина успокоительно ему улыбалась. Если б не толстый слой бинтов, стягивавших шею, Бланк смотрел бы на Агриппину гораздо чаще. Это было утешительно.

Вдруг — неподалеку от станции Дуванкой, где когда-то, тысячу лет назад, Лекс выслушал рассказ нелюбимого мужа и сбил спесь с хама, — Иноземцова вскрикнула.

Он сразу очнулся, встревоженно заозирался, но понял, что возглас был не испуганный, а радостный.

Иноземцова встретила знакомых.

В двуколке, что двигалась с востока на запад, в сторону Севастополя, сидели двое: хорошенькая, совсем молоденькая барышня в наряде милосердной сестры и худой, бледный юноша в матроске и бескозырной фуражке с черно-оранжевой ленточкой. Видно было, что они тоже очень обрадованы неожиданной встречей.

Лекс стал прислушиваться к оживленному разговору, но понять что-либо было трудно — все перебивали друг друга.

Барышня — ее звали Дианой —, рассказывала, как долго и мучительно выздоравливал ее спутник. Кажется, он был тяжело контужен еще в самом начале осады. Агриппина про всё это, очевидно, знала: что матрос много недель лежал без сознания, что потом заново учился ходить и говорить. Однако увидеть своих друзей на пути в Севастополь она никак не ожидала.

— Я же писала вам про сюрприз! — с улыбкой сказала золотоволосая Диана. — Гера вернется на свой бас-

тион, а я поступлю в госпиталь. Если б вы знали, сколько я научилась! Профессор Гюббенет назвал меня самой лучшей сиделкой Российской империи!

— Погоди, погоди... — Иноземцова с испугом перевела взгляд с девушки на юношу. — Гера, ты же писал, что тебе обещано место в штурманской школе. Ты ведь так об этом мечтал!

Матрос кивнул:

— Ага. Обязательно выучусь. Довоюем вот только.

Агриппина беспомощно оглянулась на Лекса. Он нахмурился.

Диана следила за ними обоими с огромным любопытством, ее улыбка сделалась еще шире.

— Не пойму, чем сражение на Черной кончилось. — Матрос говорил ломающимся баском. — Раненых спрашиваю — разное говорят. Вас, сударь, не там ранило?

— Там, — мрачно ответил Лекс.

Гера уважительно посмотрел на бинт.

— А чья все-таки взяла, ихняя или наша?

— Наша. — Бланк моргнул. — То есть... — Он взял себя в руки, сосредоточился. Взгляд Агриппины молил о помощи. — Вам не нужно туда ехать. Город со дня на день падет. Завтра начнется большая бомбардировка, потом будет штурм. Очень скоро. И тогда конец. Поворачивайте назад.

— Слушайте, что говорит Александр Денисович! — подхватила Иноземцова. — Он знает! Вы уже никому и ничему там не поможете! Умоляю вас, возвращайтесь!

Диана шумно вздохнула.

— Уж я ль его не упрашивала? Ведь сколько вытерпел, да и я с ним! Еле с того света вытащила! Не слушает. Что ж, видно, так надо.

Тогда Агриппина наклонилась к парню.

— Гера, поверь мне: всё это (она показала туда, откуда доносился глухой звук канонады) неважное! Важно — только то, что здесь. — Теперь она показала на свое сердце. — У вас любовь, а там смерть. Смерть — и больше ничего! О себе не думаешь — о Диане подумай!

Юноша застенчиво потупился, как бы конфузясь спорить.

— Так оно, конечно, так. Умирать кому ж охота? Но как иначе, Агриппина Львовна? Вы и сами б не уехали, кабы не раненого сопровождать. — Он убежденно сказал. — Надо ехать. Все наши там. И она, стерва несытая, зовет.

Все оглянулись — гул пушечных выстрелов стал громче. Должно быть, ветер подул со стороны Севастополя.

— Кто зовет? — не понял Лекс.

— Да Беллона, будь она неладна. Военная богиня. — Матрос тронул спутницу за локоть. — Поехали, Диан, а? Завечеряло уже. Пока доедем. Мне еще начальство искать. Докладываться, на довольствие вставать.

Он широко улыбнулся Иноземцовой и Бланку.

— Счастливого вам благополучия, Агриппина Львовна. А вам, сударь, беспременного выздоровления. Нно, милая!

И двуколка тронулась дальше по дороге — туда, где рокотала канонада.

СОДЕРЖАНИЕ

Фрегат «Беллона»

5

Черная

261

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Анатолий Брусникин

БЕЛЛОНА

Роман

Зав. редакцией *М.С. Сергеева*
Технический редактор *Т.П. Тимошина*
Корректор *И.Н. Мокина*
Компьютерная верстка *Ю.Б. Анищенко*

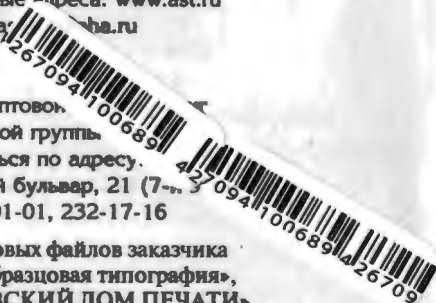
*Издание осуществлено при участии
ООО «Издательство АСТ»*

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

Наши электронные адреса: www.ast.ru
E-mail: ast@ast.ru

По вопросам оптовой
Издательской группы
обращаться по адресу:
г. Москва, Звездный бульвар, 21 (7-й этаж)
Тел.: 615-01-01, 232-17-16

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14







WWW.EKMD3.RJ
838-100



Борис Акунин: ПРОЕКТ «АВТОРЫ»

Проект «АВТОРЫ» — новые маски БОРИСА АКУНИНА.

Борис Акунин придумал двух новых авторов, пишущих по-разному и о разном. У них даже пол разный.

АННА БОРИСОВА

Пишет психологическую прозу, имеющую мало общего с обычным акунинским стилем. Под этим псевдонимом выпущены две повести («Там...» и «Креативщик»), а также роман «Vremena Goda».



АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН

Сочинитель исторических романов, похожих на фандоринские и все же сущностно от них отличающихся. Первые две книги — «Девятый Спас» и «Герой иного времени» — стали бестселлерами.

Третий роман называется «Беллона». Экранизационные права на него были приобретены еще на стадии рукописи.

«БЕЛЛОНА» — это два романа в одной обложке, очень разные по стилю и смыслу. Объединяет первую и вторую часть дилогии фон Крымской войны, несколько сквозных героев и главный персонаж: безжалостная богиня войны Беллона.

www.ast.ru

www.elkniga.ru

ISBN 978-5-271-40302-6



9 785271 403026